23/, -14

Встречи в Русском Зарубежье. Адам Русак

Очерк Владимира Бондаренко читайте на стр. 31



ISSN 0868—4855. СЛОВО 1991. № 11. 1—88. Индекс 70110. 1 р. 50 к.

НОЯБРЬ

ISSN 0868—4855

СЛОВО

XI 91



Геннадий Павлов. Серафим Саровский

ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

ISSN 0869-4095 Слово 1991. № 2. 1—96 Индекс 70116. 1 р. 50 коп.



К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ

Возвращение

Вот и Достоевский по праву и все основательнее и весомее входит в круг наших духовных национальных отцов. Семьдесят с лишним лет это право у него отнималось. С легкой руки Ленина, возненавидевшего писателя за роман «Бесы», большевистская идеология нападала на творчество великого русского гения, не скупясь на бранные слова и низводя его литерату-ру до гадливо-болезненного чувства.

Теперь же, наравне со всем цивилизованным миром, мы познаем, сколь велик и необъятен духовный мир Федора Михайловича, мы поражаемся, как задолго до наших собственных открытий он переболел «коммунизмом и социализмом» Белинского и Чернышевского и навсегда стал непоколебимым приверженцем конституционно-монархического порядка, способного истинно заботиться о доле народной.

Да, Достоевский принадлежит миру, он читаем и изучаем, его романы — предостереже-ние миру на трудный час перепутий. Но прежде всего он русский гений, его герои одной с нами крови, одной земли и одного народа, они так же узнаваемы и осязаемы, как наше собст-венное тело и дух. На долгие годы лишить нас Достоевского, оболванить и оболгать его личность, его взгляды могла только антинациональная идеология, попирающая традиции народа, его уклад, его веру... Вот и здесь не преуспели большевики, вот еще один из тупиков ограниченности их мировоззрения и скудости их духовных исканий.

Как еще много на этом освободительном пути нас ждет запоздалых открытий и горьких разочарований... Одно утешение, одна надежда, что Федор Михайлович Достоевский те-перь возвращается к нам навсегда.

Так будем же терпеливо-внимательны ко всему, что осталось нам в наследство от гения мировой и русской литературы, ко всему, что способно обогатить нас духовно, нравственно, что способно шлифовать и совершенствовать нашу могучую человеческую и национальную природу... Именно с этой целью последовательно и заинтересованно знакомим мы наших читателей со всем многообразием толкований творчества Федора Михайловича Достоев-ского.

Это то, чего мы были лишены и теперь, томимые духовной жаждой, должны познавать неутомимо.

Наш вечный спутник — Федор Михайлович Достоевский любил свой многострадальный народ, сочувствовал ему всем сердцем и даже в минуты самых горестных раздумий о его жизни и судьбе верил в лучшее. Мгла толпы не перекрывала ему представлений о народе, его характере, традициях, о его великих людях, которыми он восхищался, которых боготво-рил, держал в учителях своих, как Льва Николаевича Толстого. Он был русским человеком в лучшем, высоком смысле этого слова и нам, потомкам, завещал веровать в Бога, любить Россию, родную землю, семью, дом — в этом он видел сущность русского человека.

Качества необходимые и весьма пригодные на нынешний тяжкий день, когда суть русского человека осквернена и запоганена. Возьмем же Достоевского в учителя и будем учиться любить русских русскими.

АРСЕНИЙ ЛАРИОНОВ

В. ИЛЬИН

«Так и кончился пир их бедою...»

Россия имеет два великие сокровища: страдания ее праведников и мучеников — и Достоевского, эти страдания понявшего и истолковавшего. Революция сделала все возможное, чтобы оба эти сокровища, без которых Россия ничто — отнять, растоптать, оклеветать и уничтожить, и ей это почти удалось: устами официальных представителей Церкви — каких: патриарха Сергия и патриарха Алексия — мученики за веру объявлялись простыми политическими преступниками, а Достоевский фактически был изъят из обращения, как и Св. Писания, и дискредитирован критиками — последователями Белинского.

Конечно, не одни новомученики, во главе с Царем Николаем II, составляют ныне попираемое сокровище Русского Страдальчества. Сюда относятся все русские страдальцы в духе Сони Мармеладовой, из которых сделали жертв социального строя старого режима, то есть совершенно лишили их страдания духовных корней и превратили их в поломанные винтики дурно свинченного и дурно функционирующего социального механизма устарелой системы. Исторический и диалектический материализм главной целью своей имеет всеобщее снижение, развенчание и «разоблачение» всех духовных ценностей, начиная с русских, и, может быть, даже только русских— ибо этого для духа зла вполне достаточно...

* * *

В лице Достоевского мы имеем крайнее заострение и преодоление славянофильства и предельное заострение тяжбы России с Западом. Вместе с этим, с преодолением славянофильства через его предельное заострение и выявление его противоречий дан переход к праведному «незападническому» Западу и показан в перспективе русский синтез. Это — через возвращение к исходному пункту Достоевского, к Пушкину.

Так как суть эмпирического и экзистенциального Запада составляет двуединая противоположность римокатоличества и вольтерианской революции, то Достоевский, так же, как и Тютчев, противопоставляет русский «Утес» наседающим на него волнам римского католицизма и вольтерианской революции, именно в их натиске на Россию обнаруживающих свое скрытое лицо и свою предельную сущность. Сущность, сказывающуюся в двуединстве или просто в единстве римского католицизма и вольтериано-революции. Это единство обнаруживает себя как сверхчеловек — центр Утопии.

Все сводится к штурму Небес — к Революции. Это — по содержанию. По форме же здесь — конкретная диалектика богочеловечества и человекобожества, свободы и утопии, свободы подлинной и свободы кажущейся.

* * *

Некто сказал, и не без веских оснований, что хотя фрейдовский психоанализ искусства и возможен, но что такая возможность приложима лишь к искусству второстепенному и даже вовсе низкопробному. То есть к такому, где все вещи названы своими именами, где поставлены все точки над «i» — и где всюду проглядывает шитый белыми нитками замысел автора. Это так. Но есть один объект, где художественное произведение само является психоанализом чего-то предельно низкого, презренного, до предела развращенного и отвратительно безобразного — Р Е В О Л Ю Ц И Я. Для начала так наз. Великая Французская и затем еще более «ВЕЛИКАЯ» — русская. Назовем ее Февроктябрем.

Обожатели русской февроктябрьской революции на Западе для ее оправдания и придания ей научности обыкновенно именуют ее *«интересным опытом»*. А по причине прогрессизма, царствующего в мире и приводящего человечество в состояние самого настоящего прогрессивного паралича, человек улицы (куда входят и профессора, и академики, и артисты, и политики, и даже церковники) сдается перед всем тем, что по мнению носит ореол «научности»...

Русская революция делается по рецепту «научного марксизма»? Тем лучше!.. Будем наблюдать издали «интересный опыт», стараясь только, чтобы он не перекинулся как-нибудь к нам. А что на вивисекционном столе лежит огромная страна и огромный народ — какое нам дело? Да и люди ли русские, вот в чем позволительно усомниться. Во всяком случае, при ужасном, кровавом царском режиме — людьми они не были. И февроктябрь есть первая попытка превратить «не людей», то есть русских, в «настоящих людей», в европейцев, в романо-германцев, англосаксов...

Мы здесь выражаемся в терминах *евразийской* этнологии, историософии и геософии. Деталями, и вообще всем ансамблем евразийской доктрины, без которой вряд ли может получиться что-нибудь путное по всем трем линиям: по русской историософии, по русской этнологии и по философии русской революции, — мы займемся в ряде последующих статей. Сейчас же с нас достаточно и того, что *русская революция с ее явной и нескрываемой целью — уничтожением России, русской культуры и русского народа в его трех важнейших ветвях*, конечно, не могла совершиться иначе, как при теснейшем содружестве (или, лучше, товариществе) романо-германцев, англосаксов и других народностей, имевших общие с русскими революционерами задачи и цели.

Теперь переходим к тому, что можно назвать антропологическим или социологическим субстратом революционного беснования, сгустками которого и являются субъекты революции в «Бесах» Достоевского. Ведь все начинается с того, что Степан Трофимович Верховенский, предполагаемый отец Петра Степановича, обладатель прехорошенькой, но исключительно легковесной супруги, пишет такую же легковесную, как и она, атеистическую поэмку, где Достоевский на редкость остро и беспощадно пародирует Владимира Печерина (чего ему, заметим в скобках, никогда не мог простить Бердяев).

Надо заметить, что социально-политические и идеологические комплексы, самые волевые и неумолимо беспощадные, способны вытеснить и задавить нормальные комплексы еды и либидо Маркса и Фрейда, говоря фигурально. Адлер и Штекель показали это с подавляющей силой и очевидностью.

С необычайной тонкостью, прямо-таки с тонкостью сверхъестественной, Достоевский показал образчик того, что проф. Нечаев и другие психологи называют *психической химией* — соединение двух или нескольких комплексов в одно нерасторжимое целое, где уже нет следов,

---

Статья В. Ильина «Психоанализ «Бесов» Достоевского в багровых отсветах русской революции» печатается в сокращенном виде и с заголовком редакции «Слова». В СССР публикуется впервые.

ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ. ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ. *Русское самосознание*

свойств и аспектов составляющих его частей. Мало того, Достоевскому удалось показать что эта «психическая *химия*» есть преимущественно свойство *женского сердца*, то есть психопневматических глубин женщины, и на этот счет выразился, предваряя Зигмунда Фрейда с его «Теорией Полового Влечения», в том смысле, что неисследимы глубины женского средца, даже и до сего дня. Действительно, каковы силы и свойства комплексов, орудовавших в сердце Варвары Петровны Ставрогиной?..

Тут и состояние вдовы, и переживание своей непривлекательности (в лице Варвары Петровны было что-то лошадиное), а стало быть, и комплекс неполноценности, производящий не только в мужской, но и в женской душе (и в женской еще больше, чем в мужской) ужасающие опустошения. Тут может быть и задавленная, и потому никогда по-настоящему не проявившаяся, страсть к Степану Трофимовичу Верховенскому, когда-то красавцу, который и в 54 года не потерял своего шарма. Тут и ненависть к нему, как не оправдавшему возлагавшихся на него надежд как на ученого, мыслителя и поэта, что особенно больно ударяло по женскому самолюбию Варвары Петровны, которая как бы во второй раз в глубинах своего женского естества и женского духа породила (и неудачно) своего друга.

Тут и материнская любовь к своему странному, жуткому и бесноватому сыну Николаю Всеволодовичу, писаному красавцу и пожирателю сердец, как мужских, так и женских, каждых в своем роде и по свойственной каждому линии; тут и поистине адские муки матери, догадывающейся, что она породила страшное существо, — не только больного безумца, но почти что *двойника сатаны*, и что бедная Варвара Петровна, сама того не желая, оказалась каким-то антисофийным существом — и это, может быть, самое жуткое место, ужасающий пункт «Бесов»... Тут и притяжение-отталкивание, сопровождаемое *женским любопытством Евы в отношении к «новому движению»*, а в действительности, в отношении к *бесовскому вихрю* и к *бешеному свиному стаду*. Все это делает бедную Варвару Петровну Ставрогину, безо всякой с ее стороны вины (если не считать *комплекса Евы*, гениально показанного Достоевским), почти двойником своего ужасного сына, какой-то антииконой Спасителя и Богородицы, словно дублет страшной трагедии Иммермана и ее основного действующего лица — Лилианы. С самого начала завязывает в раскатах сардонического смеха великий демонолог Достоевский роковой узел своего романа-трагедии.

И не менее характерным оказывается, что — опять-таки в самом начале трагедии — Варвара Петровна оказалась центром притяжения-отталкивания чудовищного антропологического мусора, невообразимой псевдо-человеческой мрази и грязи, из которой черт из-за угла и при помощи Ставрогина и Петьки Верховенского лепит свои чертовские, отвратительно гримасничающие фигурки...

Центром бесовщины и чертовского шутовства оказался Петербург, будущий Ленинград, как магнитом притянувший к себе впоследствии и февроктябрьскую революцию 1917 года.

«...Варвара Петровна бросилась было всецело в «новые идеи» и открыла у себя вечера. Она позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве. Потом уже приходили и сами, без приглашения; один приводил другого. Никогда еще она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность (перед чертом, отцом гордости. — В. И.). Иные... являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную, вчера только открытую красоту. Все они чем-то гордились до странности. На всех лицах было написано, что они сейчас только открыли какой-то чрезвычайно важный секрет. Они бранились, вменяя себе это в честь. Довольно трудно было узнать, что именно они написали; но тут были критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители» («Бесы», часть I, VI).

Совершенно ясно, однако, что весь этот сброд покрывался одной общей крышкой на общем котле адской кухни, или, если угодно, кузни ведьм, крышкой, на которой было написано: *«Общий развал и общее растление человеческой членораздельной речи*, писаной, устной, печатной, в голове еще бродящей (вернее бредящей) — это все равно». ⟨...⟩

«Явились и две-три прежние литературные знаменитости, случившиеся тогда в Петербурге и с которыми Варвара Петровна давно уже поддерживала самые изящные отношения. Но, к удивлению ее, эти действительные и уже несомненные знаменитости были тише воды, ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему этому новому сброду и позорно у него заискивали» (там же).

Здесь гениальный трагик показывает зарождение нового типа идолатрии, именно революционно-радикальной уличной идолатрии и *мазохистский уклон в среде высокопоставленных льстецов*, равно как и *садистическую натуру уличного сброда*, перед которым высокопоставленные и несомненные знаменитости, то есть несомненные таланты, заискивали. Все дело в том, что чувствовавшие себя «тише воды и ниже травы» в своем подсознании кающиеся (черт знает перед кем. — В. И.) дворяне просто чувствовали себя *приговоренными к смерти и уничтожению* — моральному, физическому или обоюдному, это все равно. В сознании, или, лучше сказать, в подсознании, бродила у идололатров и кающихся мысль, что уличная сволочь, перед которой они заискивают, это их будущие палачи. Они просто вымаливали у этих будущих, а то уже и настоящих, заплечных дел мастеров, пока еще только горланивших свои революционные пошлости и кропавших своими проданными сатане перьями, вымаливали у них пощады или, по крайней мере, менее жестоких истязаний в будущей Чеке или в будущих концлагерях... Во всяком случае, подсознание этих несомненных знаменитостей и настоящих талантов было подсознанием приговоренных к смерти и ожидающих прихода палачей...

Несомненно, как Варвара Петровна, так и ее немножко смешной и немножко жалкий друг сами опешили и оробели перед вломившимися в их салон хулиганами пера, слова и мысли. На вечерах она, Варвара Петровна, говорила мало, хотя могла бы говорить, но она больше вслушивалась. А вслушивалась она в нам уже хорошо известные, тогда уже невыносимо пошлые и тривиальные пакости из политграмоты:

«Говорили об уничтожении цензуры (то есть культурной цензуры. — В. И.) и буквы ъ, о заменении русских букв латинскими... о полезности раздробления России по народностям (то есть об уничтожении России, с заменой ее СССР. — В. И.) с вольною федеративною связью, об уничтожении армии и флота (конечно, национальных, с заменой интернациональными разбойниками и пиратами. — В. И.), о восстановлении Польши по Днепр (в комментариях не нуждается.— В. И.)... об уничтожении наследства, семейства, детей и священников, о правах женщины... Ясно было, что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых; но неизвестно было, кто у кого в руках...».

Только за то, что Варвара Петровна дала деньги на основание журнала, ее ославили эксплуататоршей, потребовали от нее, чтобы она вручила дело и капиталы каким-то подозрительным типам, а Степана Трофимовича объявили отсталым и потребовали, чтобы оба они, то есть Варвара Петровна и Степан Трофимович, убрались из Петербурга, словно высылали их, хотя все же власть и полиция еще не были в их руках. Но красная полиция и социалистические, коммунистические и анархические инквизиторы, малые и большие, все же добились своего, и о защите властей, словно только и ждавших бомбы 1 марта 1881 г., не могло быть и речи.

«Оставаться долее в Петербурге было, разумеется, невозможно, тем более что и Степана Трофимовича постигло окончательное fiasco. Он не выдержал и стал заявлять о правах искусства, а над ним стали еще громче смеяться. На последнем чтении своем он задумал подействовать гражданским красноречием, воображая тронуть сердца и

рассчитывая на почтение к своему «изгнанию» (которого не было. — **В. И.**). Он бесспорно согласился в бесполезности и комичности слова «отечество»; согласился и с мыслию о вреде религии, но громко и твердо заявил, что сапоги ниже Пушкина, и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично, не сойдя с эстрады, расплакался».

Это была расправа будущих чекистов, деревянных колотушек, мелких лбов и дубленых шкур — троглодитов (так себя с гордостью именовали народники того времени) с человеком, осмелившимся говорить свое, с бедным либералом, из тех, которым в России всегда так же мало везло, как философии и искусству.

«На другой же день, рано утром, явились к Варваре Петровне пять литераторов, из них трое совсем незнакомых, которых она никогда и не видывала. Со строгим видом они объявили ей, что рассмотрели дело о ее журнале и принесли по этому делу решение. Варвара Петровна решительно никогда и никому не поручала рассматривать и решать что-нибудь о ее журнале. Решение состояло в том, чтоб она, основав журнал, тотчас же передала его им вместе с капиталами, на правах свободной ассоциации; сама же чтоб уезжала в Скворешники, не забыв захватить с собою Степана Трофимовича, «который устарел».

Конечно, четверо из них не имели корыстных побуждений, да и не могли их иметь, ибо были люди вздорные, неделовые и пустые. Все дело состояло в том, чтобы сковать свободную мысль, которая могла бы случайно проскользнуть, если бы за журналом не было достаточно полицейского присмотра... Словом, вещь хорошо известная и уже тогда, а тем более теперь, совершенно не новая. Свобода всегда нова, а рабство и скованность по рукам и ногам, где этого только не бывает, а тем более у «товарищей»...

Еще счастье, что эти товарищи не обобрали и не убили Варвару Петровну и Степана Трофимовича, конечно, из чистых и идейных побуждений. В дальнейшем развитие романа — трагедии и наполовину ужасающей преступной и кроваво-мошеннической буффонады — следует «нормальному» плану. Происходит приготовление и созревание среды, в которой должны размножиться «бесы» и «смрадные букашки», по образцу Белинского, а затем и все возрастающее по напряжению злой воли и мерзостным вкусам и влечениям «передовой молодежи», скопившейся частью вокруг Степана Трофимовича, включая и его якобы сына Петра Степановича, и вокруг жены губернатора Юлии Михайловны, возымевшей меценатски-донкихотскую мысль приручить *«бесов»*! Предприятие заведомо гиблое, по причине не только полной их неприручаемости — наподобие тигров, очковых змей, скорпионов, пауков-птицеедов и тому подобных милых тварей, — но еще и по причине удивительной слепоты Юлии Михайловны и такой же степени глупости ее супруга Антона Андреевича Лембке. Но еще и по той причине, что такого сорта «начальство» «без царя в голове», несмотря на монархический строй тогдашней России, рассчитано на времена глубоко мирные и на строй вполне патриархальный, какого вообще никогда не бывает или бывает чрезвычайно редко и в виде исключительных, так сказать, переходных от катастрофы к катастрофе стадий. А, сверх того, Антон Андреевич Лембке, по-видимому, вообще ненормален, маниак и болен не то так наз. «преждевременным слабоумием», не то паранойей или какой-то другой, может быть, неизвестной психической болезнью. К этому надо присоединить, что само революционное брожение в его начальных или уже подвинутых стадиях есть такого рода социально-политический недуг, который именно в этом смысле до сих пор не только не изучен, но на изучение которого наложен всемогущий запрет. Кем? Этого вопроса мы пока касаться не будем, ибо он до крайности сложен и до крайности рискован:

«Ходить бывает склизко
По камешкам иным...»

Покамест же мы просто заметим, что такие лица, как Дантон, Марат и Робеспьер, как Ленин, Дзержинский, Ежов и пр., и пр. могут быть признаны, — с тем, что они проделывали, — нормальными только теми, кто сами способны на подобного рода злодеяния. Однако для появления подобного рода, так сказать, сгустков революционного злодейства и садизма необходима своеобразная среда и своеобразная подготовка общества — тою специфической тренировкой, которой и теперь занята специфическая пресса, задача которой — характерная фаршировка мозгов.

Можно поставить вопрос: эта фаршировка мозгов — есть ли она сознательная, злокозненная акция вполне отдающих себе отчет «фаршировщиков», и чего и для каких целей они добиваются? Или же здесь, как правило, мы свидетели того шутовского и трагикомического случая, который предусмотрен Евангелием в хорошо известных словах: *слепой ведет слепого и оба валятся в яму*. И еще из другого места Св. Писания «посмеятельна бывает пагуба нечестивца»...

Подготовка такого специфического «бульона», в котором разводятся «смрадные букашки» в духе Белинского или ужасающие монстры, вроде Петра Степановича, проклинаемого своим мнимым отцом, или Федька с Фомкой, которыми Петры Степановичи пользуются для своих злодейств, где химически соединены момент личный и так наз. «идейный», требует самого тщательного рассмотрения и анализа. Анализ этот очень сложный и трудный. Он должен идти минимум по четырем направлениям:

1. Методом Эрнста Кречмера и Ломброзо, то есть по линии психоантропологической и собственно криминально-антропологической;

2. По линии психо-сексуальной, то есть собственно психоанализа — Фрейда, Юнга, Адлера и других мастеров этого дела;

3. По линии государственно-правовой, историософской и национальной;

4. Наконец, по линии, которая в данном случае более всего интересует большинство читающих, а именно по линии социально-политических и революционно-социалистических и коммунистически-анархических конфликтов.

Прежде чем приступить к анализу в собственном смысле слова по указанным нами линиям, рассмотрим сначала сам план романа-трагедии. Он несколько отступает от обычно принятого у Достоевского плана, в силу которого большая часть текста посвящена биографии и среде, равно как и всевозможным аксессуарам, подготовляющим катастрофическую развязку в самом конце, и с соблюдением трех единств классической трагедии — *времени, места и действия*. Это, так сказать, финальный, блестящий фейерверк, сжигаемый гением автора на основе всей предыдущей подготовки... В «Бесах» же, хотя момент подготовительный (среда и проч.) проходит через все произведение, горючего и катастрофического материала накапливается так много, что те несколько действий, на которые можно разложить роман-трагедию, сами являются как бы относительно самостоятельными трагедиями, заканчивающимися каждая своим глубокомотивированным и трагическим финалом, всегда необычайно эффектным и с нарастанием интереса до конца. К концу всей трагедии все эти частные финалы ее действий синтезируются в один многоединый финал, в самоубийство главного и центрального героя — Николая Ставрогина, чему предшествуют как бы убийство-самоубийство Лизы и смерть Степана Трофимовича, которой в свою очередь предшествует убийство Шатова — во всех смыслах, прямом и символическом, *центральное злодеяние трагедии*.

Итак, после длинной биографической подготовки первая катастрофа — *заушение* Шатовым Николая Всеволодовича Ставрогина в салоне Варвары Петровны, его матери. Вторая катастрофа — ночь, в которую происходит предварительное убиение Хромоножки (спящей) ненавидящим взглядом Ставрогина, ее обличительный вопль (почти торжествующий — Гришка Отрепьев... Анафема!..) и наем убийцы, Федьки Каторжного, уже ограбившего церковь и зарезавшего сторожа при поощрительном наговоре Ставрогина: Грабь еще!.. Убивай еще!.. Наконец, грандиозная предварительная катастрофа — шутовской бал гувернанток

со стихами Лебядкина, автор которых будет вместе со своей сестрой-хромоножкой зарезан на пожаре, которым заканчивается этот ужасающий бал. Вспомним, кстати, что на балу этом выступает кувыркающийся перед красной, левацкой молодежью Кармазинов-Тургенев, отлично знающий, что задумана революция как убиение и погребение в грязи, собственно — утопление в грязи всей России. Параллельно с Кармазиновым-Тургеневым выступает чудовищный маньяк, интеллигент профессор, задумавший, к неистовой радости всей собравшейся толпы, публичное и последнее оплевание России, в качестве прелюдии к символическому и тем не менее ужасающе действительному пожару, о котором можно сказать словами поэта: «Так и кончился пир их бедою...»

Разбираясь в гениальном плане «Бесов», следует сказать, что он только при беглом, поверхностном обзоре может показаться трудно уловимым и даже запутанным. На деле же он так же прост и прозрачен, как и планы других романов-трагедий Достоевского. Кажущаяся сложность и кажущаяся запутанность его происходят от того, что на главную и весьма последовательно протянувшуюся нить повествования — «Хронику» — нанизаны, и как бы вдеты друг в друга, несколько побочных трагедий. Иначе не могло и быть, ибо главная нить по самому свойству «Хроники» не может не быть сложной, приняв во внимание тему.

Поэтому, по самому своему существу, «Бесы» Достоевского не только *«русская трагедия»*, как глубоко и верно замечает в «Тихих думах» проф. С. Н. Булгаков (впоследствии протоиерей и знаменитый, гениальный богослов). Сквозь типично русские черты, сквозь типично русскую трагедию Русской Истории и в ней самого трагического, сквозь ужасы и бесовщину Русской Революции проступают ярко выраженные *общечеловеческие* черты.

Да и как бы это могло быть иначе в стране и в народе, для которого нет ничего чужого, но все, весь мир и вся вселенная — родное и свое? Ведь если бы не было Французской Революции 1789 г., именуемой «Великой», если бы не было восстания национальных мастерских в 1848 г. и если бы не было Коммуны 1871 г., если не было бы Гегеля, Маркса и Энгельса, — то есть явлений, ничего общего с национальным славянским духом не имеющих и этому духу глубоко чуждых и враждебных, — если вообще не было бы русского западничества, могла ли бы свершиться эта ужасная *антихилиастическая мечта*, о совершении которой день и ночь думали воспаленные головы или, лучше сказать, существа с горячечными, бредовыми, истерическими головами и ледяными сердцами, словно вырезанными из деятелей массовых убийств конца XVIII века и из убийц и поджигателей Коммуны, наводнивших весь мир смрадом своих пожаров и тошнотворным запахом рек пролитой невинной крови? И как характерно, что главное действующее лицо «Бесов» — Николай Всеволодович Ставрогин — превратился в *гражданина кантона Ури*, а все завязки, большие и малые, многочастной и многообразной трагедии «Бесов» Достоевского происходят, завязываются за границей. И чудовищная по своей, никакими словами не выразимой копролалии, словесно-письменной дефекации «Светлая Личность» написана и напечатана за границей, и авторство ее приписывается не то Герцену, не то кому-то еще из тогдашних эмигрантов, а по стилю своему она действительно могла быть настрочена только студентом-народником, прошедшим долгую и упорную школу тогдашней «политграмоты» и дегуманизации человеческого мозга со всеми следами долголетней, умственной и телесной мастурбации.

Так как текст «Светлой Личности» по ходу романа и его многосложных перипетий и сплетений действующих сил, темных и злых, связан с главным преступлением, с, так сказать, центральной сверхуголовщиной революционной интриги, с убийством Шатова, и есть отображение гнусности, действительно имевшей место и хорошо известной в свое время прокуратуре и полиции швейцарского союза, в нем содержится концентрированный смрад всей адской серы, всей преисподней и, вместе с тем, вся бездарность и вся творческая импотенция преисподней. В то же время они — эти ужасающие стихи — ключ ко всей революционной проблеме в России и в Европе, именно ключ к расшифровке общей темы революционной импотенции, революционного уродства и интеллигентской умопомрачительной глупости. Словом, это ключ к расшифровке «Бесов» и всего того, что «на дне души таится» у революционно-радикального интеллигента и так наз. «студента», эмигрировавшего в пору написания «Бесов», и всей тогдашней революционной смердяковщины. Достоевскому здесь удалось выявить некий символ последующего красного пятиконечника и мерзостного скрещения серпа и молота, этих двух символов преисподней скуки и преисподнего уродства...

Все объясняется тем, что революция для своей полной удачи и своего полного завершения нуждается в *вожде, предводителе*, в *«фюрере»* — если угодно. Но, как это показано психоаналитиками — Фрейдом, Адлером и др., — революционная толпа и ее мелкие вожаки должны быть обязательно в своем роде *влюблены в своего вождя*. Но для этого у вождя должны быть данные. Такие данные у Николая Всеволодовича Ставрогина нашлись: он ослепительно хорош собою, он умен и аристократической складки, хотя его подлинный аристократизм не доказан, однако повадка его действительно аристократическая. Он «барич», или, говоря на юго-западном диалектике, он «паныч», а таких любят и ненавидят одновременно, особенно если они хороши собою. Словом, свершилась тайна влюбления палача-террориста, революционера в *красавца барича, в будущего возможного предводителя*.

В сущности, Петр Степанович по-настоящему влюблен, как черт в ведьму, в одну только революцию и готов принести этой чертовской старухе в жертву не только всю Россию, но и все человечество. Однако и революция и человечество — это отвлеченности, Николай же Всеволодович Ставрогин, со своими бесчисленными поклонниками и поклонницами, это осязаемая, материальная реальность, да еще красивая, скажем, прекрасная — чего же еще желать материалисту и безбожнику? И, в конечном результате, психоанализ «Бесов» дает, хотя как будто бы неожиданные, но все же весьма твердо могущие быть установленными результаты: *является неизвестно откуда вождь, красавец, вызывающий к себе поляризованные чувства любви и ненависти* — как у мужчин, так и у женщин, — чувства, хотя смешанные и неясные, но, несомненно, чудовищной силы, при которых и речи не может быть о сопротивлении.

В самом начале романа-трагедии Достоевский намекает на то, что хотя дамы города разделились на поклонниц и противниц Ставрогина, но его противницы и ненавистницы были в него в еще большей степени влюблены, чем поклонницы и сторонницы. Мужчин же Ставрогин пленил своим умом, а главное — расставлением идеологических сетей, причем для каждого свойственным ему образом. Это было возможно вследствие огромного ума Николая Всеволодовича. Однако это свойство оказалось сетью для него самого, — ибо, не имея ни веры, ни любви, он при своем огромном уме и ослепительной красоте мог в результате подобного рода психо-пневматической химии, вернее алхимии, только *адски* (в буквальном смысле слова) *скучать*, особенно пресытившись чрезмерными своими донжуанскими успехами по всем направлениям и не зная ни осечки, ни срыва. Язву скуки в этой области он пробовал лечить *«большим развратом»* или же такими «утонченностями», как брак с отвратительной для него Хромоножкой (конечно, на долгое время в него без ума влюбившейся) или влюбив в себя, развратив и, так сказать, «самоубив» малолетнюю девочку Матрешу. Все это не помогало, да и помочь не могло в аду скуки, в которую с головой погрузился Николай Всеволодович еще до собственного самоубийства.

«Все творчество Достоевского, — говорит Н. А. Бердяев в своей блестящей книге «Миросозерцание Достоевского», — насыщено жгучей и страстной любовью».

Это, конечно, верно. Самое замечательное, что из этого общего правила «Бесы» не представляют исключения. А,

казалось бы, должны были бы представлять. Такое заблуждение объясняется тем, что многие, даже очень вдумчивые, читатели захвачены социально-политическим, социально-утопическим и революционным соблазном, скользят по этой поверхности «Бесов», не умея и не желая войти в глубину, которая здесь, как и всюду у Достоевского, за малым исключением (отчасти, например, «Записок из Мертвого дома»), тоже насыщена эротикой — и какой ужасающей и какой пагубной...

Бердяев считает, что трагедия пола и любви (половой) в «Бесах» хорошо символизируется трагедией социально-политической. Но это также причина и того, что в «Бесах» и в других местах так безуспешно пытаются вытеснить страстную любовь иными эквивалентами и, например, потушить ужасы эротики ужасами социально-политическими... Это уже потому невозможно, что таких эквивалентов нет и быть не может, не говоря уже о том, что это то же самое, что тушить пожар керосином или порохом... Подобно тому, как социально-политические страсти и так наз. классовая борьба не знают пощады, так и сексуальная ревность и борьба в еще меньшей степени знают пощаду.

Положение здесь создается в такой степени отчаянное, что Н. А. Бердяев прибегает к последнему отчаянному средству, к «ультима рацио регум»: решить самым радикальным, то есть революционно-коммунистическим средством все социальные противоречия для того, чтобы дать возможность всем прочим страстям (конечно, сексуальным в первую голову) разыграться во всем их безудержном и беспримерном трагизме.

Я считаю эту мысль гениальной. Однако Бердяев, предлагая это средство, ни слова не говорит об его «эффективности»... По-видимому, он сам в него не верит и предлагает здесь замену социально-политических страстей (через их полное изживание в революции) только по той причине, что страсти, вытекающие из природы человека, ему симпатичнее страстей социально-политических, и соперничество влюбленных гораздо живописнее, да и благороднее, чем борьба вокруг банков и трестов, которая ему отвратительна (как и автору этих строк), не говоря уже о необычайной пошлости всего социально-политического элемента.

Отняв у своих, словно в кошмарном сне, обессиленных соперников их невест и жен, растлив малолетнюю Матрешу и толкнув этого ребенка на самоубийство, надругавшись над социально-политическими страстями тех же самых мужчин, над которыми он надругался в плане сексуальном, самоубийственно и безнадежно заскучавший и потерявший всякую подлинную духовную силу и мужественность, Николай Ставрогин, к неописанной скорби его матери Варвары Петровны и его духовного отца старца Тихона, красавец и умница Ставрогин погибает от собственных рук в шутовском, но вместе с тем и адском трансе... И, что самое ужасное, погибает вполне сознательно. «Варвара Петровна бросилась по лесенке; Даша за нею; но едва вошла в светелку, закричала и упала без чувств.

Гражданин кантона Ури висел тут же за дверцей. На столике лежал клочок бумаги со словами карандашом: «Никого не винить, я сам».

В предсмертном, последнем письме к Дарье Павловне Шатовой у него вырвалось характерное и ужасное признание: «Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы». Но вопрос этот можно и обратить: не потому ли ушел Ставрогин в большой разврат, что он потерял духовные силы в снобистских и ненужных псевдо-духовных блужданиях, не желая, а потому и не умея обратить свои взоры повыше. И таким образом, здесь роковым и символическим образом сплетаются воедино темы: *темы разврата и безбожия*. Поэтому тема *атеизма*, любимая и, в сущности, единственная тема Достоевского, — так прочно и так показательно спаяна у автора «Бесов» с темой о грехе. Нет возможности толком ответить, где кончается безбожие и начинается грех, или обратно, где кончается грех и начинается безбожие. Никогда и никем эта проблема не будет решена средствами элементарного рассудка, этой «блудницы диавола», но только средствами очищенного религиозной интуицией духа.

Два самых умных из персонажей «Бесов» оказались по совершенно разным мотивам, но при одном общем стимуле, — самоубийцами: это — Кириллов и Ставрогин. Самоубийства эти были, если можно так выразиться, философско-метафизические: *абсолютный скепсис*, то есть *абсолютное неверие не могло не обратиться в актуальность самоубийства*. Но Петр Степанович Верховенский оказался, если так можно выразиться, бесконечно ниже самоубийства: он *метафизический дурак*.

Поэтому он, в качестве отвратительнейшего сплетения предельной непорядочности, предельной хитрости и предельной глупости и некультурности вполне и до конца, в качестве законченного представителя революционно-социалистической интеллигенции, заслужил *плевка и града пощечин* от Федьки Каторжника, которому и поручена судом свыше расправа с мелкой сволочью, с «вонючей букашкой», так сказать, производным от Белинского. Этот плевок и этот град заушений, собственно, и являются тем, что можно и должно наименовать *элементом катарсиса* в трагедии «Бесов». И действительно от этого града пощечин и от этого плевка, повторения плевка в мерзостную рожу Петра Степановича Шатовым еще в Женеве происходит *подлинное разрешение всех напряжений* и *очищение загрязненной Петром Степановичем ауры, насыщающей среду, в которую погружены действующие лица «Бесов»*.

Судьба профессора Владимира Николаевича Ильина (1891—1974) типична для поколения людей, духовная зрелость которых совпала со страшными событиями первых десятилетий XX века в России. Октябрьский переворот поставил русскую интеллигенцию перед проблемой выбора. Или петь гимны «земшарой республике», или, покинув Родину, сохранить ее в своем сердце и служить ей за пределами. Был и третий путь — лагеря, голодная смерть, пуля в затылок... В. Н. Ильин эмигрировал в 1919 году. Как он сам написал позднее в автобиографии, «мне угрожала смертельная опасность по причине давнишней моей борьбы с материалистической марксистской идеологией, которую я всегда вел в очень резком тоне».

До революции судьба его складывалась блестяще. Родился он в 1891 году в имении Владовка Киевской губернии, в семье крупного чиновника финансового ведомства. Окончил гимназию с медалью и два факультета Киевского императорского Университета Св. Владимира, сначала физико-математический, а затем историко-филологический. Получил золотую медаль за сочинение по теме «Проблема философии музыки у кн. В. Ф. Одоевского». Одновременно окончил частную консерваторию по классу композиции. Был оставлен при университете для подготовки к профессуре. Получив звание магистра, начал читать лекции по философии в качестве приват-доцента. Однако деятельность его была прервана в 1917 году.

Дальше начались скитания. В 1920—1922 гг. В. Н. Ильин преподавал в средних и высших учебных заведениях Константинополя. В 1922-м был приглашен в Берлин, где поступил на богословский факультет университета, который окончил в 1925 году. Переехал жить в Париж, где до 1941 года преподавал литургику и средневековую философию в Православном Богословском институте Св. Сергия. За это время он опубликовал ряд трудов по богословию, философии и литературе, среди которых особую известность ему принесла работа о преп. Серафиме Саровском.

●

ВРЕМЯ

ИДЕИ. ДИАЛОГИ. ПОИСКИ.

Народ должен знать свою историю

Беседа писателей Дмитрия Балашова и Руслана Дериглазова

Дмитрий Михайлович Балашов родился в 1927 году в Ленинграде, многие годы жил в Петрозаводске, в последние годы живет в Новгороде. Окончил Ленинградский театральный институт и аспирантуру Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), кандидат филологических наук. Ученым-фольклористом и собирателем Д. М. Балашовым подготовлены и изданы сборники «Народные баллады» (1963), «Русские народные баллады» (1983), «Сказки Терского берега Белого моря» (1970), «Русская свадьба» (1985) и другие. Первая историческая повесть «Господин Великий Новгород» вышла в 1967 году, в 1972 году — первый исторический роман «Марфа-посадница», а затем — цикл исторических романов «Государи Московские» («Младший сын», «Великий стол», «Бремя власти», «Симеон Гордый», «Ветер времени», «Отречение», 1975—1988). В 1991—1993 годах в издательстве «Художественная литература» выходит шеститомное собрание сочинений Дмитрия Балашова.

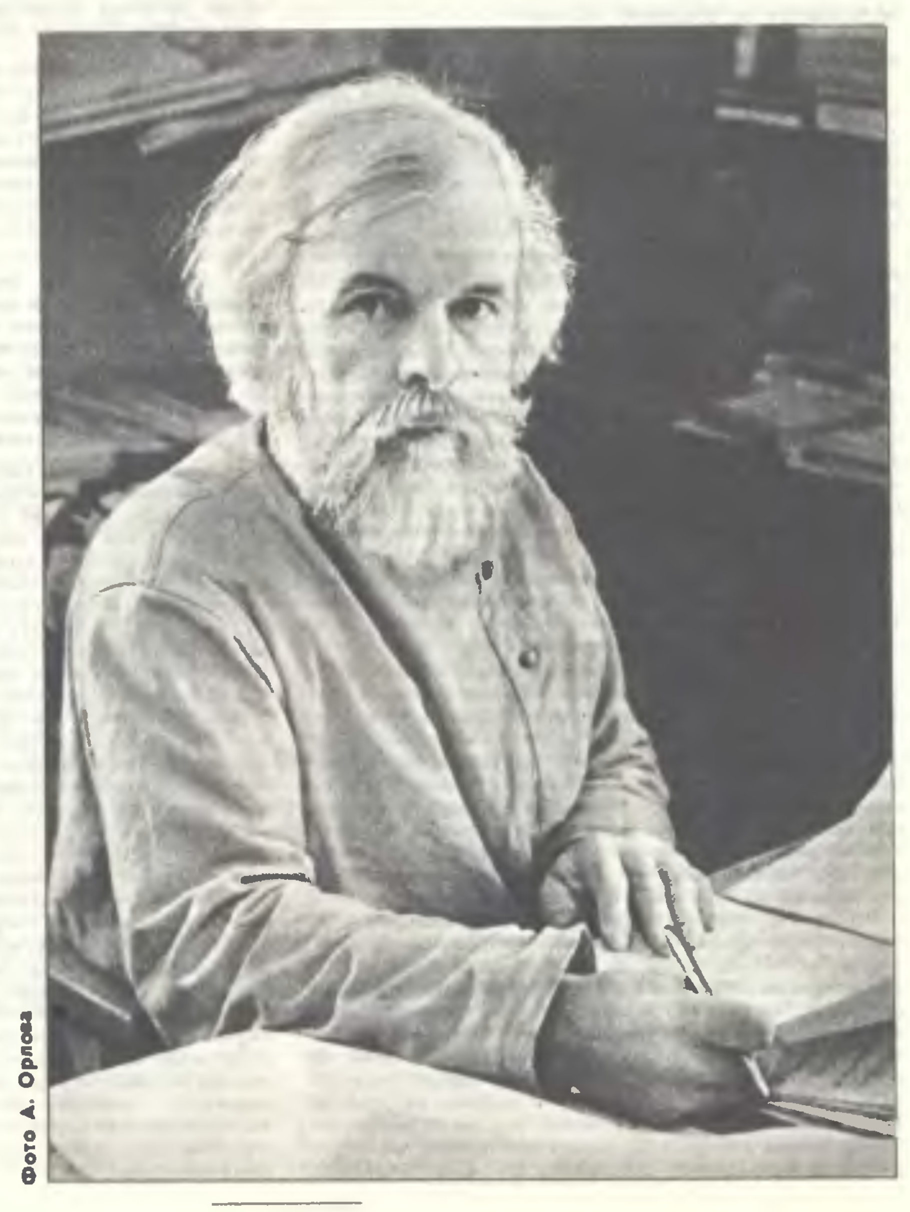


Фото А. Орлова

— Дмитрий Михайлович, как вы пришли в историческую прозу? Предшествовали ли вашей первой исторической повести «Господин Великий Новгород» какие-то литературные увлечения, какие-то другие — неисторические — пробы пера?

— Можно считать, что этого не было. В свое время я сочинял какие-то бездарные стишки. Даже, помню, пытался сочинять какой-то роман из современной жизни. Дальше нескольких фраз и общего замысла дело не пошло. Было это настолько давно, что почти уже и неправда.

Собственно говоря, за пять минут до того, как я взялся писать свою первую повесть, я и не думал, что что-то такое напишу. С чего началось? Случайно пришла в голову сцена, когда я читал летопись. Сцена представилась настолько живо, что я ее записал. Да и забыл об этом. А через год, когда я поехал отдыхать в деревню на Север, я так, на всякий случай, просмотрел кое-какие берестяные грамотки, другие материалы новгородские, какие оказались под рукой, и вот там вдруг сел — и написал в один присест черновик своей первой повести.

Так что я не знаю, как это все начинается. И думаю, что никто этого не знает, поскольку художественное творчество находится по ту сторону логики...

— А то, что именно Новгород привлек тогда ваше внимание, это тоже была случайность?

— Нет, я бы не сказал... Как-то это само собой произошло. Что-то подспудно накапливалось, видимо, в душе. Но что и как я даже и сейчас сказать не могу. Вот «Марфу-посадницу» я писал уже сознательно, потому ее и очень трудно читать — это все говорят. Готовился очень серьезно, проштудировал буквально все материалы, какие только были... ну а потом уж пошли «Государи»...

— Замысел «Государей Московских» возник сразу именно как замысел свода романов или же по мере написания отдельных книг?

— Да, сразу. С самого начала. А в процессе работы он, наоборот, стал ограничиваться. Когда-то я думал довести повествование до Смутного времени. А сейчас, аще не умру и ничего не случится и смогу писать (а писать мне все труднее — возраст!), — дай Бог мне докончить XIV век, создание Московской Руси, и тогда цикл приобретет известную завершенность. То есть надо довести повествование до кончины Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. С Сергием отошла эпоха...

Я очень не люблю и даже боюсь строить планы, потому что они имеют обыкновение не сбываться.

— Но ведь вы, наверно, надеетесь все-таки...

— Ну что значит надежда! Я ни на что не надеюсь. Никогда. Я работаю.

— А сейчас вы рвботаете над чем?

— Пишу заключительный роман цикла «Государи Московские», центральным событием которого является Куликовская битва. Называться он будет «Святая Русь».

О своих еще не оконченных работах я очень не люблю говорить. Единственно, что могу с уверенностью сказать, — роман начинается с 1375 года, которым закончился мой последний роман «Отречение». Что касается основной канвы, то это борьба Москвы за гегемонию в Волго-Окском междуречье (мимолетная — с Суздалем, но очень долгая и напряженная — с Тверью) и окончательное утверждение на Руси новой формы государственности.

Работа идет трудно. Увы, пока что написаны лишь три части из предполагаемых восьми. Историческая проза, вообще-то, — дело очень не простое. Даже когда у тебя все материалы собраны и все как будто изучено — это еще не значит, что ты можешь сесть и начать писать... У меня все усугубляется еще и тем, что жизнь вынуждает отвлекаться на различные общественно необходимые дела. За предшествовавшие нынешнему периоду работы полтора года, можете себе представить, я не написал ни строчки. Ни строчки! Поездки, выступления, участие в различных общественных акциях... Занимался чем угодно, только не своим прямым делом.

Много сил отдает Дмитрий Михайлович борьбе за оздоровление экологической обстановки в Новгороде и стране — выступает на митингах и в печати, всеми доступными ему средствами разъясняет гибельность избранного у нас пути индустриального развития. Не меньше энергии тратит он на то, чтобы оберечь, спасти памятники истории и культуры Новгородчины от ведомственных «иванов, не помнящих родства» (насколько страшны они — лишний раз подтверждает падение стены Новгородского кремля). Балашов был в числе организаторов грандиозного Праздника славянской письменности и культуры в Новгороде в 1988 году; он один из создателей Фонда славянской письменности и славянских культур.

Да, все это важно и нужно. «Писатель, если только он — волна, а океан — Россия...» Да, конечно. И все же — куда деть горечь, которая звучит в словах Дмитрия Михайловича: за полтора года — ни строчки... чем угодно — только не своим прямым делом?.. На каких весах — и кто — взвесит непосредственные общественно-значимые действия гражданина Балашова, во многом вынужденные складывающимися обстоятельствами жизни, и гражданский же подвиг писателя Балашова, созидающего свод исторических романов о родной Руси? И что перевесит?..

И как не вспомнить тут его же проповеднической страстности слова из романа «Великий стол»: «От нас, живых, зависит судьба наших детей и нашего племени, от нас и наших решений. Да не скажем никогда, что история идет по путям, ей одной ведомым! История — это наша жизнь, и делаем ее мы. Все скопом, соборно. Всем народом творим, и каждый в особину тоже, всею жизнью своей постоянно и незаметно».

— Между прочим, Дмитрий Михайлович, именно с конца 60-х годов, когда вы работали над своими первыми книгами, начался подъем читательского интереса к исторической прозе. Интерес этот затем рос неуклонно — и на протяжении 70-х годов историческая проза заняла одно из глввенствующих мест в нашей литературе. Исторический роман стал буквально всенародным чтением. Чем это можно объяснить, по-вашему?

— Начну издалека. Напомню, что, согласно концепции Льва Николаевича Гумилева, каждый этнос, испытав в свое время подъем, проходит определенный путь — и вот через шесть веков после начала этногенеза происходит такой страшный срыв, надлом, когда внутри народа накапливаются противоборствующие элементы, шлаки, так сказать, человеческие, внутриэтнические связи разрываются, люди начинают ненавидеть друг друга... Мы были в таком вот нормальном (исторически предсказуемом для каждого этноса) состоянии надлома, из которого сейчас, возможно, начинаем выходить. Хотя механизм уничтожения страны продолжает действовать, более того — уничтожение идет по нарастающей. И все же сейчас в обществе происходит как бы оживление тканей — как после сильной травмы, когда потерявшее чувствительность тело снова начинает что-то ощущать. Ну и в связи с этим естественно возникает интерес к истории. Причем докапиталистическая история сегодня интересует всех — не только у нас, но и на Западе тоже. Видимо, потому, что сейчас весь мир в результате технократического развития приблизился к страшному кризису, к смерти. И люди хотят заглянуть в предшествующую эпоху, чтобы посмотреть: может, это было не так уж и плохо, может быть, там остался шанс на спасение — или какой-то опыт, который надо вспомнить, чтобы опомниться... Иначе говоря, они оглядываются на докапиталистическое прошлое, как на потерянный рай, где люди жили принципиально по-иному: строили в первую очередь не завод, не консервную фабрику, не ресторан, а — почему-то — церковь, при этом жили весьма скромно, даже представители знати, а вместе с тем тратили средства огромные на создание красоты, на поддержание духовности в обществе.

Сейчас совершенно безжалостно и беззастенчиво мы уничтожаем вмещающую нас среду — и уничтожаем ради того лишь, чтобы не сделать, не дай Бог, лишнего какого движения... А тогда люди уйму сил изводили на истребление друг друга, но при этом в относительном покое и неразоре оставались леса, воды, воздух, земля, то есть все то, что позволяло людям самовосстанавливаться через какое-то время.

— На ваш взгляд, историческая проза помогает переоценивать — и в первую очередь в нравственном отношении — современную жизнь?

— Разумеется. Иначе она была бы не нужна.

— Но ведь прежде это было просто развлекательное чтение. Скажем, в том же девятнадцатом веке, в начале нынешнего...

— Во многом и та историческая проза, которую пишут сейчас, — тоже не более чем беллетристика. Правда, за последние десятилетия заметно выросла научная база исторических писателей. Сегодня они осваивают материал достаточно глубоко, доходят и до летописей и до подлинников. А ведь до войны писатель, берущийся за историческую тематику, считал для себя достаточным бегло просмотреть вузовский учебник истории — и ничего больше. Как-то, читая рецензии на Валентина Иванова, обнаружил даже такого автора, который описывает русскую церковь как... католическую. Представляете, живя в России, ничего не знал о православной церкви. Абсолютно! Ну, а поскольку он начитался, видимо, того же Дюма, то ничтоже сумняшеся одел русских монахов в... сутаны с белыми воротничками!

— Сегодня, мне кажется, любую историческую прозу читатель воспринимает с какой-то нравственной тоской и упованием. Иначе говоря, читательские интересы изменились — и общественный вес самого жанра исторической прозы тоже изменился..

— Да, пожалуй. Но пока что, как я уже говорил, в ответ на эти ожидания писатель стал грамотнее исторически. Что же касается трактовки исторических событий, то она еще большей частью очень примитивна, все еще на уровне вульгарного социологизма. Вот сейчас, скажем, о Куликовом поле очень много написано. Хуже, лучше, более или менее удачно, но в большинстве случаев все-таки психология изображаемых людей строится по заранее заданным схемам. Так, первенство Москвы (которое в XIV веке еще оспаривалось) для них несомненно. Это сказывается на оценке деятельности исторических персонажей. Ну, например, если рязанский князь ссорится с московским, то он — «изменник», хотя изменником ни один самостоятельный владетель по отношению к другому попросту не может быть. И вот такие глупости спокойно повторяются, они в ходу — и как-то даже никого не насторожили до сих пор. Общая трактовка ордынских событий по сей день исходит из той точки зрения, которую утвердили немецкие историки, типа того же Шлецера, работавшие в России в конце XVIII — начале XIX века. В соответствии с этой точкой зрения все, что идет с Запада, является безусловно прогрессивным и хорошим, а все, что с Востока, — это безусловные дикость и варварство. И чем восточнее, тем дичее и грубее: поскольку монголы далеко на востоке, то они самые дикие, те народы, что поближе, менее дикие, Россия — еще менее, Польша — культурнее России, ну и так далее... Эта точка зрения бытует у нас в обществе до сих пор и не собирается сдавать своих позиций.

Так что даже если и есть, как вы полагаете, какие-то высокие читательские надежды, то оправдать их сегодня исторические писатели вряд ли в состоянии.

— Какие главные проблемы, на ваш взгляд, стоят перед русской исторической прозой?

— Во-первых, прежде всего — народ должен знать свою историю. В этом, если хотите, и смысл и цель исторической прозы — дать человеку такое знание в образах.

Есть такие законы развития человечества, которые в логическую схему не укладываются, доказать их невозможно. Но они есть. Скажем, история, критически — подчеркиваю: критически — не осмысленная, приобретает круговое движение. Она начинает возвращаться. Так, приняв с легкой руки Кавелина и прочих либералов кровавую тиранию Ивана Грозного как действия человека, который якобы собирал страну, боролся с реакционным боярством и т. д., мы тем самым уже подготовили появление сталинских лагерей. И если мы будем продолжать придерживаться подобных оценок, то кровавая тирания (в новом историческом облике) придет по третьему кругу, по четвертому... пока нас не убьет. Да, повторяю, каждое событие в истории, критически не рассмотренное — и тем самым не преодоленное, — обязательно возвращается. Поступательного развития в истории вообще нет. Я полагаю, что общество развивается не поступательно и не прогрессивно, как нам всегда говорили и все еще продолжают внушать, а по типу колебательного движения: от возникновения через развитие к затуханию... И уж, разумеется, не приходится говорить о прогрессе применительно к технике. Сейчас считают, что человечество существует уже 5 миллионов лет, а кроманьонец, тот тип человека, к которому принадлежим мы, существует 40 тысяч лет. Так вот, из этих 40 тысяч лет лишь последние 200 приходятся на развитие этой самой техники — и что же? За какие-то 200 лет мир поставлен на грань катастрофы — если так продлится еще 20—30 лет, мы, люди, погибнем вообще, земля наша превратится в мертвую планету. Согласитесь, что это ну просто нельзя называть прогрессом, у нормального человека язык не повернется..

— А не думаете ли вы, Дмитрий Михайлович, что столь печальный для всех нас исход, вероятность которого ужасающа, объясняется, в частности, и тем, что мы всегда были слишком невнимательны к истории, не извлекали из нее уроков?

— В значительной мере. Понимаете, процессы, которые происходят с человечеством, нельзя отменить. Они происходят — и все тут. Но как-то смягчить, конечно, можно. Скажем, Киевская Русь. Она должна была кончиться, и ничего с этим не поделаешь. Но интеллигенция того времени изо всех сил старалась хотя бы сохранить культуру, нажитую Киевской Русью. И она эту культуру — с огромными потерями (ведь «Слово о полку Игореве» — случайно сохранившийся крохотный осколок великой литературы, нам не известной), но все-таки сумела спасти, сохранить и передать в наследство Руси Московской. И если бы она этого не сделала, то очень трудно представить, что было бы. Московская Русь все равно поднялась бы, но это было бы какое-то совершенно иное государство полуварварского типа. Благодаря же тому, что удалось спасти и передать культуру, духовное развитие Московской Руси началось сразу с высоких ступеней... Подобное происходило в свое время в Китае, где конфуцианцы сумели аж через три таких этнических срыва перетащить культуру Древнего Китая. Император Цинь Шихуанди (конец III в. до н. э.) распорядился все гуманитарные сочинения сжечь, а ученых топили в отхожих местах и зарывали живьем в землю. И все же уцелевшие конфуцианцы восстановили культурную традицию.

Во всяком случае, наша интеллигенция Киевской Руси совершила грандиозный подвиг. Подвиг, какой только и может совершить интеллигенция, — она спасла старую культуру и передала ее вновь нарождавшемуся в Волго-Окском междуречье государству. А вот наша интеллигенция XVIII—XIX веков — увы! Я не говорю о гениях. И Пушкин, и Грибоедов, и Лев Толстой, и Достоевский — все они понимали жизненную необходимость связи времен. Но это были исключения. Вся же интеллигенция, в массе своей, ничего такого не хотела понимать, кроме того, что — давайте устроим у себя точно так, как во Франции или Италии. Ну и устроили...

Их жажда европейской цивилизации одолела. Европейской именно... Цивилизация есть везде и всегда, но у каждого народа своя. У каждого свой способ существования. И когда его начинают менять, вдруг оказывается, что этногеографические условия (а это не только география сама

по себе, но и связанный с нею способ хозяйствования, веками выработанный людьми, проживающими в данных условиях) приходят в непримиримое противоречие с насаждаемым извне новым образом жизни. Такая именно история и получилась у нас. Мы были вроде бы близки, похожи на европейцев. Близки, да не очень. У нас тоже вроде был феодализм, но он был какой-то иной, не как в Европе. И хозяйство было несколько другое. В нашем резко континентальном климате важно было беречь лес — мы селились редко. Не имея дорог, ездили по рекам, преимущественно же зимой, по санному пути. У нас был свой образ жизни, и он был ничуть не хуже западноевропейского. Более того, европейские путешественники, наблюдавшие Россию в XV—XVI веках, в один голос отмечают доброкачественность и дешевизну продуктов питания. При всей разности отношений все они, тем не менее, свидетельствуют, что московиты — народ здоровый, сытый, красивый. Мог не нравиться этот тип культуры, но то, что сложившийся образ жизни способствовал в тех условиях процветанию нации, ее физическому и духовному здоровью, отмечали все.

Не проигрывали мы и в других отношениях. Артиллерия у нас была лучше западноевропейской, допетровская еще артиллерия. И если бы не кровавые эксцессы Грозного, так, собственно, у нас и кризиса последующего не было бы, не было бы тяжелой, почти проигранной войны со шведами. А ведь шведскую агрессию на протяжении нескольких веков сдерживал один Новгород — и сил хватало.

Но после того как Грозный методично, изо дня в день уничтожал население города, естественно, в конце концов сопротивляться стало просто некому. Ну так при чем же тут западный или не западный образ жизни! Когда просто-напросто людей уничтожили. То же самое мы повторили в последнюю войну: изничтожив все руководство армии, посадив в лагеря строителей танков и самолетов, мы, естественно, были на первых порах разбиты и отброшены до середины страны и лишь потом, ценой невероятных усилий и потерь, смогли переломить ход войны, отстоять свою независимость... Так-то вот мы делаем выводы из истории!

— Не поставлена ли сегодня наша интеллигенция перед необходимостью такого же подвига, какой совершила в свое время интеллигенция Киевской Руси?

— Наша интеллигенция — да, да, да! Но подвиг этот сейчас гораздо более тяжел. Потому что нам предшествовала та интеллигенция, которая изо всех сил жгла все то, чему прежде поклонялась. Стремление наплевать и забыть стало чуть ли не основополагающим у нас. Ну а сейчас это поветрие уже охватило весь народ. Вот вы говорите о подвиге. А мы за последние десятилетия уничтожили 95 процентов памятников культуры, которые до нас еще сохранялись...

— Сегодняшний пересмотр взглядов на религию в нашем обществе, в государственной политике открывает новые возможности и ставит большие задачи перед русской литературой, в первую очередь — перед исторической прозой. Вы разделяете эту точку зрения?

— Еще до того, как я начал писать, задался таким вопросом: почему в русском историческом романе, изображающем допетровскую Русь, нет образа интеллигента? Практически его нет. А ведь вся культура тогда была единой, и строилась она на основе богословия. Культурный человек допетровской Руси учился в том же учебном заведении, что и будущий церковный иерарх, они сидели за одним столом, читали одни и те же книги. Поэтому тогдашние интеллигенты службу церковную знали так же хорошо, как и священнослужители. Язык богословия, язык церковных книг был обиходным языком культурного мышления всех классов. Следовательно, изобразить людей того времени, учитывая, что все они были люди верующие и богословски образованные, просто нельзя. Но ведь изображали... и продолжают изображать.

Вот почему в русском историческом романе очень часто на первом плане оказывались дикость, грубость, изощренная жестокость — все то, что остается в человеке, если его лишить полностью духовности. Остается зверь. Это-то, собственно, и изображалось, это-то и подавалось как наше прошлое. Мало сказать, что это неверно. Это клевета. Потому что народ, такой, каким он описывался в каких-нибудь там «Гулящих людях» и прочих подобных сочинениях, этот народ в принципе не мог создать ни потрясающую иконопись, ни замечательные храмы, ни изумительную музыку, да и вообще ничего. В том числе и государства своего, даже плохонького.

Наша литература представляла отечественную историю лишь как череду бунтов, разрушающих всякую государственность. И подобный взгляд на историю всячески поддерживался (если не насаждался) сверху людьми, создавшими крайне жесткие формы государственной власти, практически лишенные правовой основы.

— Мы и по сей день не отрешились от подобного взгляда на историю.

— Оставим в стороне тонкие рассуждения на тему, является ли одухотворенной физическая субстанция Вселенной или нет (в чем, собственно, и состоит основное расхождение между религией и атеизмом). Что же касается морали — она нам необходима. Посеяв ветер воинствующего безбожия, мы пожинаем сегодня бурю невосполнимых моральных потерь. И никак не хотим этого понять. Или — признать. Но ведь ясно же, что с людьми, лишенными морали, не построишь государства. Нельзя. Потому что в этом случае никакие способы сдержать, например, воровство не срабатывают. Человек, который изобретает замок, не умнее того, кто изобретет отмычку. Весь вопрос заключается в нравственности. Недаром наши предки сочинили пословицу: замок не от воров, а от честных людей.

Практически вся система государственного управления может держаться и держится только на морали.

А если этой самой морали нет, то все! Руководитель берет взятки, вкладывает золото в швейцарский банк, мечтает пожить за границей «как люди»... Примеров уже достаточно — Брежнев, Рашидов, Щелоков, Суслов и прочие, и прочие... То же самое можно в любом сословии найти. Взять человека, который где-то там осушает болота, отлично зная, что ничего после этого не вырастет, а лес он свел, и ягода исчезла, и грибы тоже, и вообще на этом месте больше ничем нельзя будет заниматься — убил он эту землю, а он говорит: мне наплевать — я здесь деньги заколачиваю! Ведь это все то же самое. Только масштаб иной. Человек, который роет экскаватором канал Волга — Чограй, так же виноват, как и тот, кто затеял это строительство и руководит им.

И все это — проявление аморальности, порожденной не без участия в том числе и насаждавшегося сверху убогого атеизма. Сегодня торжествует принцип: живем только раз — после нас хоть потоп. Видя это, с особой остротой понимаешь, что те строгие моральные нормы, которые давала религия, людям совершенно необходимы. А как они в наше время разрознены, одиноки! Как несчастны!

— Церковь давала соборную мораль, она объединяла людей и помогала каждому в этом моральном поле существовать: душа жила в соответствии с нравственными силовыми линиями.

И все же — не идеализируем ли мы сегодня церковь? Ведь и на ее счету, в нарушение всех моральных установок, немало неправедных дел.

— Когда на Западе в свое время устраивали «охоту на ведьм» и тому подобное, то ведь это были перехлесты, по существу, не религиозные, а вытекающие из определенной системы социальных отношений. Просто они облекались в привычные религиозные формы. И когда, скажем, жгли на кострах еретиков, то тем самым, подменяя человеческим судом суд Господень, который должен воспоследовать за гробом, низводили — самым атеистическим образом — небо на землю. Что прямо предшествовало, если хотите, гитлеровским и сталинским концлагерям... Да, тут надо говорить о преступлениях отнюдь не церковных, а антицерковных. Что же, это бывало в истории, и нередко. Были разные пастыри, организация самой церкви — организация все-таки земная, и служители ее вполне могут подпадать под гнет как властей предержащих, так и определенной государственной идеологии.

К чести русской православной церкви — у нас не было ни инквизиции, ни «охоты на ведьм». А ведь тоже могло быть. Оказывается, еще в XIII веке наша церковь очень серьезно выступила против «охоты на ведьм». Сохранились проповеди Серапиона Владимирского, к примеру, в которых он прямо говорит о том, что надо смотреть не на соседа, уличая его в колдовстве или еще каких страшных грехах, а обращать взор свой духовный на себя самого и лучше молиться, потому что истинно верующему никакой колдун не страшен; так что если у вас возникло опасение, что на вас навели какую-то порчу, то лучше молитесь, посещайте церковь — и всякое бесовское наваждение от вас отойдет, а что до наказания грешника, то это уж предоставьте Господу самому решать... И это вторая половина XIII века, очень тяжкое время, еще так памятно недавнее монгольское нашествие, страна платит дань, а церковь — вот как ставит вопрос. Благодаря этому Россия избежала костров инквизиции.

Так что наша православная церковь — вопреки тому, что писал в своем письме Гоголю Белинский (католическая церковь когда-то была чем-то, а православная — никогда ничем) — была как раз гораздо значительнее в области общественной морали, гораздо ближе к истинным заповедям добра и как раз не впадала в те земные соблазны, в которые впадала церковь католическая. И это должно поставить ей в огромную заслугу, что она боролась с иезуитскими соблазнами.

Точно так же церковь наша с самого начала Московской Руси боролась против рабства. В отличие от византийской церкви, которая ставила нам иерархов и которой во всем как будто должно было подражать... Митрополит Кирилл, тот самый, который пережил татарское нашествие, он где-то выискал какие-то забытые самими византийцами документы, по которым церковь все-таки не могла, не должна была иметь рабов. И церковь русская с тех пор боролась с рабством все время, заставляя бояр хотя бы при смерти отпускать холопов своих на волю. Она медленно, постепенно выдавливала рабство и рабовладение из общественных условий тогдашней русской жизни — и ведь выдавила, по существу. И только тогда, когда с петровских времен церковь была угнетена и государственная власть полностью возобладала над церковью, рабовладение было полностью восстановлено. Возобладал этакий «цивилизаторский» подход: вот на Западе крестьянин культурный, а у нас некультурный, а раз так — с ним можно делать все, что угодно: и пороть, и за бороду драть, и всякое прочее... а зачем он французского языка не знает?!.

Церковь же подверглась разграблению. Последнее отобрала Екатерина II. Были закрыты монастырские школы, потому что их не на что было содержать. Уничтожались монастырские библиотеки — сжигались, растаскивались. Произошло огромное падение культуры. Да, картина была очень невеселая. И только староверы упорно продолжали держаться убеждения, что грамотным должно быть все население, ну, по крайней мере, все мужчины поголовно. И староверы, в отличие от никониан, сохранили грамотность. А это очень большой знак. Ведь это значит, что в той, забытой нами Древней Руси грамотность была всеобщей, а уж староверы из последних сил поддерживали эту традицию. Кстати говоря, наша церковь в XIV веке отлично знала о шарообразности Земли, о том, что она движется в мировом пространстве... Иначе говоря, она знала все то, что знали Гален, Гиппократ и прочие греческие и римские авторы...

— То есть, вы хотите сказать, русская церковь не была ни темной, ни отсталой?

— Конечно. Это потом уж (и то лишь по мнению атеистов) она «потемнела», так сказать.

— А что вы думаете о тех переменах в отношении к религии, которые сейчас происходят в нашем государстве?

— Никаких особых перемен в отношении к религии со стороны государства я пока еще не вижу. Ну, во-первых, начнем с того, что жуткие налоги, которые платит церковь, как были, так и остались. Все-таки, согласитесь, это очень важный вопрос: грабить церковь или не грабить... Второе: после войны, с оживлением тогдашней религиозной жизни, у нас было 60 тысяч церквей. После хрущевских гонений осталось 20 тысяч. За последние два-три года открыто, говорят, более двух тысяч. Допустим. А все же где, простите, те еще 38 тысяч храмов, которые были закрыты? А те церкви, которые могли бы возникнуть в крупных населенных центрах?.. По нашей устоявшейся привычке все сравнивать с 1913 годом не худо бы узнать, сколько было церквей в России в 1913 году на 180 миллионов населения — и сколько их сейчас. Во всяком случае, в немецком городе Фрайбурге, в котором я побывал недавно, на 170 тысяч жителей 40 действующих храмов — и они еще плачутся на упадок религиозности; а в Новгороде на 220 тысяч человек — всего два храма! Да и то второй открылся совсем недавно. Вот и считайте!..

То, что происходит сейчас с церковью у нас, я думаю, никак нельзя назвать ее возрождением. Ведь на местах-то власти по-прежнему не сомневаются в том, что надо держать и не пущать. Под разными предлогами (нужды музеев, недостаток клубных помещений и проч.) всячески тормозится то, что единственно правомерно: церковь должна получить назад всю отобранную у нее собственность вместе с восстановительной стоимостью разрушенных храмов.

Так что — нет, не вижу я сколько-нибудь существенных перемен в положении нашей церкви. Пока что один благие разговоры, в лучшем случае.

— Давайте вернемся к творчеству, Дмитрий Михайлович. Кого вы считаете своими учителями? Под чьим влиянием формировались как писатель-историк?

— Я считаю себя учеником Льва Николаевича Гумилева, разработавшего свою теорию этногенеза, значение которой для исторической науки неоценимо, но по-настоящему его теория еще даже и не осознана.

Когда я работал над «Господином Великим Новгородом» и «Марфой-посадницей», постоянно пользовался трудами академика Янина, да и после нередко прибегал к ним. Это ученый с абсолютно историческим подходом. Все время обращаюсь к трудам Веселовского. Его книга «Московские послужильцы» у меня настольная, такие его работы, как «Село и деревня», «Землевладения боярские и митрополичьи», просто необходимо знать, на них постоянно опираешься. Сейчас много интересных исторических исследований, за всем мне и не уследить. Но в целом историческая наука никак не может отрешиться от прежних вульгарно-социологических подходов. А отдельные исследования просто очень хорошие есть.

Вот пример: тот же Янин безо всяких общих слов разобрал все народные движения древнего Новгорода и обнаружил, что в каждом конкретном случае боролись одни группы новгородцев во главе со своими боярами против других групп с их боярами, это была борьба уличанская и кончанская, борьба Софийской и Торговой сторон, борьба неревлян, скажем, с прусами, словляи — с плотниками. Борьба интересов. Но вот примеров классовой борьбы, когда чернь выступала бы против бояр и других представителей правящей верхушки, «против власти», на протяжении всего существования Новгородской республики, оказывается, нет — такого просто нигде не зарегистрировано. Это безукоризненно проведенное расследование, основанное исключительно на фактах, причем никаких выводов Янин не навязывает — думайте сами. Такие именно исследования опрокидывают очень многие из прежде принятых догматических положений.

— Вы все говорите об ученых. А хотелось бы знать, кого вы могли бы назвать своим учителем в собственно художественном, литературном плане..

— А в художественном — я не знаю.

— То есть, вы хотите сказать, учителей у вас нет?

— Не знаю, возможно, это прозвучит чересчур смело...

ВРЕМЯ. Беседы о судьбах России

но мне кажется, что настоящей исторической прозы в России еще не было. Даже в XIX веке. Не было, скажем, явления, равновеликого Вальтеру Скотту. Если у нас были Пушкин, Лев Толстой, Достоевский, то ничего сколько-нибудь сопоставимого в области исторического романа просто не было. И я думаю, что не случайно. Это постылое западничество, подражательство все-таки сработало... Все мы не могли подойти к родной старине...

— Но в XIX веке, в той культуре, собственно, и реальных предпосылок не было для исторической прозы в сегодняшнем понимании.

— Да, это верно. И все же — о западничестве тогдашнем не следует забывать. Сохранились высказывания того же Грановского, например, о том хотя бы, что история какого-нибудь маленького немецкого города ганзейских времен гораздо значительнее всей истории России. Такой вот был взгляд. Ну, а раз так — о чем же говорить!

У Алексея Константиновича Толстого в его «Князе Серебряном» что-то, вроде, намечалось, но он испортил роман неуверенностью своей, неуверенностью в самоценности русской истории и ее интересности для тогдашнего русского читателя. Поэтому он в повествование и колдуна ввел, и прочую романтическую чепуху. И этим испортил книгу. Она написана на серьезном материале, но вот эти несерьезные разные штуки, которые для забавности, что ли, введены, они очень «снизили» вещь...

Ну, а в XX веке из исторических писателей только Алексея Толстого, пожалуй, и можно назвать. Да и то его заведомо негативное отношение к Московской Руси нуждается в решительном пересмотре. Ясно, впрочем, что Толстой просто выполнял социальный заказ.

— А какой из своих романов вы считаете наиболее удавшимся?

— Я ничего не считаю. Потому что когда я пытался сам оценивать свои романы, даже по прошествии времени, я их не понимал. То есть, я хочу сказать, не мог воспринять отстраненно, как читатель. Я читал свой текст — и мне приходили в голову те же образы и представления, которые были тогда, когда я этот текст писал. Но у читателя-то возникают свои какие-то впечатления, иногда они просто удивляют своей полной неожиданностью. Иначе говоря, восприятие читателя весьма часто и далеко расходится с авторским восприятием. Поэтому я и говорю, что не вижу, что я пишу. Вот когда я научную работу пишу, я точно знаю качественный уровень своего писания. А о художественном тексте я могу судить единственно по отзывам читателей...

— И что же это за отзывы, интересно? Много писем приходит от читателей?

— Пишут. Писем, после которых чувствуешь, что действительно недаром живешь на свете, правда, мало. Но они есть. Есть очень какие-то прочувствованные, глубокие письма!.. Ну и писем, авторы которых не соглашаются с чем-то, тоже обычно немного. Несколько раз мне писали откровенно провокационную ругань — произведя меня в «русские националисты», и в этом именно качестве и оскорбляя. Один такой читатель представился рабочим, но у него был при этом каллиграфический почерк и не было ни единой орфографической ошибки, а стиль — рабочего, так сказать, рассуждения, с матерком. Это он очень тщательно «соблюл», показал даже, можно сказать, хорошее литературное развитие... Бывают в письмах замечания, возражения по поводу гумилевской концепции. А сама по себе проза как-то не вызывает особых возражений...

— С наибольшим художественным азартом, мне кажется, вы пишете батальные сцены и эпизоды. Так ли это?

— Нет, не сказал бы. Много важнее для меня всегда были сцены крестьянские. Кроме того, батальные эпизоды слишком легко писать — до подозрительного легко. Потому что они сами по себе очень картинны, очень воспринимаемы. Тут как раз трудности противоположного характера — не допустить повторения общих мест, стереотипов, в том числе и своих собственных. И каждый раз, представьте себе, я дрожу — не начал ли я уже переписывать сам себя. Да, у меня часто бывает такое кошмарное ощущение, что начинаю сам себя повторять, варьировать собственные сцены, собственный стиль. При этом не знаешь: а может, это и в самом деле уже началось. Тогда, само собой, конец. Вот почему, принимаясь за новый роман, я никогда не знаю — напишу я его или нет. Ну и, кроме того, так называемое творческое состояние тоже очень трудно достижимо. Помню, для «Марфы» собрал все материалы, весь роман уже в голове — надо начинать писать. И — никак. Тут я понял — или скорее почувствовал, — что в городе у меня ничего не получится. Тогда я забрался в деревню, купил домишко, привел его в относительный порядок и только после этого... Стоило разложить на полу родословия новгородских бояр — сразу начал писать. Тогда это было самое начало, особенно ярко все запомнилось. И вот что интересно: мера вживания в материал у меня тогда была выше, чем в последующем, а художественный результат оказался в чем-то ниже. Видимо, так называемое ремесленное мастерство все-таки приходит...

— У писателя с такой популярностью, как ваша, никаких, наверное, особых сложностей и проблем во взаимоотношениях с издателями не существует?

— Как сказать. Так, даже мой пятый роман «Ветер времени» я два года не мог издать, и все потому, что кого-то не устраивало мое отношение к русской православной церкви. Печатать более широко меня стали только в самое последнее время.

— А что вы можете сказать о себе как о читателе?

— Я очень много читал в детстве. Буквально не отрывался от книги. И в общем, как и полагается мальчику из интеллигентной семьи, всю мировую классику я прочел. Затем стал читать меньше, реже. А сейчас, признаюсь, и читать-то некогда. Именно сейчас, когда хлынул поток новой, очень интересной литературы, многое из того, что просто надо знать, увы, проходит мимо. Исторической прозы я вообще читаю очень мало. И не успеваю, да и не испытываю, честно сказать, никакого читательского интереса к ней...

— Из современных прозаиков кто вам близок и интересен?

— Я себя отношу к той группе русских прозаиков, в которую входят Распутин, Белов, Астафьев. Мы делаем одно общее дело. Нас объединяет идея духовного возрождения России.

— И последний вопрос. Есть ли у вас ощущение, что вы сказали свое слово в русской исторической прозе?

— Ну, на такие вопросы надо отвечать не автору, а его читателям. И совершенно неважно — есть или нет у меня подобного ощущения. Потому что (мой собеседник начинает смеяться; последующие слова перемежаются всплесками удивительно молодого заразительного смеха) если бы я, скажем, сидел полностью уверенный в том, что — я! сказал! свое! слово! — а меня бы никто не читал!.. — Дмитрий Михайлович хохочет, не в силах продолжать дальше.

— Я вообще считаю, что самый существенный критический отзыв о творчестве писателя — это покупаемость его книг. И я не в шутку, я всерьез говорю, что горжусь тем, что мои книги меняют на фантастику. Уж если Балашова выменивают на фантастику — значит, действительно интересно. Да, истинное мнение читателя состоит в том, что он читает или не читает книгу — вот и все.

●

Свой взгляд

Книга, вернее, книги, о которых хотелось бы рассказать, стоят в самом центре ожесточенных споров. Речь пойдет о так называемом «еврейском вопросе». Как внешне довольно шутливо, но одновременно с большой тревогой и болью заметил в «Опавших листьях» В. В. Розанов: «Вопрос «об еврее» бесконечен: о нем можно говорить и написать больше, чем об Удельно-вечевом периоде русской истории». Последние несколько лет как нельзя лучше проиллюстрировали эту мысль. В разнообразнейших баталиях по национальному вопросу «вопрос еврейский» занял отнюдь не последнее место. Вновь воссозданные сионистские организации и еврейские газеты, шум вокруг общества «Память», ряд публикаций в «Нашем современнике», «Молодой гвардии», «Кубани», самые разные факты и точки зрения выплеснулись на поверхность, будоража и возмущая, заставляя поддерживать и протестовать. Но ни та, ни другая сторона не будут, надеемся, отрицать, что в основе любого сколько-нибудь серьезного обмена мнениями лежит доскональное знание конкретики, реальных фактов и событий. И тут как никогда важна объективная справочная литература (конечно, если она имеется). Об одном таком справочном издании, не так давно появившемся в ряде библиотек и частных собраний, и хотелось бы поговорить. Речь идет о продолжающемся выходе в свет (появилось уже пять томов) «Краткой Еврейской Энциклопедии» на русском языке (Иерусалим, т. 1, 1982; т. 5, 1990). Издатели — Общество по исследованию еврейских общин, Центр по исследованию и документации восточноевропейского еврейства, Еврейский Университет в Иерусалиме. Главные редакторы — Ицхак Орен (Надель) и д-р Нафтали Прат, главный научный консультант — проф. Михаэль Занд. Это не первое издание подобного рода. «Еврейская Энциклопедия» в 16-ти томах опубликована в Петербурге в 1908—1913 гг. Это капитальное академическое издание долгое время давало, пусть и очень ограниченному кругу читателей, основной массив знаний по истории и культуре евреев. Целая эпоха минула с той поры... И вот перед нами новая «Еврейская Энциклопедия» в восьми, скорее всего, томах (в процессе издания количество томов увеличивается). Итак, давайте знакомиться с новым изданием.

Объективной, взвешенной истории евреев в России, основанной на всем комплексе источников, в советской историографии, увы, нет. Как нет, впрочем, и Русской Энциклопедии, сама идея которой лишь недавно пробилась на поверхность. Книги же, связанные только с историей и критикой сионизма и государства Израиль, сыгравшие немалую роль в свое время, стремительно устаревают. Да и в плане научной объективности они не всегда, к сожалению, были на высоте... Узки были рамки концепций, о многом просто нельзя было упоминать.

Памятуя все это, заглянем во вступление к 1-му тому нового издания: «Настоящим томом начинается издание Краткой Еврейской Энциклопедии (КЕЭ), которая ставит своей целью дать русскоязычному читателю объективные и находящиеся на современном уровне науки сведения по широкому кругу дисциплин, определяемых в своей совокупности как иудаистика или наука об еврействе (этногенез еврейского народа, этнография, история, демография, иудаизм, еврейские языки и литературы, вклад евреев в мировую цивилизацию, Государство Израиль), а также по ряду смежных дисциплин (семитология, древняя история Переднего Востока, география Эрец-Исраэль). Вследствие того, что большинство русскоязычных читателей в течение многих лет было оторвано от еврейской культуры и традиции, необходимо более подробно осветить такие разделы, как иудаизм, сионизм, Государство Израиль и русское еврейство. КЕЭ является в основном сокращенным русским изданием шестнадцатитомной Encyclopaedia Judaica (EJ), изданной на англ. языке издательством «Кетер» (Иерусалим, 1972)... Редакционная коллегия обратила особое внимание на разработку соответствующей терминологии и разъяснение и истолкование всех основных понятий, в том числе и самых элементарных, связанных со всем кругом еврейской цивилизации. Одновременно значительно увеличен объем многих статей, представлявшихся существенными для этой цели. Состав словника по еврейству России и СССР значительно расширен за счет нового материала. Предусмотрено написание отдельных статей о всех населенных пунктах на территории Российской империи, в которых когда-либо имелась сколько-нибудь значительная еврейская община. Большие усилия предприняты для составления достаточно полных аутентичных словников по литературе идиш в СССР, по участию евреев в русской литературе и литературах некоторых других народов СССР, а также в научной, военной и политической жизни СССР. Ежегодник и другие источники послужили материалом для доведения постатейной информации, по мере возможности, до текущего дня».

Прежде чем перейти к конкретным сюжетам и персоналиям, затронутым в энциклопедии, следует сразу отметить, что спокойный, академический подход к освещению фактов во многом соблюден составителями и авторами КЕЭ. Например, статья о знаменитом в свое время Якове Александровиче Брафмане (1825—1879). Интересующимся «еврейским вопросом» хорошо известен этот принявший православие автор ряда нашумевших книг по истории евреев в России: его книги произвели огромное впечатление на современников (в частности, имел их в своей библиотеке и Ф. М. Достоевский) и открыли полосу ожесточенных споров о роли и месте так называемого Кагала, системы еврейского самоуправления в общине, акты которого (г. Минска) Брафман перевел и издал. Впервые такого рода изданием, как КЕЭ, достаточно ясно признается, что «использованные им материалы являются подлинными и переводы его достаточно точны». Правда, указывается, что он дал им «антисемитскую интерпретацию», утверждая, что они представляют собой «талмудически-муниципальную республику», отчужденную от всего нееврейского и корпоративно эксплуатирующую христианское население, но это, как говорится, уже совсем другая история... Источник всегда был и будет идеологически окрашен — в зависимости от подхода исследователя.

Раскроем дальше КЕЭ. Десятки и сотни неожиданных фамилий и псевдонимов, судеб, событий, терминов... И везде — необычный ракурс, акцент, совершенно уникальная информация. Где еще узнаешь, к примеру, что армейский комиссар 1-го ранга Я. Б. Гамарник и известный еврейский поэт, автор «Сказания о погроме» Х. Н. Бялик были свояками, что авиаконструктор Лавочкин (Айзикович) родился в семье меламеда, что в музыке Д. Гершвина «ощущается влияние канторского пения», что Марк Натансон, известный народник, «за свой организаторский талант получил в революционных кругах прозвище Иван Калита — собиратель земли русской», что Л. Б. Каменев (Розенфельд), сын еврея и русской, в 20-х годах покровительствовал театру «Хабима» и содействовал высылке из СССР членов сионистских организаций (вместо тюремного заключения и Сибири)... Обширная, исключительно информативная статья посвящена Каббале — эзотерическому еврейскому теософскому учению, чье влияние прямо и опосредованно испытали многие философы, а в их числе В. С. Соловьев и Н. А. Бердяев. Ценный исторический материал можно найти о кантонистах, чьими потомками были, в частности, Я. Свердлов, И. Сельвинский, братья Л. Зильбер и В. Каверин, генерал Я. Крейзер. Значительное место отведено катастрофе европейского еврейства в годы второй мировой войны, пишется о евреях — участниках Великой Отечественной войны, о репрессиях против «еврейских буржуазных националистов» и «космополитов». Говорится и о том, что «до 2-й мировой войны в создании и развитии коммунистических партий Западной Европы и Америки огромную роль играли лидеры еврейского происхождения» и «этот факт способствовал в значительной мере отождествлению коммунизма с заговором международного еврейства, стремящегося к мировому господству. Видимость правдоподобия этому подходу придавала роль, сыгранная еврейскими лидерами как в большевистской революции в России (Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Г. Сокольников, К. Радек и др.), так и в революциях в Баварии в 1918 (К. Эйснер, Г. Ландауэр, Э. Толлер, Е. Левине) и в Венгрии в 1919 (Б. Кун, Т. Самуэли и др.)». Через призму еврейской религии, истории, культуры оцениваются самые разные люди и явления. О В. И. Ленине пишется, что «по некоторым сведениям, дед Ленина со стороны матери, д-р Бланк, был евреем, принявшим христианство» и что «его (Ленина. —

Ред.) личное отношение... к евреям было неизменно положительным и ему принадлежат, по свидетельству современников, высказывания крайне филосемитского характера... «Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови» (М. Горький «Владимир Ленин», 1924)... Ленин был инициатором как выдвижения евреев на руководящие посты в государственном и партийном аппарате, так и объявления вне закона антисемитизма, погромщиков и подстрекателей к погромам...» В статье о мировом кинематографе упоминается и о том, что иудаизм приняли такие звезды, как Мерилин Монро и Элизабет Тейлор...

Роль евреев в истории разных стран и городов, причудливые судьбы государственных деятелей, ученых и писателей, о происхождении которых часто не упоминается в наших изданиях. Вообще, только ознакомление с фундаментальными, солидными трудами, к которым и относится данная энциклопедия, позволяет получить представление о неординарной роли евреев в мировой истории и культуре.

Бесспорно и то, что любое издание такого рода должно иметь концепцию, в которой сконцентрированы взгляды составителей и авторов. Естественно, не избежала этого и еврейская энциклопедия. На наш взгляд, это произошло в статье о Ф. М. Достоевском. Прежде всего приведем дословно и полностью саму статью (ее стиль, аргументация и выводы выражают, как представляется, усредненный подход авторов КЕЭ к рассматриваемым событиям и персоналиям, особенно связанным с Россией).

«ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович (1821, Москва — 1881, Петербург), русский писатель.

Антисемитизм был неотъемлемой частью мировоззрения Д. и находил выражение как в романах и повестях, так и в публицистике писателя. В Достоевском соединялась ксенофобия и ненависть к «инородцам» и «инославным» вероисповеданиям, являющиеся характерными чертами русского национализма нового времени, и глубокая религиозная вражда христианина к иудаизму. Первый еврейский персонаж в творчестве Достоевского — это Исай Фомич Бумштейн («Записки из Мертвого дома», 1861—62), рижский еврей, каторжник, стилизованный под гоголевского Янкеля из «Тарасы Бульбы». Манеры, внешность, молитвенные обряды и речь Исая Фомича изображены насмешливо и недоброжелательно, без малейшей попытки проникновения в его психологию и в смысл совершаемых им обрядов.

Почти все евреи в произведениях Достоевского — отрицательные персонажи, одновременно опасные и жалкие, трусливые и наглые, хитрые, алчные и бесчестные. В изображении их писатель часто прибегает к штампам и наветам вульгарного антисемитизма (осквернение иконы Богоматери евреем Лямшиным в «Бесах», допущение справедливости обвинения евреев в ритуальном потреблении крови христианских младенцев в «Братьях Карамазовых»). Вместо слова еврей Достоевский предпочитает употреблять уничижительные прозвища: жиды, жидки, жидишки, жидюги, жиденята.

Еврейскому вопросу большое внимание уделяется в публицистике Достоевского. В своем журнале «Время» Достоевский поддержал закон от 27 ноября 1861, предоставлявший расширение гражданских прав евреям, имеющим высшее образование, и напечатал возражение против антисемитских выступлений газеты славянофила И. С. Аксакова «День». В публицистике Достоевского 1870-х гг. еврейская тема получает противоречивую трактовку, которая, однако, остается в основном недоброжелательной. Как большинство русских публицистов того времени, Достоевский винит евреев в пореформенном разорении русского крестьянства, утверждая, что евреи представляют страшную опасность для России и ее народа — с экономической, политической и духовной точек зрения. Достоевский изображает евреев угнетателями русского народа. В то же время он утверждает, что в русском народе нет «предвзятой, априорной, тупой, религиозной какой-нибудь ненависти к еврею». Евреи, по его мнению, сами ненавидят русский народ; ограничительные законы против них — это лишь самозащита угнетенных русских от пагубного еврейского засилья. Либерализация русского политического режима приведет, по мнению Достоевского, к тому, что «жидки будут пить народную кровь». Евреи заглушат, по мнению Достоевского, любую попытку бороться с их экономическим засильем воплями «о нарушении принципа экономической вольности и гражданской равноправности». Особую ненависть Достоевского вызывает образованный еврей, «из тех, что не веруют в Бога», носитель начал космополитизма и либерализма, господствующих в Европе. Такой еврей представляется Достоевскому связующим звеном между евреем-шинкарем и лордом Биконсфилдом (см. Дизраэли), антирусскую политику которого Достоевский приписывал его еврейскому происхождению. Сила «еврейской идеи» в мире препятствовала, с точки зрения Достоевского, решению славянского вопроса на Берлинском конгрессе в пользу славян, а не турок. Получив в 1877 письмо А. Ковнера, обвинившего писателя в антисемитизме, Достоевский в том же году посвятил еврейскому вопросу несколько глав в «Дневнике писателя». Отвечая не только Ковнеру, но и другим своим корреспондентам-евреям, Достоевский утверждал, что он не юдофоб и является сторонником безусловного гражданского равноправия евреев. «Но уже 40-вековое, как вы говорите, их существование, — продолжает Достоевский, — доказывает, что это племя имеет чрезвычайно сильную жизненную силу, которая не могла, в продолжение всей истории, не формироваться в разных status in statu (государство в государстве. — Ред.)...». Достоевский испытывает страх перед этой силой, опасаясь, что она будет использована во вред русскому народу. Писатель сопровождает выражение готовности согласиться на предоставление евреям гражданского равноправия такими оговорками, которые сводят это формальное согласие на нет, и выражает сомнение в способности евреев «к прекрасному делу настоящего человеческого единения с чуждыми им по вере и по крови людьми». В письмах Достоевского 1878—81 содержатся грубейшие выпады в адрес евреев, свидетельствующие о его болезненной, патологической ненависти к ним. Указывая на активное участие евреев в революционном и социалистическом движении, Достоевский говорит в одном из писем: «... жиду весь выигрыш от всякого радикального потрясения и переворота в государстве, потому что сам-то он status in statu, составляет свою общину, которая никогда не потрясется, а лишь выиграет от всякого ослабления всего того, что не жиды». В Германии Достоевский всюду видит «жидовские рожи», созерцание которых доставляет ему невыносимые муки. В советском издании писем Достоевского (1928—59) все эти места опущены.

Антисемитизм Достоевского связан со славянофильскими корнями его мировоззрения, с русским национально-религиозным мессианизмом, притязания которого неизбежно приходят в столкновение с мессианизмом еврейским. Для Достоевского существование еврейства является вызовом христианству и, прежде всего, русскому православию. Перенося на русский народ свойства избранничества, рассматривая его как единственный подлинный народ-богоносец, Достоевский не мог не ощущать глубокого беспокойства по поводу самого существования еврейского народа, являющегося как бы живым опровержением этих идей. Он испытывал недоумение, граничащее с восхищением, перед тайной неистребимости еврейского народа, его верностью своей религии и своей древней родине: «... приписывать status in statu одним лишь гонениям и чувству самосохранения — недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на сорок веков, надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некоторая идея, движущая и влекущая, нечто такое мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова». Для Достоевского еврейский народ, его история и его положение в мире — религиозный феномен, а религиозная природа еврейства не может измениться. «Еврей без Бога как-то немыслим, — говорит Достоевский, — не верю я даже в образованных евреев-безбожников».

Эти высказывания Достоевского вступают в конфликт с его определением «жидовской идеи» как слепой плотоядной жажды личного обогащения, как житейского материализма и безнравственности и его отношением к еврейской религии как к чему-то смехотворному и отталкивающему.

Очевидно, что глубокие противоречия, свойственные мировоззрению Достоевского, приводили его одновременно и к слепой ненависти к евреям и к глубоким прозрениям, создавая в его уме образ еврейства, в котором карикатурные искажения сочетаются с глубоким пониманием экзистенциальных особенностей еврейского народа и его истории» (КЕЭ, «Габбай-Измир», Иерусалим, 1982, т. 2, стб. 374—376).

Вряд ли нужно комментировать эту статью. Отношение Ф. М. Достоевского к «еврейскому вопросу» — большая и

очень сложная тема. Из литературы по этой теме хотелось бы порекомендовать серьезную работу Ф. П. Ингольда «Достоевский и еврейство», которая, однако, издана на немецком языке и у нас не переводилась. Можно в связи с этим привести и цитату самого Достоевского, который в «Дневнике писателя» (март 1877 г.) писал: «Я не в обвинение это говорю: все это естественно, я только хочу указать, что в мотивах нашего разъединения с евреем виновен, может быть, и не один русский народ и что скопились эти мотивы, конечно, с обеих сторон, и еще неизвестно, на какой стороне в большей степени». Во всяком случае, открытость и информативность КЕЭ, на наш взгляд, позволяют вести русско-еврейский диалог на качественно ином уровне, нежели тот, который характерен для сегодняшней запальчивой публицистики.

В завершение хотелось бы отметить вот что. При самой разной оценке всего того, что изложено в КЕЭ (угол зрения дан в самом названии — это именно е в р е й с к а я, издаваемая в сионистском государстве, энциклопедия, а не какая-либо иная, поэтому все акценты и оценки вполне определены, и этим, собственно говоря, и ценны), настораживает другое. Появление «Краткой Еврейской Энциклопедии», бесспорно, событие в книгоиздании. Как и любое серьезное научное издание, КЕЭ может и должна способствовать расширению и укреплению русско-еврейского диалога, диалога непростого, мучительно сложного для обеих сторон (ибо, по нашему глубокому убеждению, нет мифического «еврейского вопроса» вообще — вне времени, истории, конкретной исторической и социально-экономической обстановки, — есть реальный русско-еврейский, немецко-еврейский и т. д. и т. п. вопросы). А проблемы Государства Израиль — это в первую очередь проблемы конкретного государства и формирующейся молодой израильской нации — ни больше ни меньше. Беспокоит в связи с этим следующее. На данное время процесс передачи книг из так называемого спецхрана ГБЛ практически завершился. В спецхране, как известно, остались книги, согласно официальной трактовке, пропагандирующие насилие во всех формах, порнографию, антисемитизм и национализм во всех формах. И вот где-то среди этих уклончивых определений затерялась, как это ни парадоксально, и «Краткая Еврейская Энциклопедия» (по крайней мере, в крупнейшей библиотеке страны она находится именно там). Вместе с рядом других важных книг по данной проблематике. И это в тот момент, когда и в «Еврейской газете», и в «Нашем современнике» появляются материалы, гораздо более острые, нежели остающиеся в спецхране. Не нонсенс ли это? Сама жизнь, реалии сегодняшнего переломного момента всегда острее любых книг. И поэтому очень хотелось бы, чтобы «Краткая Еврейская Энциклопедия» и ряд других книг по «еврейскому вопросу» как можно скорее оказались бы доступны широкому кругу крайне обделенных информацией читателей.

С. ДОЛГОВ

Первая книга героя Чернобыля

Как простые солдаты бывают всякими — хорошими или так себе, сметливыми или «заторможенными», красивыми (не обязательно лицом — всем воинским обликом своим) или «тюфяками», — такими, соответственно, бывают и генералы. Бьющие в глаза лампасы, шитье золотом на мундире не спасают посредственного генерала от полупрезрительных солдатских ухмылок: а ведь мало чего стоишь ты, наш начальник... Не «командир» в таком случае, а именно «начальник»! И многое, весьма многое — в действиях, повседневном армейском поведении, в живых чертах характера — должно быть у генерала, чтобы солдаты на всю жизнь запомнили его как отца родного, — своего солдатского отца, — и с мужской, не напоказ, однако все-таки гордостью могли позже сказать: «О н б ы л с н а м и...»

Это подтвержденное в горячих делах, а потому живущее в памяти-сознании определение, эта скупая солдатская похвала, — подумать, — выше любого ордена.

«О н б ы л с н а м и...»

Право на такую солдатскую память, солдатское уважение заслужил и автор этой книги — генерал-майор Николай Дмитриевич Тараканов. Не только всей многолетней службой своей в войсках — от взводного до командира на генеральской должности (таких честных, преданных долгу кадровых военных в нашей армии, слава Богу, немало!), но еще и тем, что выпало именно на его долю, когда со своими подчиненными он оказался, скажем так, глаза в глаза со смертью. И была не игра в прятки (кто кого обманет!) — была суровая, тяжелая, сверхопасная работа. Сродни бою работа.

В Чернобыле, после аварии на АЭС, где генералу Тараканову приказано было возглавить работы по удалению вредоносных продуктов выброса непосредственно на станции, в зонах с уровнем радиации свыше 1000 р/ч, — то есть при чудовищном уровне радиации, — он, как отмечалось в представлении к награде, «...для управления войсками рядом с разрушенным реактором на высоте 61,0 м оборудовал командный пункт с телемониторами, схемами и другими наглядными пособиями для заключительного инструктажа офицеров, солдат, сержантов. Сложная и опасная операция длилась 12 суток. И все это время генерал-майор тов. Тараканов Н. Д. находился на своем командном пункте».

Понятно, что под словом н а х о д и л с я следует понимать д е й с т в о в а л, с р а ж а л с я, если хотите; и, посылая на опасные участки тщательно проинструктированных подчиненных, когда им отпускались на выполнение задания всего лишь с е к у н д ы, сам генерал не покидал командного пункта д н я м и. Понятно, что следствием этого стала жестокая лучевая болезнь (почти год в госпитале, и ныне она беспощадно ломает мужественного человека), но непонятно другое... Когда наверху потом «делили» золотые звезды Героев, их выдали тем, кто наблюдал за битвой с белой смертью в основном из Москвы и Киева, и звезд, как у нас водится, не досталось только солдатам и офицерам генерала Тараканова, как и ему самому.

А сам генерал, выйдя из госпиталя, преследуемый постоянными болями, отбыл с вверенными ему подразделениями к месту еще одной великой трагедии — теперь уже в Армению, для ликвидации последствий небывалого по силе и последствиям землетрясения... И снова — лицом к лицу со смертью, а точнее — с ее кровавым «посевом».

Впрочем, как раз обо всем этом (в том числе и о том, почему командный пункт необходимо было устраивать в непосредственной близости с разрушенным реактором; как солдаты в Спитаке пробивались через многотонные каменные завалы к жертвам землетрясения...) и рассказывается в книге генерала Тараканова «Две трагедии XX века», подготовленной издательством «Советский писатель».

Это, помимо всего, книга человеческой боли и человеческой сострадательности — ко всему нуждающемуся в помощи и защите на Земле; это книга о пребывающем в угнетенности — из-за непрекращающихся политических экспериментов — русском народе, ибо сам автор ее — крестьянский сын, сполна познавший на собственном опыте, через многотрудную судьбу отца и матери, каково жилось у нас сельскому человеку... И вместе с тем строки этой книги проникнуты гордостью за наших людей, способных в час грозных испытаний безоглядно и преданно встать в боевой строй: коли нужно — да будет так!

Это к тому же резкая, беспощадная в оценках и по выводам книга, обнаруживающая тем самым бескомпромиссность и нравственную последовательность натуры самого автора — воина, гражданина Отечества, сына России, человека чести и совести.

Это книга, наконец, — книга русского генерала, из среды которых (чему немало примеров) с давних времен и поныне выходят достойные — по правдивости описаний и точности, глубине с л о в а — литераторы.

Отнесемся же к книге, как она заслуживает этого, — с нашим читательским доверием. Не ошибемся..

ЭРНСТ САФОНОВ

Отметая ложь...

Аркадий Петрович Столыпин надеялся увидеть, но так и не увидел свои книги опубликованными на родине, в России. Он умер в декабре 1990 года, свято веря в возрождение своей родины, своего народа. Он и посвятил всю жизнь интересам России. Поэтому не раз отвергал выгодные предложения крупных фирм и компаний, если чувствовал, что новая работа помешает его деятельности в Народно-трудовом союзе. Да, в том самом НТС, который и поныне считается у многих прибежищем шпионов, диверсантов, агентов гестапо и ЦРУ. Аркадий Петрович вступил в эту организацию, когда она еще называлась Национально-трудовой союз нового поколения. В эмиграции их называли «нацмальчики», а попросту — молодые русские националисты, поднявшие знамя Национальной России из рук своих отцов.

За семьдесят лет существования в НТС многое изменилось, теперь они сами побаиваются защищать русскую национальную идею, не решаются выразить свое отношение к расчленению России. Признаюсь честно, мне было легче находить общий язык со старыми членами этой организации, выходцами из первой и второй волны — Глебом Раром, Николаем Рутченко, Евгением Древинским, Виталием Поповским, баронессой Елизаветой Миркович, Романом Редлихом, чем с некоторыми из представителей нового пополнения. Да и «Грани» нынешние, увы, далеко не те, что были в первые годы своего существования... Аркадий Петрович Столыпин долгие годы возглавлял суд чести НТС, был руководителем парижского филиала этой организации. В конце жизни он написал книгу воспоминаний «На службе России», отрывок из которой опубликован в газете «День». В Париже я жил у давнего друга Аркадия Петровича — историка Николая Рутченко. У Николая Николаевича часто собираются почитатели русской истории, журналисты, литераторы — Владимир Жедилягин, Николай Янов и другие. Аркадий Петрович был как бы духовным лидером этого кружка. Вместе с Николаем Рутченко мы ездили в госпиталь под Парижем к Аркадию Петровичу. В долгой беседе мы коснулись и нашей современной литературы. Столыпин следил за ней, хорошо знал творчество Виктора Астафьева, Василия Белова, Владимира Солоухина, Валентина Распутина. О Валентине Пикуле он отозвался так: «Видно, что писатель любит Россию, надеется на ее возрождение, но какими же грязными источниками он пользуется при написании романов. Неужели даже патриоты России считают, что к семнадцатому году она подошла к «последней черте» и ее спасли большевики? Ведь на самом деле все было наоборот. Россия шла впереди всех стран мира по темпам развития. В культуре наступил «серебряный век». У моего отца было немало достойных продолжателей, тот же Кривошеин. А как умело барон Врангель продолжил в Крыму земельные реформы! Нет, ошибаются все, кто говорит о разрухе в предреволюционной России. Вам надо знать правду».

Аркадий Петрович обратился к Рутченко: «Николай, не забудьте подарить гостю ваш сборник «Россия в эпоху реформ». Хорошо бы вам в нынешней России перепечатать этот сборник».

Сборник задуман был самим Аркадием Петровичем и составлен его друзьями — Николаем Рутченко и Владимиром Жедилягиным. Обложка работы художника Адама Русака. Составители пишут: «Необходимо выяснить, какие именно традиции могут послужить основой для строительства будущего. Для авторов этого сборника таковой «точкой отсчета», без сомнения, является период Думской монархии 1906—1916, когда правовой строй, основанный на Конституции, открыл самую светлую страницу в нашей истории». Среди авторов сборника известные историки, экономисты, политологи — Н. А. Арсеньев, С. Пушкарев, П. Якоби. Пять статей написаны Аркадием Столыпиным, одну из них, о романе В. Пикуля «У последней черты», по желанию самого автора мы предлагаем читателям. Обратите внимание, как объективно и уважительно, несмотря на обиду за отца и его друзей, за императорскую семью, выставленных автором, увы, достаточно уродливо, пишет Столыпин о писателе. Отметая ложь, он ценит все положительное, что видит Пикуль в предреволюционной России. Прав Аркадий Столыпин, говоря, что критиковали роман не за бульварность, не за обилие альковных сцен, а за «наличие положительных сторон нашей, еще способной возродиться, национальной государственности».

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

А. СТОЛЫПИН

Правда о моем отце

О романе Валентина Пикуля «У последней черты» можно, не боясь ошибиться, сказать, что он пользуется у читателей в Советском Союзе исключительным успехом. Номера журнала «Наш современник» (№№ 4—7 за 1979 г.), где опубликовано это произведение, невозможно достать. Однако вряд ли этот интерес сотен тысяч, а может быть, и миллионов читателей обусловлен только лишь «потоком сюжетных сплетен», как это утверждает автор литературного обозрения в «Правде» (от 8.10. 1979).

Если в роман вчитаться внимательно, то создается впечатление, что писал его не один, а как бы два автора. То идет поток безнадежного пустословия, то вдруг вкрапливаются верные места, написанные иным почерком, места, где можно найти некую толику правды о нашем историческом прошлом.

Пользуется ли роман такой популярностью из-за этих крох правды, воспринимает ли читатель обширную порочную часть романа как досадный, но привычный «принудительный ассортимент»? Надеемся, что это именно так. Сознательно ли сгустил автор краски, рассчитывая, что наш читатель давно привык к работе, которой занимался крыловский петух на навозной куче? Трудно сказать, о Пикуле мы знаем не так уж много. Но даже если он был озабочен главным образом тем, чтобы протащить рукопись через цензуру, он перестарался. В книге немало мест не только неверных, но и низкопробно-клеветнических, за которые в правовом государстве автор отвечал бы не перед критиками, а перед судом. Этих страниц мы касаться не будем. Мы просто попытаемся правдиво изобразить оклеветанных людей.

Хотя книга посвящена дореволюционной России, перед нашим взором предстают фигуры хрущевской (а то и брежневской) поры, наряженные в сюртуки и мундиры царского времени.

Так, например, пикулевская императрица Мария Федоровна на официальном приеме шепчет Александру III: «Сашка, умоляю тебя, не напейся!» (!) Чего только Пикуль не наговорил об этой царице! Она якобы и скандалила в момент смерти ее царственного мужа и вступления на престол ее сына, она якобы вторично вышла замуж.

Пикуль явно пренебрегает мемуарами того времени. А людей, оставивших свои воспоминания о царице, было много. Например, министр иностранных дел Извольский свидетельствует:

«Это была женщина чарующая и бесконечно добрая. Она смягчила своей приветливостью и озарила своим обаянием царствование императора Александра III... Не колеблясь, советовала она своему сыну разумные преобразования, и положение в октябре 1905 года удалось спасти при ее содействии».

Младший брат императора Николая II — великий князь Михаил Александрович — Пикулю явно нравится. Но и он изображен в кривом зеркале. Так, автор заставляет его публично избивать Распутина возле ограды императорского Царскосельского парка, как будто это не великий князь, а дружинник на площади Маяковского.

Своего родного отца я тем паче не узнал. Пикуль пишет: *«...в хорошо нагретое (министерское. — А. С.) кресло уселся черноусый, жилистый человек с хищным цыганским взором — Петр Аркадьевич Столыпин».*

«Жилистый человек», докладывая царю о государственных делах, ведет себя по-хулигански. Царица восклицает, обращаясь к государю: «Развалился перед тобой в кресле, хватает со стола твои папиросы». Курит в романе мой отец и свои, и чужие папиросы без устали. Да и выпить горазд: *«...горько зажмурившись, он с каким-то негодованием (?! — А. С.) всосал в себя тепловатый армяньяк».*

На самом же деле мой отец за свою жизнь не выкурил ни одной папиросы. Когда не было гостей, на обеденном столе у нас была только минеральная вода. Мать часто говаривала: «Наш дом как у старообрядцев: ни папирос, ни вина, ни карт».

Когда Пикуль пишет о дачах того времени, ему мерещится закрытая зона под Москвой: *«Скомкав служебный день, Столыпин отъехал на нейдгартовскую дачу в Вырицу».*

Во-первых, «нейдгартовской дачи» (очевидно, принадлежавшей моей матери, урожденной Нейдгарт) вообще не существовало. А что касается «скомканного рабочего дня», то я сам, по детским воспоминаниям, мог бы многое возразить. Предпочитаю, однако, привести слова Извольского:

«Трудоспособность Столыпина была изумительная, как и его физическая и моральная выносливость, благодаря чему он преодолевал непомерно тяжкий труд».

Член Государственной думы В. Шульгин свидетельствовал, что П. Столыпин ложился спать в 4 часа утра, а в 9 уже начинал свой рабочий день.

Согласно Пикулю, правую руку моего отца, когда он был гродненским губернатором (1902—1903), прострелил террорист-эсер. Неверно. Правая рука Столыпина плохо действовала еще в ранней молодости (ревматизм). Впоследствии это еще усилилось в бытность его саратовским губернатором: один погромщик-черносотенец в июне 1905 г. попал в правую руку отца булыжником, когда тот защищал от расправы группу земских врачей.

В романе описана сцена, якобы имевшая место в Первой думе, т. е. не позднее июня 1906 г., когда Столыпин был еще министром внутренних дел.

«Когда Дума разбушевалась, стала кричать, что он сатрап, Столыпин поднял над собой кулак и произнес с удивительным спокойствием: «Да ведь не запугаете».

На самом деле нечто подобное произошло почти годом позже, когда отец был уже премьер-министром. Поднятого кулака не было, а упомянутые слова не были отдельной репликой. Ими заканчивалась его ответная речь 6 марта 1907 г. при открытии Второй думы:

«Все они (нападки левых депутатов. — *А. С.*) сводятся к двум словам, обращенным к власти: «Руки вверх!» На эти два слова, господа, правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты, может ответить только двумя словами: «Не запугаете!»

Пикуль приводит разговор исторического значения, якобы состоявшийся между Столыпиным и лидером октябристов А. И. Гучковым в Зимнем дворце в августе 1911 г. Во-первых, в Зимнем дворце мы тогда уже не жили добрых 2 года (жили на Фонтанке, д. 16). Вторую половину июля и весь август моего отца в Петербурге не было: из-за сердечного переутомления он впервые взял 6-недельный отпуск. Прерывал его дважды, чтобы председательствовать на заседаниях Совета министров, — в конце июля (в связи с подготовкой Киевских торжеств) и 17 августа (из-за событий во Внешней Монголии). Заседания происходили не в Зимнем, а на Островах в Елагинском дворце.

1 (14) сентября 1911 г. в киевском театре (перед тем как прогремел выстрел Богрова) царскую ложу якобы «заняли Николай II с женой». На самом деле Александра Федоровна оставалась во дворце. В ложе вместе с царем были его дочери Ольга и Татьяна, а также наследный болгарский принц (впоследствии царь) Борис. Он прибыл в Киев во главе болгарской делегации для участия в открытии памятника Царю-Освободителю Александру II. Пикуль об этом не знает или не хочет знать. Но болгары — помнят. Несколько лет назад я получил от живущего в изгнании болгарского царя Симеона письмо, где он вспоминает об этом событии.

Пикуль пишет, что еще в довоенное время вдовствующая императрица Мария Федоровна в силу какого-то каприза «перебралась на постоянное жительство в Киев», забрав с собою «второго мужа» князя Георгия Шервашидзе. На самом деле переезд состоялся в конце 1915 или в начале 1916 г., и не из-за каприза: царь переселился в Ставку и общаться с сыном из Киева царице было легче. Тем более что в Петербурге настала пора политического влияния Распутина. Князь Георгий Шервашидзе занимал должность при дворе царицы в Петербурге, но не был в ее близком окружении. В Киев (а затем в Крым) он за ней не последовал.

Разделяю чувства советского историка Ирины Пушкаревой, когда она пишет:

«В романе искажена трактовка эпохи, смещены акценты в оценке исторического процесса, неверно характеризуется ряд исторических лиц» («Литературная Россия», 2 августа 1979 г.).

Хочется сказать еще несколько слов о взрыве на Аптекарском Острове 12 августа 1906 г. Простим автору бутафорское изображение этого трагического случая. Остановимся на другом. Пикуль пишет:

«Погибло свыше тридцати человек и было изувечено сорок человек, не имевших к Столыпину никакого отношения. Умерли фабричные работницы — с большим трудом (выделено мною. — А. С.) добившиеся приема у председателя Совета министров по своим личным нуждам».

«С большим трудом добившиеся...» Можно подумать, что речь идет о приеме Косыгина, Андропова или иного представителя «народной» власти. Помню с детства (отмечено это и у ряда свидетелей того времени): мой отец настоял, чтобы его субботние приемные дни были доступны для всех. От приходивших на прием не требовалось ни предъявления письменного приглашения, ни даже какого-нибудь удостоверения личности. Так и проникли в подъезд террористы, переодетые в жандармскую форму.

«Ночью Столыпин сидел на царской постели, слушая, как в соседней комнате дворца кричит его дочь Наташа, которой врачи ампутировали ногу (выделено мною. — А. С.). Возле жены мучился от боли раненый сын».

Во-первых, отец после взрыва созвал чрезвычайное заседание Совета министров, окончившееся лишь в два часа утра. А остальную часть ночи был занят судьбою раненых. Чтобы в этом убедиться, Пикулю достаточно было бы взглянуть в любую газету того времени. Во-вторых, сестру и меня не перевозили с места взрыва в Зимний

дворец. Об этом тоже тогда писали. Например, «Новое время» (13.8. 1906):

«Вчера в частную лечебницу доктора Кальмейера в 5 часов пополудни привезли в каретах скорой помощи с министерской дачи раненых дочь П. А. Столыпина Наталью — 14 лет и сына Аркадия — 3 лет».

Выдумка понадобилась автору, чтобы добавить, что у изголовья моей сестры «бубнил» молитвы Распутин, которого тогда и в помине не было. Не было и ампутации: этому воспротивился лейб-хирург Е. В. Павлов. После двух операций и длительного лечения моя сестра снова встала на ноги.

*

Перейдем к характеристике, данной Пикулем последней императорской чете.

Трудно в журнальной статье рассказать подробно о последней нашей императрице Александре Федоровне. Вдохновляемая наилучшими намерениями, она, тем не менее, способствовала крушению нашей государственности. Переехав в Ставку и отдав себя всецело делу ведения войны, царь передал ей бразды правления. Ей и стоявшему за ее спиной Распутину. Тогдашний посол Великобритании Джордж Бьюкенен отмечает:

«Императрица стала управлять Россией, особенно начиная с февраля 1916 г., когда Штюрмер был назначен главой правительства».

В кои веки раз советская печать дает этим событиям близкое к истине освещение: в своей рецензии на книгу Пикуля Ирина Пушкарева пишет в «Литературной России»:

«Буржуазные фальсификаторы истории преувеличивают роль личности Распутина. Влияние Распутина, действительно, в какой-то мере усилилось в среде придворной камарильи в самые последние годы царского режима, в годы войны. И это было одним из многих признаков кризиса правящей верхушки».

Как будто бы все ясно: на императрицу легла на все времена часть страшной ответственности за постигшую нашу страну катастрофу. Но Пикулю этого мало. Скорбную и морально чистую царицу он счел нужным изобразить аморальной женщиной. На этот счет я, как уже сказал, полемизировать не стану.

Но Пикуль бросает Александре Федоровне еще и другие обвинения. Она была, дескать, германофилкой, чуть ли не шпионкой, чуть ли не сообщницей Вильгельма. Она, дескать, не любила Россию, не любила своих детей, любила только себя.

В книге имеется следующее место:

«Григорий, — сказала царица осенью 1915 г., — мне нужен надежный человек, заведомо преданный, который бы, в тайне от всего мира, перевез большие суммы денег в... Германию».

Так вот. Министры финансов, оказавшиеся затем в эмиграции — Коковцов и Барк, — никаких сумм, принадлежавших убиенной царской семье, на Западе не обнаружили. Не только в Германии, но и в союзной Англии. Зато остались достаточно точные следы от крупных сумм, которые платный агент Германии Владимир Ульянов-Ленин получал из немецкой казны.

Обвиняющие же императрицу в германофильстве (Пикуль в этом не одинок) умалчивают, что она воспитывалась большею частью при английском дворе и была наполовину англичанкой, любимой внучкой королевы Виктории. Пьер Жильяр, учивший царских детей, в своей книге «Тринадцать лет при русском дворе» пишет:

«Королева Виктория не любила немцев и питала особое отвращение к императору Вильгельму II. И это отвращение передала своей внучке, которая чувствовала себя более привязанной к Англии, родине своей матери, чем к Германии».

Германофилы, правда, были при царском дворе и в столице. К ним посол Бьюкенен присматривался внимательно. О коменданте императорского дворца генерале Воейкове он пишет:

«Но ни он, ни кто-либо другой не посмел бы никогда выразить свои прогерманские чувства, могущие вызвать раздражение Их Императорских Величеств».

О премьер-министре Штюрмере:

«Этот весьма хитрый человек и не помышлял высказываться открыто в пользу сепаратного мира с Германией... ни Император, ни Императрица не потерпели бы, чтобы им был дан подобный совет, из-за которого он почти наверное лишился бы своего поста»...

К этому посол добавляет:

«Керенский меня однажды сам заверил, что (после Февральской революции. — *А. С.*) не было обнаружено ни одного документа, на основании которого можно было бы заподозрить, что императрица помышляла о сепаратном мире с Германией».

Так было, когда царская чета была на престоле. Ну а потом?

Согласно Пикулю, летом 1917 г., находясь в заточении в Царском Селе, царица якобы шепчет царю:

«Надо здесь бросить все, даже детей, и бежать... бежать... Бежать надо в Германию. У нас теперь последняя надежда на кузена-кайзера и на его могучую армию».

На самом же деле после Брест-Литовского мира, будучи в заточении в Тобольске, Александра Федоровна говорит: «Я предпочитаю скорее умереть в России, чем быть спасенной немцами». Эти слова донесли до нас уцелевшие от кровавой расправы царские приближенные. Генерал-лейтенант М. Дитерихс, ведший, по распоряжению адмирала Колчака, в Екатеринбурге расследование об убийстве царской семьи, упоминает в своей книге, что офицер Марков был тайно прислан немцами в начале 1918 г. в Тобольск. Он привез царице письменное предложение императора Вильгельма, которое могло ее спасти. С письмом царицы ее брату принцу Гессенскому он направился назад в Киев, оккупированный тогда немцами.

«Император Вильгельм, под влиянием принца Гессенского, предлагал императрице Александре Федоровне с дочерьми приехать в Германию, — пишет Дитерихс. — Но она это предложение отклонила...»

В декабре 1917 г. из Тобольска царица тайно пишет Вырубовой в своем предпоследнем письме:

«Я стара! Ох, как я стара! Но я по-прежнему мать нашей России. Я переживаю ее мучения, точно как и мучения моих собственных детей. И я ее люблю, несмотря на все ее грехи и на все ужасы, ею творимые. Никто не может оторвать ребенка от сердца матери, никто не может оторвать от человеческого сердца любовь к его родной стране.

Однако черная неблагодарность, проявленная Россией по отношению к Императору, мне раздирает душу. Но это все же не вся страна. Боже, помилуй Россию! Боже, спаси нашу Россию!»

В своем описании личности последнего царя Пикуль зашел так далеко, что даже официальная советская критика вынуждена его поправлять. Цитировать Пикуля я не буду. Ограничусь краткой характеристикой личности последнего императора.

Все дореволюционные государственные деятели, с коими мне привелось на этот счет беседовать (Коковцов, Сазонов, Крыжановский), давали высокую оценку уму, трудоспособности, бескорыстию государя. Все сожалели о том, что царь был слабоволен и, вследствие этого, порою нерешителен. Все лица, близко его знавшие, выносят на этот счет одинаковые суждения. Извольский пишет:

«Был ли Николай II от природы одаренным и умным человеком? Я, не колеблясь, отвечаю на этот вопрос утвердительно. Меня всегда поражала легкость, с которой он ухватывал малейший оттенок в излагаемых ему аргументах, а также ясность, с которой он излагал свои собственные мысли».

У французского посла Палеолога мы находим о царе следующие строки:

«Храбрый, честный, добросовестный, глубоко проникнутый сознанием своего царственного долга, непоколебимый в пору испытаний, он не обладал качеством, необходимым в условиях автократического строя, а именно — сильной волей».

Недалек от этой оценки посол Бьюкенен:

«Император обладал многочисленными качествами, благодаря которым он с успехом мог бы играть роль монарха при парламентском строе. У него был восприимчивый ум, методичность и упорство в работе, удивительное природное очарование, под которое подпадали все, кто с ним общался. Но император не унаследовал внушительность, силу характера и способность принимать четкие решения, необходимые для находившегося в его положении монарха».

Пикуль пишет, что царь во время докладов министров скучал, зевал, хихикал, мало что понимал. Это ложь. Летом 1906 г. в Петергофском дворце, когда подготовлялась аграрная реформа, царь работал с моим отцом целые ночи напролет. Вникал во все подробности, давал свои суждения, был неутомим. Очевидно, эти петергофские ночи припомнились царю, когда в марте 1911 года (в момент правительственного кризиса) он писал Столыпину: «Я верю Вам, как и в 1906 году» (письмо от 9.3.1911).

Николай II не терял этих своих качеств, а главное самообладания в самые трудные минуты жизни. Извольский описывает прием у царя летом 1906 года в Петергофском дворце, в момент восстания в Кронштадте. Окна царского кабинета дрожали от пушечных выстрелов:

«Император слушал меня внимательно и, по обыкновению, ставил мне ряд вопросов, показывая этим, что его интересуют малейшие подробности моего доклада. Сколько я ни посматривал на него украдкой, я не смог уловить на его лице ни малейшего признака волнения. Однако он хорошо знал, что всего в нескольких верстах от нас была поставлена на карту его корона».

Когда в Петрограде разразилось восстание и настал час отречения, царь обратился с последним своим приказом к войскам. (Как известно, опубликование этого документа было запрещено демократическим Временным правительством.) Всякие личные соображения в этом приказе были отброшены. Все помыслы царь сосредоточил на судьбах страны, на верности союзникам, на необходимости сражаться до победного конца. Не думал он о себе и в сибирском заточении. А ведь если бы он согласился признать позорный Брест-Литовский договор, то немцы бы его спасли.

*

О денежных делах придется поговорить отдельно.

У Пикуля есть такая сцена. «Красивая госпожа М.», облеченная в дорогие меха и увешанная драгоценностями, является к министру финансов Коковцову с запиской от царя: «Выдать срочно сто двадцать тысяч рублей». Министр исполняет царскую волю, но берет эти деньги не из государственной казны, а из личных средств царя. Узнав это, царская чета якобы негодует. Пикуль пишет:

«Миллиардеры, живущие задарма на всем готовом, в сказочных дворцах, наполненных сокровищами, они выедали казну, как крысы, забравшиеся в головку сыра, но... только посмей тронуть их кубышку».

«Красивая госпожа М.» существовала на самом деле. Было это в самом начале царствования Николая II. Прибегнув к протекции вдовствующей императрицы, дама эта просила у царя крупный заем из государственной казны... В феврале 1899 г. царь письменно ответил своей матери отказом. Текст письма сохранился.

Это об отдельном случае. Теперь о царских финансах как таковых. В своей книге «Николай и Александра» историк последней царской четы американец Роберт Масси приводит финансовые сметы того времени. Как он пишет, личные доходы Николая II были на самом деле внушительными. Но Масси приводит и полный список расходов. Они тоже внушительны. Вот некоторые из этих расходов: содержание семи дворцов, содержание Императорского балета, содержание Императорской Академии Художеств, содержание штата обслуживания императорских дворцов (15 000 человек), субсидии ряду госпиталей, сиротских домов, богаделен и т. д. Помимо этого, в Императорскую канцелярию поступал непрерывный поток просьб о финансовой помощи. Царь негласно, из личных средств, удовлетворял все просьбы, заслуживавшие внимания.

В результате, как пишет Масси, основываясь на документальных данных, — в конце, а иногда и в середине года царь не знал, как свести концы с концами.

У меня сохранилось личное воспоминание. В начале апреля 1916 г. в Ставке, в Могилеве, Николай II сказал состоявшему при нем нашему дальнему родственнику адмиралу Михаилу Веселкину:

«Мне стало известно, что Наташа Столыпина, пострадавшая при взрыве 1906 г., вскоре выйдет замуж. Я решил назначить ей маленькую пенсию. Пожалуйста, сообщите об этом ее семье, но не подвергайте огласке».

Царская семья жила экономно. Дорогостоящие приемы и придворные балы были отменены (исключением были пышные торжества зимой 1913 г. по случаю 300-летия Дома Романовых). Посол Бьюкенен пишет:

«В царскосельском уединении императорская чета придерживалась весьма простого образа жизни.. приемы были редки».

Это раздражало петербургское высшее общество, оказавшееся вдали от царской семьи. Простой народ, падкий на пышные церемонии, тоже не был доволен: «Немка держит царя вдали от народа».

О скромном образе жизни царской семьи мало кто догадывался. Помню, как однажды мой отец приехал с докладом во Дворец ранее назначенного часа. Его попросили немного подождать: царская семья была еще за столом. И вот, в приемной, полковник Дексбах, состоявший при моем отце, подошел к нему с волнением и сказал:

«Ваше Высокопревосходительство, я только что видел, как к царскому столу проносили фрукты. Я бы никогда не позволил, чтобы такой жалкий десерт подали к моему домашнему столу».

Царская семья экономила не только на еде, но и на одежде. Генерал-лейтенант Дитерихс, рассматривая во время судебного следствия в Екатеринбурге царские вещи, описывает довольно поношенную шинель Николая II.

Запомнился мне рассказ моей матери. В декабре 1913 г. вдовствующая императрица Мария Федоровна устроила бал в Аничковом дворце в честь ее двух старших внучек Ольги и Татьяны. На балу должна была присутствовать царская чета. И царица долго колебалась: заказывать ли ей бальное платье у первой столичной портнихи мадам Брисак. В результате бальное платье ко дню бала не было готово и Александра Федоровна явилась в Аничков дворец в старом, уже не модном одеянии. Этот случай вызвал в высшем петербургском обществе насмешки. Но с грустью вспоминали об этом уже в 1921 году в Берлине моя мать и уцелевшая в Екатеринбурге царская фрейлина баронесса Буксгеведен.

*

Вся эта — самая большая — часть пикулевского романа написана с очевидной целью — представить в неверном свете, дискредитировать весь думский период нашей отечественной истории.

Главные заправилы в общественной жизни и в политике у Пикуля, наряду с Распутиным, — расстриги, религиозные изуверы и морально опустившиеся иерархи православной Церкви. Или же бессовестные финансовые дельцы, окутавшие своей паутиной представителей администрации, армии и даже императорскую чету.

Были изуверы, были расстриги. Есть они и теперь почти во всех странах свободной части мира. Но они, как это было и в России в царское время, отнюдь не влияют на ход истории. Были и не совсем чистоплотные дельцы. Был в Петербурге банкир Манус, близкий к Распутину и пользовавшийся плохой репутацией. Но никакой роли в государственной финансовой политике Манус не играл. К царской чете, конечно, доступа не имел. Но в описании Пикуля Манус всесилен, он вездесущ. Может быть, Пикуль писал это по указке, чтобы разжечь антисемитские настроения? (Манус был евреем.)

Может быть, по заказу лиц, стоящих на верхушке партийной власти, занялся Пикуль дискредитацией последних десятилетий царского строя, часто просто фальсифицируя события? Может быть, ему поручили показать, что тогда Россия увязала в смрадном болоте, а такой показ начала столетия нужен кремлевским догматикам, чтобы бороться с религиозным возрождением, с монархическими настроениями, неожиданно проявляющимися ныне в новом российском поколении?

Добились ли заказчики желанного результата? Наверное, нет. Пикуль, с одной стороны, неумело лгал, а с другой — перешагнул через черту предписанного и дозволенного.

Пора перейти теперь к тем фактам, а иногда и целым страницам в романе, которые написаны другим почерком.

Во-первых, Пикуль изменил марксизму. Как отмечает «Правда», он «подменил социально-классовый подход к событиям предреволюционной поры идеей саморазложения царизма». Но хотя она и не социально-классовая, «идея саморазложения царизма» более близка к истине. Саморазложение наблюдалось (с каких пор? с конца прошлого столетия?) во всех слоях российского общества. И среди бюрократии, оторвавшейся от либеральной интеллигенции. И среди интеллигенции, живущей утопиями и оторвавшейся от народа. И среди купечества (богатей Савва Морозов, и не он только, финансировал Ленина и работу его террористических групп).

Но наряду с больными клетками были и клетки здоровые. Саморазложение могло прекратиться. В государственном организме после революции 1905 г. вновь началось здоровое кровообращение.

В романе мы находим строки, как бы написанные культурным и разумным учителем на полях сочинения зарвавшегося ученика. Так, там говорится, что в царствование Николая II:

«...творили Максим Горький и Мечников, Репин и Циолковский ...пел Шаляпин и танцевала несравненная Анна Павлова... Заболотный побеждал чумную бациллу, а макировский «Ермак» сокрушал льды Арктики... Борис Розинг обдумывал проблему будущего телевидения, а юный Игорь Сикорский вертикально вздымал над землей первый в России вертолет... Об этом следует помнить, чтобы не впадать в ложную крайность».

И хотя автор и впадает в ложную крайность, он все же, то тут, то там, вставляет в свой текст многозначительные фразы:

«Моральный авторитет России был очень велик, и Европа смиренно выжидала, что скажут на берегах Невы... Индустриальная мощь Империи возрастала, и Россия могла выбрасывать на мировой рынок почти все — от броненосцев до детских сосок... Промышленный подъем начался в 1909 году, и русская мощь во многом определяла тональность европейской политики. Россия стояла в одном ряду с Францией и Японией, но отставала от Англии и Германии. Зато по степени концентрации производства Российския Империя вышла на первое место в мире».

К словам Пикуля, конечно, многое можно было бы добавить. Но и то, что написано, — показательно.

Пикуль решается даже робко напомнить о царившей тогда свободе печати. Председатель Думы Родзянко говорит царю:

«У нас принято в газетах ругать министров, Синод, Думу... и меня обливают. Мы все терпим — привыкли-с!»

Если бы Пикуль добавил, что перед первой мировой войной большевистская «Правда» печаталась в Петербурге легально, то картина была бы еще полнее.

Решается Пикуль сказать несколько слов и о роли Думы:

«В отличие от царя, желавшего игнорировать Думу, премьер активно сдружился с нею. Понимал, что парламент, путь даже самый плюгавый (! — А. С.), все-таки — это глас общественного мнения. Столыпин вел большую игру с членами ЦК октябристской партии. Россия, после поражения в войне с японцами, быстро набирала военную мощь. Потому и ассигнования на дело обороны — самые острые, самые ранящие»

И тут не все договорено. Но из приведенной цитаты явствует, что Дума отнюдь не была простой регистрационной канцелярией, штампующей заранее принятые в иной инстанции решения. Ассигнование кредитов по всем отраслям правительственной работы зависело от народного представительства. Поэтому думские дебаты о воссоздании флота были «острые, ранящие».

Министров, представителей общественности, военных, многих замарал, оклеветал Пикуль. Но не только оклеветал и замарал. Если их портреты собрать воедино, то перед глазами встает нечто реальное и даже почти правдивое.

Вот министр финансов Коковцов.

«Правые упрекали Коковцова в недостатке монархизма. Левые критиковали за излишек монархизма. А Владимир Николаевич попросту был либерал». «Коковцов был человек умный и хорошо воспитанный, но болтлив не в меру (? — А. С.). Он был человеком честным, и в обширную летопись грабежа русской казны (? — А. С.) он вошел как собака на сене»

Вот военный министр Редигер.

«Автор многих военно-научных трудов, которые долгое время считались почти классическими, высоко образованный человек»

Вот генерал-губернатор Туркестана А. Самсонов.

«Он осваивал новые площади под посевы хлопка, бурил в пустынях артезианские колодцы, в Голодной степи проводил оросительный канал»

Вот председатель Государственной думы.

«Лидер октябристов, глава помещичьей партии Родзянко внешне напоминал Собакевича (? — А. С.), но за этой внешностью скрывался тонкий, проницательный ум, большая сила воли, стойкая принципиальность в тех вопросах, которые он защищал со своих, монархических позиций»

Пикуль даже решается намекнуть, что время «столыпинской реакции» отнюдь не было временем господства реакционных элементов.

«Крайне правые для правительства были так же неудобны и одиозны, как и крайне левые. Царизм никогда не рисковал черпать сановные кадры из числа крайне правых»

Отдельно хочется остановиться на моем дяде — министре иностранных дел Сазонове. Не потому, что он пришелся Пикулю особенно по вкусу, а потому, что со строками, посвященными этому государственному деятелю, связаны большие национальные проблемы. Описан он таким, каким я его помню.

«Очень слабый здоровьем Сазонов не курил, не пил, не имел дурных привычек... он был полиглот и музыкант, знаток истории и политики»

В романе описан важный разговор Сазонова с немецким послом графом Пурталесом перед самым началом первой мировой войны:

«Сазонов замер посреди кабинета... Я могу вам сказать одно, — заметил он спокойно, — пока остается хоть ничтожный шанс на сохранение мира, Россия никогда и ни на кого не нападет... Агрессором будет тот, кто нападет на нас, и тогда мы будем защищаться».

Приведенные слова Сазонова сводят на нет бытующую в коммунистических и коммунизанствующих кругах дезинформацию о том, что царский режим якобы нарочнто спровоцировал первую мировую войну, чтобы пресечь нараставшие в стране революционные настроения. В этом вопросе Пикуль подтверждает слова Бьюкенена, который пишет:

«Россия не желала войны. Когда возникали проблемы, могущие вызвать войну, царь неизменно проявлял все свое влияние в пользу мира. В своей миролюбивой политике он зашел так далеко, что в конце 1913 г. сложилось впечатление, что Россия ни при каких обстоятельствах не будет воевать. Беда в том, что это ложное впечатление побудило Германию воспользоваться сложившейся обстановкой»

Далее Бьюкенен уточняет:

«В Германии прекрасно знали, что вслед за усилением германской армии в 1913 году Россия была вынуждена выработать новую военную программу, которая не могла быть полностью завершена ранее 1918 года. Таким образом, для военного нападения сложился особенно благоприятный случай, и Германия им воспользовалась».

*

Среди вымыслов и непристойностей в книге есть места, где все же видна фигура министра-реформатора. Пикуль пишет:

«Столыпин выделялся из толпы, был чрезвычайно колоритен. Именно он составлял сейчас фон власти... был реакционен, но порою мыслил радикально, стремясь разрушить в порядке вещей то, что до него оставалось нерушимо столетиями. Натура цельная и сильная — не чета другим бюрократам».

В книге имеются четыре места, где автор почти что вложил в уста моего отца слова, действительно произнесенные им. Пусть это было сказано в другой обстановке и в менее грубой форме — но основные мысли его государственного творчества выражены верно.

Первое: на следующий день после взрыва на Аптекарском Острове, на заседании Совета министров...

..«Столыпин сказал, что вчерашнее покушение, едва не лишившее жизни его самого и его детей, ничего не изменит во внутренней политике российского государства.

— Мой поезд с рельс не сошел, — заявил Столыпин.

— Террористам нужны великие потрясения, а мне нужна Великая Россия... Моя программа остается неизменной: подавление беспорядка, разрешение аграрного вопроса как самое неотложное дело Империи и выборы во Вторую думу».

Второй отрывок (относится тоже к первому году правительственной деятельности Столыпина, когда не утихало еще революционное брожение):

«Он тряхнул колокольчик, вызывая секретаря.

— Телеграмма по губерниям, записывайте, диктую: «Борьба ведется не против общества, а против врагов общества. Поэтому огульные репрессии не могут быть одобрены. Действия незакономерные и неосторожные, вносящие вместо успокоения озлобление, — нетерпимы. Старый строй получит обновление».

Третье место особенно показательно. Пусть это никогда не бывший и приведенный в грубых выражениях разговор Столыпина с царем. Но в этом разговоре вкратце изложены основные мысли аграрной реформы:

«Давно пора раздробить общину и дать мужику землю: возьми, вот это твое! Чтобы он почуял вкус ее, чтобы он сказал: «Моя земля, а кто ее тронет, на того с топором пойду!» Вот тогда в мужике проснутся инстинкты землевладельца, и все революционные доктрины разобьются о могучий пласт крестьянства, как буря о волнолом».

«Моя земля, а кто ее тронет, на того с топором пойду» — как такое пропустила цензура? В этих словах, приписываемых моему отцу, звучит сегодня также и осуждение всего колхозного и совхозного строя.

Четвертый отрывок как бы дополняет все ранее сказанное:

«Премьер срочно выехал в Крым... В вагон к нему забрался (! — А. С.) журналист из влиятельной газеты «Волга», и ночью Столыпин, прохаживаясь по ковровой дорожке, крепко сколачивал фразы интервью.

— Дайте мне, — диктовал он, — всего двадцать лет внутреннего и внешнего покоя, и наши дети уже не узнают темной, отсталой России. Вполне мирным путем, одним только русским хлебом, мы способны раздавить всю Европу».

Давить Европу Столыпин не собирался. Но в остальном цитата соответствует действительно им сказанному.

*

Неизбежна ли была революция? Так вопрос Пикуль, конечно, не ставит. Но ответ сквозит в приведенных выше словах Столыпина. Он сквозит тоже в описании дней, предшествовавших первой мировой войне:

«Бравурная музыка лилась в открытые настежь окна. Маршировала русская гвардия, воспитанная на традициях умирать, но не сдаваться... Мерно и четко шагала железная русская гвардия».

Так и просится на бумагу то, что тут показано, но не договорено. Если бы «железная русская гвардия» не полегла на полях Восточной Пруссии и Галиции, если бы некоторые гвардейские части были (как в 1905 году) оставлены в столице? Что было бы тогда? Удалось бы распропагандированным солдатам петроградского гарнизона (из запасных) осуществить «великую и бескровную»?

Август 14-го автор трактует не так, как Солженицын. Кратко упоминая о наступлении наших войск в Восточной Пруссии, он пишет:

«Это был день полного разгрома германской армии, и в летопись русской боевой славы вписалась новая страница под названием Гумбинен... Прорыв армии Самсонова заранее определил поражение Германии, и те немцы, кто умел здраво мыслить, уже тогда поняли, что Германия победить не сможет... Немцы проиграли войну не за столом Версаля в 1918 году, а в топях Мазурских болот еще в августе 1914 года».

В этих словах слышится сожаление о том, что России не оказалось в числе победителей. В этом вопросе автор близок к мыслям сэра Бьюкенена, надеявшегося, что первая мировая война окончится по-иному. Английский посол вспоминает в своей книге аудиенцию у царя 13 марта 1915 года, на которой присутствовал министр иностранных дел Сазонов. На повестке дня была договоренность о Константинополе и о сферах влияния в Персии:

«Царь раскрыл атлас и стал следить по нему за докладом Сазонова, указывая пальцем, с поразившей меня быстротой, точное местоположение на карте каждого города и каждой области, о коих шла речь... Затем, повернувшись к императору, я говорю: после окончания войны Россия и Великобритания будут двумя самыми могущественными державами и всеобщий мир будет обеспечен».

Вполне обоснованные, но несбывшиеся надежды...

*

Твким образом, в романе «У последней черты» мы сталкиваемся как бы с двумя текстами, порою резко противоречащими один другому. В одном, более обширном тексте речь идет о государстве, скатывающемся в пропасть. В другом — о государстве, набирающем новые силы и могущем, не прибегая к насилию, занять первое место в Европе.

Все это Пикуль не договаривает, но это звучит между строк.

Получается, таким образом, что роман «У последней черты» отражает две тенденции, обозначающиеся сейчас в кругах российского общества.

Одна тенденция — догматическая, тоталитарная. Ее представители стремятся втоптать в грязь, показать в уродливом виде наше историческое прошлое. Особенно думский период начала столетия — со столькими возможностями, несший столько надежд! Скрыть правду об этом времени, очевидно, уже невозможно: в новых поколениях начался процесс восстановления исторической памяти. Поэтому власти необходимо представить это время в искаженном виде и так попытаться воспрепятствовать здравому видению будущего.

К другой тенденции принадлежат люди, видящие, что тоталитаризм катится к пропасти и влечет туда за собой и Россию, и другие страны. Люди этой тенденции (некоторые из них по эгоистическим мотивам, ради собственного спасения) стремятся опереться на еще живые основы прошлого.

Роман «У последней черты» подвергся чуть ли не запрету со стороны властей. Думается, что это происходит не из-за недостатков, отмеченных советскими критиками (неверности в трактовке исторических событий, изобилия альковных и бутафорских эпизодов). А из-за того, что автор в какой-то мере, робко отметил наличие и положительных сторон нашей, еще способной возродиться, национальной государственности.

ВАСИЛИЙ ПОПОВ

Тирания после войны

Состояние русской деревни, июнь 1945 — март 1953

Василий Петрович Попов родился в 1948 г. в городе Фрунзе (ныне Бишкек). В 1973 г. окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова. 17 лет проработал научным сотрудником во Всесоюзном институте документоведения и архивного дела, с 1988 г. работает преподавателем на историческом факультете Московского государственного педагогического университета имени В. И. Ленина. Кандидат исторических наук, автор ряда статей по аграрной истории. В издательстве «Прометей» подготовлена к печати книга В. П. Попова «Российская деревня после войны (июнь 1945 — март 1953)», написанная в результате исследовательской работы в ранее закрытых фондах Центрального государственного архива народного хозяйства СССР и Центрального государственного архива Октябрьской революции


Фото Юрия Садовникова

Пробуждение национального самосознания народа тесно связано с переосмыслением пройденного пути, накоплением ранее неизвестных фактов. Вряд ли у кого вызывает сомнение, что русское крестьянство явилось для советской власти самым обширным и одновременно самым неподатливым полем для «социальных экспериментов». Да и как иначе могло быть в крестьянской стране, живущей многовековым укладом, который объявлялся чуждым и враждебным будущим социалистическим идеалам. Партия большевиков быстро развилась после революции из незначительного ядра революционеров, живущих на рабочие и купеческие пожертвования или иные, часто темные финансовые источники, в самостоятельное государство партийных чиновников-кормленщиков, находящихся будто внутри осажденной крепости и постоянно воюющих с народом. Само превращение вчерашних нелегалов и заграничных литераторов в этакое «ведомство по делам России» свидетельствовало о переходе следствия в причину — отныне традиционные экономические уклады и создающие их люди превратились в «передельческое сырье» для строительства фундамента нового общества. После 1917 г. об этом постоянно говорилось со всех трибун и писалось во всех газетах большими и малыми вождями. Самым страшным для будущего страны было то, что новый слой управляющих не только востребовал и воспроизводил бездумных и малограмотных из всех слоев общества, подавив небольшой процент уцелевших людей, порядочных и образованных, но и то, что они не были связаны никакими экономическими интересами или профессиональными знаниями и навыками с хозяйственной жизнью, земледелием, ремеслами. Названное обстоятельство предопределило методы «социального эксперимента», несущие неудачу в своем зародыше, «теоретические метания» от одной крайности к другой, постоянные провалы в практических делах. Окончательное сопротивление народа было подавлено в ходе «коллективизации», которая по замыслу и последствиям вышла далеко за границы решения «продовольственной проблемы» в стране.

Есть все основания полагать, что разразившаяся вторая мировая война на время отсрочила дальнейшее закрепощение крестьян. В послевоенные годы государство мало способствовало улучшению жизни села, сосредоточив основное внимание на восстановлении промышленности и развитии военного комплекса. Оно по-прежнему рассматривало деревню лишь как источник трудовых ресурсов и продовольствия. Мало того, были сохранены законы военного времени, усилены репрессивные меры в отношении деревенского населения. Наши знания недавнего прошлого больше основываются на литературных произведениях. Писатели Федор Абрамов, Василий Белов, Сергей Викулов, Сергей Залыгин, Борис Можаев, Валентин Овечкин, Павел Нилин, Александр Яшин в своих сочинениях дали яркую и во многом эмоционально правдивую картину сельского быта. Однако внутренняя трагедия народа не могла быть показана ими в полной мере. Сказывались и необходимость воспевать послевоенный героизм, оторванность от родных деревенских корней, писательский профессионализм. Возможно, лишь сегодня очевидным для многих становится тот факт, что наша страна все это время находится в состоянии затянувшейся гражданской войны между народом и навязанной ему системой власти.

Поэтому так важно ознакомить читателей с документальными свидетельствами той эпохи, извлеченными из архивов. Главное внимание в публикации сосредоточено на основных, с нашей точки зрения, сюжетах послевоенной жизни села. Повествование доведено до начала 1953 г. Смерть Сталина явилась условным рубежом нашей истории, ее внутреннее содержание незначительно, но изменилось, продолжающийся «эксперимент» с деревней и ее обитателями шел уже в иных, отличных от предыдущего, формах.

«АВТОМАТЫ ДЕСПОТИЗМА»

Это выражение историка Н. И. Костомарова более всего подходит к характеристике наших антигероев, твердокаменных ко всему, кроме собственной выгоды и карьеры. Война способствовала увеличению местного слоя кормленщиков, опутавших колхозы и крестьян многочисленными поборами.

Из докладной записки Л. З. Мехлиса — Л. П. Берия (28 августе 1946 г.)

«Министерством государственного контроля СССР в мае-июле 1946 г. произведена ревизия сохранности общественной собственности в колхозах Московской, Костромской, Саратовской, Чкаловской, Сталинградской, Астраханской, Омской областей, Башкирской АССР, Алтайского и Ставропольского краев, Украинской, Казахской, Узбекской, Туркменской, Киргизской и Армянской ССР. Всего ревизией было охвачено 60 районов и 288 колхозов. Ревизия показала, что за последние годы широкое распространение получили факты грубого нарушения колхозной демократии, разбазаривания и расхищения общественной собственности колхозов. В отдельных районах эта антигосударственная практика получила настолько широкое распространение, что представляет угрозу дальнейшему развитию общественного хозяйства колхозов и подрывает заинтересованность в нем колхозников. Такое положение явилось следствием, главным образом, того, что руководители местных органов власти, вместо повседневного воспитания колхозов и колхозников в духе строгого соблюдения устава сельскохозяйственной артели, нередко сами являются инициаторами грубых извращений политики партии и правительства в области колхозного строительства. ⟨...⟩

В ряде районов местные органы власти навязывали колхозам материальное участие в проведении различных мероприятий, понуждая их незаконно расходовать общественные средства и продукты на цели, не предусмотренные сметами и решениями общих собраний колхозников... В Чкаловском сельском районе Чкаловской области руководители райисполкома и райземотдела вымогали продукцию у колхозов для проведения разных слетов, сессий, совещаний и на другие мероприятия. Только по учтенным данным на эти цели райисполком и райземотдел за 1945 г. и четыре месяца 1946 г. взяли у колхозов 5315 кг зерна, 535 кг муки, 87 кг мяса, 2638 кг картофеля и другую произведенную продукцию.

Ревизией установлены многочисленные факты незаконного изъятия у колхозов принадлежащих им помещений и другого имущества. ⟨...⟩ Райисполком Петропавловского района Алтайского края забрал в 1944—1945 гг. у колхозов для районных учреждений 13 жилых домов и ряд других хозяйственных построек. Дома и хозяйственные постройки колхозов переданы райпрокуратуре, редакции районной газеты, райкому ВЛКСМ, райконторе связи и другим учреждениям. Начальник райотдела МВД и заведующий райзо лично для себя забрали два колхозных дома и стоимость их колхозам не оплатили. Председатель ревизионной комиссии колхоза «Красные орлы» Петропавловского района Новочихин по вопросу изъятия колхозных построек районными учреждениями пишет: «Все взято под насилием. Я писал в крайисполком заявление, но ответа не получил. Затем мною было сказано председателю колхоза «Красные орлы» Псутову М. И., что назаконно это делают, а он мне отвечал, «а что с ними сделаешь?» ⟨...⟩

В ряде районов установился порядок, при котором всякого рода слеты и совещания сопровождаются банкетами и вечерами за счет средств колхозов. Причем нередко организаторами такого растранжиривания колхозной собственности являются районные руководители. В Михневском районе той же области (Московской. — В. П.) районные организации в феврале 1946 г. устроили банкет, для которого взяли из колхозов и совхозов района 15 800 рублей денег, 10 баранов, 13 кур, 2 поросенка, 105 кг муки. Вот как описывает этот банкет в своем объяснении министерству госконтроля СССР председатель промартели имени XIX годовщины Октября Кудрявцев, на которого было возложено хозяйственное обслуживание банкета: «На этом банкете присутствовали почти в полном составе РК ВКП(б), председатель РИКа т. Гуськов, от НКВД т. Соловьев, НКГБ т. Борисов и из милиции шесть человек. Следует отметить, что вечерний банкет был шикарный. На столах были заливные и жареные поросята, куры, начиненные рисом, тефтели, черная икра, колбасы различных ассортиментов, сыры, масло сливочное, баранина была во всех видах (шашлык, чахохбили, запеченный целый баран), из сладостей были: торты шоколадные, ореховые, сливочные, шоколадные конфеты и т. д. Из фруктов: ананасы, груши, мандарины, яблоки и т. д. Из вин: шампанское, ликеры, коньяк особенный и прочее, а также пиво и папиросы». ⟨...⟩

По результатам настоящей ревизии виновные работники советских и земельных органов привлечены к судебной ответственности, отстранены от занимаемых должностей и понесли дисциплинарные взыскания. Министерствам внутренних дел, государственной безопасности и юстиции СССР даны указания о привлечении к ответственности работников этих министерств на местах, занимающихся поборами в колхозах... В части нарушений устава сельскохозяйственной артели, касающихся партийных органов, мною представлен доклад товарищу Сталину И. В. и товарищу Жданову А. А. ⟨...⟩ Материалы ревизий посланы в ЦК ВКП(б) т. Кузнецову А. А. и согласно решению Секретариата ЦК ВКП(б) направляются обкомам, крайкомам и ЦК компартий и республик для рассмотрения и принятия необходимых мер».

Оба корреспондента приведенной записки относились к числу ключевых фигур сталинского режима: один выискивал зарвавшихся чиновников, непомерные аппетиты которых угрожали правительственной власти и возбуждали излишнее недовольство народа, другой их карал. Осуществлялась непрерывная смена кадров, связанная не с корыстью отдельных лиц, а с устоявшейся системой кормлений (лишь ассортимент блюд да состав участников отличал михневские гулянья от кремлевских, красочно описанных в мемуарах Уинстона Черчилля, Никиты Хрущева, Милована Джиласа и других лиц). А потому, какими бы репрессиями ни пыталось бороться государство с порожденным им пороком, искоренить поборы с колхозов никак не удавалось. Таким способом приходилось расплачиваться за неэффективность созданной системы. Чтобы это не кололо глаза своим очевидным бесстыдством, выработался особый язык служебной переписки. Согласно ему поборы и взятки признавались не нормой поведения (как оно было в действительности), а, наоборот, «грубыми извращениями политики партии и правительства». Считалось, что они были распространены не повсеместно, а лишь в «отдельных районах» и у «отдельных руководителей». Не мог же высший правительственный чиновник Л. З. Мехлис признать, что практика местных властей являлась уменьшенной, но точной копией государственной аграрной политики в целом, основанной на колхозной системе и принудительном труде крестьян. Самолично наказывая низовой аппарат — главную опору и инструмент своей политики, правительство тем самым выводило его из-под нравственной юрисдикции народа для того, чтобы лишний раз доказать свою верховную власть по отношению ко всем социальным слоям и разграничить верных слуг и подневольных работников. Даже наказания за одни и те же преступления, связанные с нарушением устава сельхозартели, были различными для разных слоев деревни: зачастую снисходительные

М е х л и с Лев Захарович — 1(13).I.1889—13.II.1953, член ЦК с 1937 г., член Оргбюро ЦК с 1938 по 1952 г. В 1946—1950 гг. министр Госконтроля СССР.

Б е р и я Лаврентий Павлович — 17(29).III.1899—23.XII.1953, член ЦК с 1934 г., член Политбюро (Президиума) ЦК с 1946 г., в 1941—1953 гг. заместитель председателя СНК (Совмина) СССР, в 1938—1945 гг. и марте-июне 1953 г. нарком (министр) внутренних дел СССР. В 1953 г. расстрелян по приговору специального судебного присутствия Верховного Суда СССР.

для местной верхушки, они были суровыми по отношению к рядовым колхозникам. По данным Совета по делам колхозов в 1950 г. из 71 тысячи лиц, привлеченных к ответственности в связи с нарушениями устава, привлеченные к уголовной ответственности составляли: среди районных и областных работников — 22 процента (ко всему числу привлеченных к ответственности лиц этой категории), председателей колхозов — 50 процентов, рядовых колхозников — 70 процентов.

«НЕ ПРОПАДЕТЕ С ГОЛОДА!»

Хлебозаготовки — система принудительного изъятия хлеба из деревни, законодательно оформленная в 1932 г. с победой колхозного строя. С 1940 г. устанавливался погектарный принцип исчисления обязательных поставок государству зерна и риса. Их объем зависел от размера пашни, закрепленной за каждым колхозом. Фактические посевы зерновых культур, наличие семян, техники, рабочих рук, погодные условия в расчет не принимались. Колхозы обязаны были сдавать государству зерно с первых дней уборки урожая. Обязательства по госпоставкам имели силу налога и подлежали безусловному, безоговорочному выполнению в строго установленные сроки. До выполнения плана хлебозаготовок в целом по области, краю или республике колхозам и крестьянам было запрещено продавать свой хлеб на городских и сельских базарах, железнодорожных станциях. Первоначально воспрещалось под страхом уголовной ответственности устанавливать для колхозов встречные планы сверх установленных законом норм. На практике это постановление регулярно нарушалось. В условиях подневольного труда хлебозаготовки не могли осуществляться никакими иными мерами кроме принудительных.

Из докладной записки генерального прокурора СССР Г. Сафонова А. А. Андрееву [9 марта 1949 г.]

«Расследованием установлено, что руководящие работники Тюхтетского района (Красноярский край. — *В. П.*), в период посевной кампании, уборки урожая и сдачи зерна государству в 1948 г., допустили ряд незаконных действий.

Секретарь РК ВКП(б) Брюханов в конце весеннего сева, имея данные о выполнении плана посева зерновых культур по колхозам за недостатком семян, дал указание уполномоченным РК ВКП(б), председателям колхозов и сельских советов произвести обобществление посевов зерновых культур на приусадебных участках колхозников под видом позаимствования у них семян для выполнения плана посева колхозных полей. Таким путем было «обобществлено» посевов на 517 га, которые были включены в общие данные о выполнении плана посева колхозами и направлены в краевое управление сельского хозяйства. В августе 1948 г. Брюханов неоднократно требовал от уполномоченных РК ВКП(б), председателей колхозов и сельсоветов добиться фактического обобществления зерновых культур, посеянных на приусадебных участках колхозников, их уборки, обмолота и зачисления этого зерна в общий валовый сбор зерна колхозов. В результате этих указаний обобществление зерновых культур с приусадебных участков колхозников было проведено в колхозах имени Первого мая, имени Чапаева, имени Чкалова, имени Тельмана, имени 15 лет Октября и в двух колхозах имени Буденного.

Председатель исполкома райсовета Качин в период хлебоуборки и сдачи зерна государству допускал в отношении председателей колхозов грубость, запугивание арестом и содержание их в дежурной комнате милиции. В конце сентября 1948 г. Качин, находясь в Н. Митропольском сельсовете, в присутствии ряда лиц стучал кулаком по столу и кричал на 60-летнего председателя колхоза «Крепость обороны» Данилевич, требуя от него идти побираться, но выполнить план хлебопоставок, так как к этому времени имевшееся в колхозе зерно было сдано государству и больше зерна в колхозе не было. После отказа Данилевич идти побираться, Качин предложил ему отправиться в районное отделение милиции. (...) Данилевич незаконно содержался в дежурной комнате райотделения милиции в течение суток. В октябре 1948 г., находясь в Соловьевском сельсовете, Качин вызвал к себе председателя колхоза имени Сталина — Шаркова и в разговоре с последним о сдаче зерна государству называл его саботажником, кулаком и дезертиром. После ответа Шаркова, что он не кулак, не саботажник и не дезертир, а в период Отечественной войны находился на фронте, получил тяжелое ранение и вследствие этого является инвалидом второй группы, Качин стал угрожать Шаркову арестом, позвонил в отделение милиции и предложил арестовать Шаркова...»

Письмо бывшего председателя колхоза «Удалой» Рожкинского района Кировской области Захара Алексеевича Солоданкина А. А. Андрееву [3 ноября 1948 г.]

«Дорогой товарищ Андреев! Прошу Вас разобрать мою жалобу. Я работал председателем колхоза «Удалой» в течение последних восьми лет. Не буду хвалить себя, но думаю, что работал неплохо, особенно в тяжелые дни Отечественной войны. В 1947 г. наш колхоз выполнил план хлебозаготовок и сверх плана сдал 139 центнеров хлеба. То же самое можно сказать относительно 1948 г. По выполнении плана хлебосдачи, мы сдали сверх плана 150 центнеров хлеба. После этого мне было предложено районными властями сдать весь хлеб, выданный колхозникам на трудодни* в 1946, 1947 и 1948 гг. Сомневаясь в законности этих требования, я, естественно, медлил с выполнением этого приказа, тем более, что выполнить его мне было просто физически невозможно.

12 сентября 1948 г., без предъявления каких-либо обвинений, вопреки воле правления и общего собрания, я был снят с работы и заключен в тюрьму вместе с счетоводом и кладовщиком, где и просидел полтора месяца. Во время моего ареста отряд милиции, во главе с секретарем райкома т. Решетниковым, предрайисполкома т. Панкратовым, райпрокурором Естифеевым и начальником милиции Дудиным насильно отобрали у колхозников и у меня лично хлеб, не выдавая никаких расписок о захвате хлеба.

Дорогой товарищ Андреев! Я имею восемь человек семьи, из них два сына, придя с фронта [они] работали трактористами, честно заработали около двух тысяч трудодней, а теперь они, я, все колхозники остались без хлеба. На наши жалобы местная власть отвечает: «Прокормитесь, не пропадете с голода». Мы имеем все данные считать, что хлеб, заработанный нами за трудодни из урожая 1949 г. также будет захвачен местной властью. Подумать только с каким сердцем мы будем работать зная, что ничего не получим. Обращаясь к Вам с жалобой, мы просим Вас об одном: выслать к нам своего представителя и ни в коем случае не передавать дело на рассмотрение местных властей, иначе нам всем будет тюрьма. Просим Вас возвратить нам наш хлеб».

Секретное постановление СМ СССР и ЦК ВКП(б) от 26 июня 1946 г. возлагало личную ответственность за «полное выполнение плана хлебозаготовок в установленные законом сроки» на руководителей краев, областей и республик, уполномоченных министерства заготовок. Это развязывало руки. Отчасти ситуацию можно объяснить засухой 1946 г., которая охватила Молдавию, юго-западные районы Украины, все области центрально-черноземной зоны, включая и северные области Украины, правобережные районы Нижнего Поволжья. По оценке председателя Госплана Н. А. Вознесенского валовой урожай зерновых снизился в 1946 г. по сравнению с предыдущим годом с 4 171 до 3 816 млн. пудов. Для того, чтобы частично восполнить недобор зерна в районах, охваченных засухой, правительство установило дополнительные планы районам Сибири, Казахстана, Урала, центральных и северных областей России. Одновременно в областях центральной черноземной зоны, пострадавших от засухи — Воронежской, Орловской, Тамбовской, Курской, — планы поставок зерна государству были снижены, но взамен установлены повышенные нормы сдачи государству картофеля.

Андреев Андрей Андреевич — 18(30).X.1895 — 5.XII.1971, член ЦК с 1920 г., член Политбюро с 1932 по 1952 г., член Оргбюро ЦК с 1922 по 1928 г., с 1939 по 1946 г., секретарь ЦК ВКП(б) с 1924 по 1925 г. и с 1935 по 1946 г. В 1939—1952 гг. председатель КПК при ЦК ВКП(б), в 1943—1946 гг. нарком земледелия СССР. В 1946 — 1953 гг. заместитель председателя Совмина СССР, председатель Совета по делам колхозов при правительстве СССР.

* Трудодень — оценка каждого вида работы в колхозе в зависимости от требующейся квалификации работника, сложности и трудности работы. Колхозы устанавливали нормы выработки и расценки каждой работы в трудоднях. В трудовой книжке колхозника записывалось общее количество выработанных трудодней. Распределение доходов колхоза должно было проводиться в зависимости от числа выработанных каждым колхозником трудодней. Поскольку после всех расчетов колхоза с государством нередко платить по трудодням было нечем, колхозники окрестили названную систему работой «за палочки» (трудодень или единица — отсюда «палочка»).

Если бы практика дополнительных заданий была связана лишь с погодными условиями, она не могла бы носить систематического характера для одних и тех же районов страны. Между тем и в последующие годы планы заготовок зерна в стране выполнялись за счет перевыполнения сдачи хлеба передовыми колхозами.

Так государственный произвол, узаконенный специальными постановлениями, уравнивал «бедные» и «богатые» колхозы и являлся главной причиной упадка зерновых районов страны. Чтобы избежать последствий засухи 1946 г., государство располагало необходимыми запасами зерна, которые могло и было обязано использовать для помощи голодающим районам. В этом нас убеждают цифры. Согласно данным министерства заготовок в стране имелись следующие запасы зерна, муки и крупы (в зерновом выражении; по состоянию на 1 декабря): в 1945/46 с. г. — 16987,4 тыс. тонн; 1946/47 с. г. — 12680,9 тыс. тонн; в 1947/48 с. г. — 19564,1 тыс. тонн; в 1948/49 с. г. — 24028,8 тыс. тонн; в 1949/50 с. г. — 31182,1 тыс. тонн. Недобор зерна в засуху (1946/47 с. г.), составивший треть всего запаса страны, был перекрыт в следующем году в 1,6 раза и рос в последующие годы. А вот материальное положение колхозников не улучшалось.

Из письма членов правления колхоза «Кызыл Маяк» Горно-Алтайской автономной области Турачакского аймака А. А. Андрееву [13 сентября 1948 г.]

«Мы обращаемся к Вам с просьбой разъяснить в чем причина, что здесь у нас из года в год весь урожай приходится сдавать, не распределять ни грамма на трудодни, чем подрывается экономика колхозов и подрывается у колхозников желание трудиться. Мы понимаем, что в период войны требовалось для снабжения армии больше хлеба, мы с радостью отдавали все, что собирали, не жалели ничего, чтобы победить врага. 1945—1946—1947 гг. — неурожай — тоже сдали все, чтобы как можно быстрей восстановить народное хозяйство. 1948 г. мы надеялись, что в текущем году, выполнив государственный план хлебосдачи, сможем распределить на трудодни примерно по по одному килограмму. Сейчас мы государственный план выполнили досрочно на 200%, сдав сверх плана вдвойне к плану. Но, несмотря на это, обком ВКП(б) и райком довели нам и всем колхозам твердое задание на сверхплановую сдачу, превышающее в несколько раз государственные планы, так что на трудодни распределять нечего и даже семена не хватит засыпать полностью, чтобы посеять в 1949 г.

Колхозники нашего аймака живут в крайне тяжелых условиях и никто этим не интересуется, работаем сутками круглый год, но на трудодни абсолютно ничего не получаем, хлеб не видели, живем на картошке, а весной кончается картошка — переходим на траву...»

Из анонимного письма из Кировской области А. А. Андрееву [октябрь 1948 г.]

«(...) Неурожай 1946 г. еще крепче ударил по экономике колхозов области. Много колхозников умерло от истощения. 1947 г. не принес улучшения колхозному крестьянству области. (...) В большинстве колхозов области весь хлеб выкачивается в порядке хлебозаготовок, не оставляя зерно на семена, не говоря уже о фуражном фонде. (...) В практической работе уполномоченные проявляют неуместную грубость, нетактичность, упрекают колхозников в невыполнении «клятвы», данной товарищу Сталину. Уместно здесь сказать, как «принимается» письмо товарищу Сталину. Проект письма от колхозников области товарищу Сталину обычно спускается сверху от обкома и облисполкома. В лучшем случае проект изучается и обсуждается в РИКе и РК ВКП(б) с председателями сельсоветов и некоторых председателей колхозов. (...) Когда письмо появится в печати, оно облекается в форму «закона». Пользуясь этим, руководители районов и области жестоко карают тех, кто не выполняет «закона». (...) Эти чрезвычайные меры привели к тому, что преобладающее большинство колхозников вынуждено питаться травой, мякиной, соломой и другими отходами. Как правило, с нового года колхознику нечего кушать, организм его истощается. Если бы не приусадебные участки, на которых колхозник сейчас сеет зерновые, многие колхозники умерли бы от истощения. (...) Раньше хлеб продавали по продовольственным карточкам, теперь по спискам и только работающим в учреждениях и организациях района. (...) Растет преступность населения, тюрьмы заполняются народом, который вынужден воровать. (...) Меньше продавать хлеба за границу. Кормить досыта свой народ. Наш народ золотой, терпеливый, он многое перенес, надо лучше о нем заботиться...»

Из письма В. С. Кривоногова из колхоза «Борьба за социализм» Арзамасского района Горьковской области А. А. Андрееву [20 августа 1949 г.]

«В течение трех лет колхоз, вывозя весь урожай, не может полностью вывезти поставки государству, хотя колхозники живут только на картофеле, как в голодные годы. Здоровая часть работников разошлась по разным работам, а оставшиеся работают с холодком, ссылаясь на отсутствие пищи. И как результат — в то время когда сенокос должен быть давно законченным (на 20 августа), он закончен несколько больше 50%. Молотьба ржи выполнена наполовину, клевер два года не косился ни на сено, ни на семена, хотя скот колхозный бедствует без корма. Только весной 1949 г. на корм было куплено соломы более чем на 30 тысяч [рублей]. С такими порядками примирились районные работники. Их первой заботой является, чтобы весь урожай был вывезен и только. А каким путем живут и работают колхозы — их это не касается...» Лишь в исключительных случаях доведенные до отчаяния люди решались на открытое сопротивление.

Выписка из протокола Челябинского обкома ВКП(б) [№ 531 от 13 ноября 1946 г.]

«(...) 12 октября с. г. бандой выходцев из бывших кулацких семей было совершено контрреволюционное террористическое нападение на руководящий состав и учащихся ремесленного училища № 3, прибывших в колхоз «Вперед» [Красноармейского района. — *В. П.*] для участия в проведении уборки урожая и хлебозаготовок. (...) Расследованием на месте преступления установлено, что Лимонов, Карпов и другие активные участники банды в количестве 15—20 человек, вооруженные лопатами, кольями, ножами, совершили заранее подготовленный террористический акт против представителей рабочего класса, мобилизованных на хлебозаготовки, в результате которого были убиты мастера ремесленного училища № 3: коммунист-орденоносец т. Ильиных, кандидат в члены ВКП(б) т. Крючков и тяжело ранены тт. Шарков и Жаворонков. (...) Суть политической платформы кулацкой верхушки колхоза наиболее ярко выразил председатель артели «Вперед» Лапов, который в кругу своих близких в августе 1945 г. заявил: «Сейчас при советской власти народ и крестьяне чувствуют себя угнетенными, работают от гудка до гудка. Крестьяне ничего не имеют, во всем ограничены, общественные земли поросли сорняком, качество обработки земли плохое, хуже, чем в старое время. Сельхозинвентарь и машины не берегутся, а ломаются, так как колхозники не считают их своими собственными, а чужими колхозными. Много колхозных земель пустует, а раньше у частного хозяина обрабатывался каждый участок земли. Крестьяне не являются сами себе хозяевами, их заставляют насильно работать, хочешь — не хочешь, а работай. Если бы все наше сельское хозяйство все время развивалось так же, как в период проведения НЭПа, то теперь, в 1945 г., каждый крестьянин-единоличник имел бы в своем индивидуальном хозяйстве трактор, автомашину и другой инвентарь. Крестьяне имели бы изобилие продуктов и ни в чем не нуждались». (...) Причиной притупления политической бдительности со стороны руководящих работников РК ВКП(б), райисполкома и районных отделов МГБ и МВД является их низкий идейно-политический уровень, а также то, что большинство руководящих работников района (секретарь РК ВКП(б) т. Волошенко, председатель райисполкома т. Романенко и его заместитель т. Пушкарев, начальник райотдела МГБ т. Лагунов, комендант спецссылки МВД т. Портнягин, начальник спецпоселения т. Наклонов и другие) находились в прямой материальной зависимости от председателя правления Лапова, брали в колхозе хлеб, яйца, кур, мясомолочные и другие с/х продукты. В еще более тесной личной и материальной связи с Лаповым находился бывший секретарь Красноармейского РК ВКП(б) Бобков. Эта связь не прервалась и после того, как т. Бобков был утвержден в должности зав. сельхозотделом обкома ВКП(б). Тов. Бобков всячески популяризировал Лапова. По предложению т. Бобкова Лапову была предоставлена трибуна на областном совещании передовиков сельского хозяйства при вручении в 1945 г. переходящих красных знамен Совнаркома СССР. (...) За чисто внешними хозяйственными показателями обком ВКП(б) и облисполком не рассмотрели политического существа этого коллективного кулацкого хозяйства».

Стиль документа отражает опытную руку, привыкшую бороться с «кулацкой контрреволюцией» — в октябре 1946 г. бюро Челябинского обкома

ВКП(б), при участни Л. М. Кагановича, рассмотрело вопрос о колхозе «Вперед». Организаторы и участники убийства в количестве 18 человек предстали позже перед судом и понесли наказание.

«...ОСТАЛСЯ В ДОЛГАХ У РОДИНЫ»

Крестьянский двор (и колхозный, и единоличный) подлежал обложению государственным натуральным налогом в форме обвзательных поставок зерна, мяса, молока, шерсти, яиц, картофеля и других продуктов. Средняя норма поставок для колхозного двора составляла после войны: мяса — 40 кг, яиц — 50—100 штук, молока — 280—320 литров. Норма сдачи продуктов для единоличных хозяйств была значительно выше. В случае отсутствия у крестьянина коровы налог по молоку сдавался другой продукцией или выплачивалась их стоимость по рыночным ценам*. Недоимки по поставкам, как правило, не списывались, а переходили на следующий год; суды взыскивали по ним штрафы или описывали в пользу государства крестьянское имущество. Погектарный принцип исчисления поставок, установленный в 1940 г. для колхозов, распространялся и на крестьянские дворы. Уже в апреле 1945 г. правительство восстановило взимание обязательных поставок животноводческой продукции в районах, освобожденных от немецкой оккупации. Не спасало и то, что многие хозяйства не имели коров.

Из докладной звписки председателя Великолукского облисполкома К. Гришина В. М. Молотову (22 февраля 1945 г.)

«Ряд районов Великолукской области: Идрицкий, Себежский, Пустошский, Кудеверский и другие — освобождены от немецкой оккупации в 1945 г. 〈...〉 свыше 20 000 хозяйств колхозников в районах области живут в землянках. Большое количество колхозников не имеет в личном пользовании никакого скота. Так, в Идрицком районе на 4462 колхозных двора имеется 331 голова крупного рогатого скота, 315 голов свиней, 60 голов овец. В Себежском районе на 4821 колхозный двор имеется 759 голов крупного рогатого скота, 742 головы свиней и 148 овец... Совершенно уничтожено поголовье птицы немецкими захватчиками в указанных и других районах области, кроме того, в восьми районах, освобожденных от немецкой оккупации в июле 1944 г., посевов почти не производилось, что отразилось на материально-бытовых условиях колхозников... Наркомзаг телеграфным указанием предложил облуполнаркомзагу вручать колхозникам обязательства по поставкам мяса и яиц государству без предоставления льгот, что вызывает огромное количество жалоб 〈...〉».

Помимо натурального существовал денежный сельскохозяйственный налог, которым облагались доходы личных хозяйств крестьян от полеводства, от скота всех видов, сенокосов, огородничества, табаководства, посевов технических и масличных культур, садов, ягодников, виноградников и других насаждений, пчеловодства, шелководства, а также от всех видов неземледельческих заработков, не облагаемых подоходным налогом. Нормы доходности, с которых исчислялся налог, учитывали лишь среднюю урожайность, продуктивность скота и рыночные цены. Реальные же доходы большинства крестьянских хозяйств значительно уступали произвольно завышенному финансовыми органами окладу налога. Из всех арифметических действий государство лучше всего освоило вычитание, что составляло «политэкономию» того времени, ее основу. Одновременное взимание и натурального, и денежного налогов часто приводило к разорению крестьян, и лишь стремление человека выжить заставляло крестьян в подобных условиях продолжать вести личное хозяйство.

Из письма Любови Бариновой из Горьковской области Бутурлинского района села Смагино в СНК СССР (1945 г.)

«〈...〉 меня так сильно беспокоят налогами, но мне платить нечем кроме коровы. Овечку я продала своим сиротам на хлеб, а об остальном не думаем. Приходит зима, а я и мои дети раздеты и разуты, и нет нам никакой помощи. Обложили меня вравне с мужчиной, где я возьму такую сумму, верно? Они обложили не меня, а моего мужа за то, что он положил свою голову, но остался в долгах у родины. Мой муж — М. С. Баринов — лежит в сырой земле третий год от 26 июля, а на него подают налог. Меня так тревожит когда его тело беспокоят извещением на налоги. Еще вам сообщаю: на меня наложен сельхозналог 1741 руб. [в ценах тех лет. — В. П.]. Прошу Вас, Совет народных комиссаров, не оставьте в моей просьбе. Я же имею при себе двоих детей малолетних: старший 1932 г. [рождения. — В. П.], второй 1934 г., а я — 1910 г. За мужа получаю пенсию 56 рублей в месяц. Еще прошу вас не покиньте моих сирот. Нам так теперь тяжело, у всех отцы домой идут, а нам своего отца не дождаться...»

Непосильность налогов объяснялась еще и тем, что правовая ответственность по ним начиналась для крестьян по достижении 16-летнего возраста.

Освобождение от налогов касалось немногочисленных категорий населения (районных руководителей и сельской интеллигенции, инвалидов войны и труда I и II степени, престарелых мужчин и женщин, семей военнослужащих) и сопровождалось бесчисленными оговорками, снижающими и без того узкую группу лиц.

Из-за неоднократного снижения государственных розничных цен на продукты питания после войны и в связи с проведением денежной реформы 1947 г. рыночные цены также снижались. Например, цены колхозных рынков по данным министерства финансов после реформы снизились в три раза. И хотя государство регулярно пересматривало в этой связи нормы доходности крестьянских дворов, от которых зависел размер налога, его расчеты были далеки от действительности.

В 1937 г. вместо административного был установлен судебный порядок изъятия имущества в покрытие государственных недоимок. При этом запрещалось изъятие некоторых видов личного имущества, включая единственную корову. После войны число недоимщиков в России непрерывно увеличивалось, что вызывало ужесточение судебной практики.

Письмо зам. начальника управления министерства юстиции СССР С. Аскарханова колхознику Н. И. Новичкову из Рязанской области Чаплыгинского р-на Б. Петелинского сельсовета (29 марте 1951 г.)

«На Ваш запрос сообщаю, что ко взысканию недоимок по обязательным поставкам сельхозпродуктов и штрафов за невыполнение поставки в срок давность не применяется. По судебным решениям о взыскании с колхозных дворов, единоличных хозяйств и хозяйств отдельных граждан недоимок по обязательным поставкам и штрафов за невыполнение обязательств в срок взыскание может быть обращено на единственную в хозяйстве недоимщика корову».

Чтобы списать недоимки, требовалось специальное распоряжение правительства (по каждому случаю) и ходатайство областных партийный и советских органов, согласие наркомата заготовок и сельхозотдела ЦК ВКП(б). Например, 21 марта 1950 г. на Президиуме Совета Министров СССР в присутствии Г. М. Маленкова, Л. П. Берии, Л. М. Кагановича, Н. А. Булганина в числе других государственных дел рассматривался вопрос о неправильном изъятии у вдовы Романовой за недоимки коровы. Непосильность налога приводила к уменьшению поголовья скота в личных хозяйствах, вырубке садов.

Из докладной записки председателя исполкома Ставропольского крайсовета Н. Прошунина в Совмин СССР (8 декабря 1952 г.)

«При проведении сельхозналога финансовые органы учитывают и облагают налогом в хозяйствах колхозников, рабочих, служащих и других граждан все плодовые насаждения плодоносящего возраста независимо от степени урожайности... Указанные обстоятельства не стимулируют развитие индивидуального садоводства в крае, а, наоборот, данные учета показывают, что площади садов, находящихся в индивидуальном пользовании граждан, из года в год сокращаются: в 1948 г. было учтено 3299 га, в 1949 г. — 2127 га, в 1950 г. — 1735 га, в 1951 г. — 1516 га, в 1952 г. — 1495 га ...»

СТРАХ

Лучше железных обручей держал в повиновении деревню страх. Каждый

Каганович Лазарь Моисеевич — 10(22).XI.1893 — 26.VII.1991, член ЦК в 1924—1957 гг., член Политбюро (Президиума) ЦК в 1930—1957 гг., член Оргбюро ЦК в 1924—1925 гг., 1928—1946 гг. В 1938—1947 гг. заместитель председателя СНК (Совмина) СССР. С 1961 г. на пенсии.

* В 1950 г., например, молоко сдавалось государству крестьянами по цене 25 коп. за литр при государственной розничной цене 2 руб. 70 коп. Мясо сдавалось по цене 14 коп. за килограмм при государственной розничной цене 11 руб. 40 коп. (в ценах тех лет)

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович — 25.II.(09.III.)1890—08.XI.1986, член ЦК в 1921—1957, член Политбюро (Президиума) ЦК в 1926—1957гг., член Оргбюро и секретарь ЦК в 1921—1930 гг. В 1939—1949 гг. нарком (министр) иностранных дел СССР. В 1946—1953 зам. председателя, в 1942—1946 гг. и в 1953—1957 гг. первый зам. председателя СНК (Совмина) СССР.

шаг строго регламентировался уставом колхозной жизни, отступления от него наказывались. Не уплатил налоги — опишут за недоимки имущество; не выработал минимума трудодней — готовься к полугодовому бесплатному труду в колхозе; совсем не работаешь в колхозе, но живешь своим трудом — выезжай в отдаленную местность; унес для пропитания семьи с колхозного поля немного зерна, с фермы молока, накосил на колхозной делянке сена — тюрьма. Если работал от зари до зари за себя, лошадь, трактор и за многочисленных начальников, но в конце года ничего не получил на трудодни и, не выдержав, разговорился в компании о порядках в государстве, и о том донесли кому положено — пощады не жди.

Из докладной записки зам. председателя Совета по делам колхозов В. Андрианова Г. М. Маленкову (19 апреля 1948 г.)

«〈...〉 Виновные в невыработке обязательного минимума трудодней, по периодам сельскохозяйственных работ, карались по приговору народного суда исправительно-трудовыми работами в колхозах на срок до шести месяцев с удержанием из оплаты трудоднями до 25% в пользу колхоза. Трудоспособные колхозники и колхозницы, не выработавшие в течение года обязательного минимума трудодней, должны были считаться выбывшими из колхоза, потерявшими права колхозника и лишаться приусадебного участка. 〈...〉

Практика применения судебной ответственности к колхозникам... показывает, что приговоры народных судов не дают должного эффекта. Значительное число осужденных за невыработку минимума трудодней не принимает участия в работах колхоза и после вынесения приговора. За невыполнение минимума трудодней, за пять лет действия Указа от 15 апреля 1942 г., осуждено свыше миллиона, что составляет в среднем от 4 до 5 человек на колхоз. Так, в 1942 г. было осуждено по Союзу в целом 204 314 человек, в 1943 г. — 153 776 человек, в 1944 г. — 176 088 человек, в 1945 г. — 145 108 человек, 1946 г. — 179 866 человек, в 1947 г. — 136 486 человек. Казалось бы, что при таком количестве осужденных число колхозников, не выработавших минимума трудодней, должно было бы снижаться, но по ряду областей этого не наблюдается. Так, в Пензенской области, Краснодарском крае и в других областях с 1942 г. по 1947 г. количество колхозников, не исполнивших минимума трудодней, не только не уменьшается, но из года в год растет...»

Из докладной записки зав. отделом Совета по делам колхозов М. Дьяконова А. А. Андрееву (3 сентября 1948 г.)

«Совет по делам колхозов получил от 29 представителей Совета информацию о проведении в жизнь Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 г. Из информаций следует, что собрания в колхозах, на которых обсуждается этот исторический документ, проходят с исключительной активностью. Так, в 173 колхозах Вологодской области на собраниях при обсуждении Указа из 11432 членов сельхозартелей присутствовало 10577 или 94% и выступило на собраниях 1575 человек 〈...〉 колхозники горячо одобряют Указ и выражают чувство благодарности партии и правительству за повседневную заботу о колхозах 〈...〉

В результате проведения мероприятий в колхозах значительно повысилась трудовая дисциплина. 〈...〉 В Коми АССР в колхозе «Березино» Усть-Куломского района после проведения общего собрания колхозников, по обсуждению вопроса о состоянии трудовой дисциплины, на работу ежедневно выходят не менее 230 человек и работают с 6 часов утра до 9 часов вечера, в то время как раньше, даже в самые напряженные периоды, работало не более 100 человек. В Вологодском районе Вологодской области за последнее время вступило в колхозы свыше 60 хозяйств, не состоявших ранее в колхозах. Только в четырех сельсоветах Юрьев-Польского района Владимирской области 58 единоличников вступили в колхозы. 〈...〉 Однако в ряде районов местные партийные и советские органы допустили грубые ошибки и извращения. 〈...〉 В Саратовской области было проведено общее собрание в первую очередь в колхозе «Советская деревня» Вольского района, где 70 членов артели не выработали установленный минимум трудодней. Причем на собрании зам. председателя колхоза Филатов зачитал список всех этих 70 колхозников, что вызвало возбуждение, в результате общее собрание колхозников отказалось голосовать за выселение предложенных кандидатур Мигунова и Улесиковой. За выселение Мигунова голосовало 26 колхозников против 116, за выселение Улесиковой голосовали три раза, причем первый раз за выселение голосовало 16 человек, второй раз — 54 человека и третий раз — 76 человек. 〈...〉 В колхозе им. Орджоникидзе Широко-Карамышского района Саратовской области был намечен к выселению колхозник Захаров. В день колхозного собрания стало известно, что Захаров — инвалид Отечественной войны II группы. Тогда вместо Захарова наметили колхозницу Витужникову, о выселении которой и было принято решение колхозного собрания. После собрания выяснилось, что у Витужниковой муж красноармеец, погиб в годы Отечественной войны, а старший сын служит в Военно-Воздушных частях Советской Армии. В результате райисполком вынужден был отменить этот приговор».

Правовое положение спецпоселенцев, независимо от их места работы и жительства, определялось постановлением СНК СССР от 8 января 1945 г. Согласно ему спецпоселенцы пользовались всеми правами граждан СССР за исключением права свободного передвижения (заметим в скобках, что нераспространение на колхозников паспортной системы «уравнивало» их в правах со спецпоселенцами). Спецпоселенцы трудоспособного возраста обязаны были работать в местах поселения и могли вступать в колхозы на общих основаниях; уклоняющиеся от «общественно-полезного труда» подлежали уголовной ответственности (восемь лет исправительно-трудовых лагерей). Так осуществлялся перевод из одной категории бесправного сословия в другую.

Страх не только разобщал, но часто и сплачивал людей для отпора, когда жалоба в центр являлась крайним средством защиты от произвола местных властей. Важным звеном государственного управления деревней служила колхозная верхушка. С одной стороны ей нередко приходилось расставаться с председательским креслом и материальным достатком за срыв посевной или уборочной кампании (достаточно сказать, что за 1945—1946 гг. число осужденных председателей колхозов выросло с 5,7 до 9,4 тыс. человек), но с другой стороны условия деревенской жизни способствовали укоренению особого социального типа руководителя со всеми чертами приказчика-самодура.

Вот и стремился сорваться мужик с земли в поисках лучшей жизни; под любыми предлогами уходила из деревни молодежь. А многодетные, вдовы и старики со старухами так всю жизнь и продолжали корячиться на «родную советскую власть». Не сразу и не у всех, но все же у многих складывались твердые убеждения в несправедливости существующего строя, утрачивались нравственные основы жизни.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

Численность сельского населения РСФСР составляла (наличное население; на 1 января): 1945 г. — 51,2 млн человек, 1950 г. — 54,1 млн человек, 1953 г. — 53,3 млн человек. В 1950 г. естественный прирост сельского населения республики составил около 1 млн человек, одновременно из деревни выбыло 1,4 млн человек.

Экспорт зерна из СССР составил: в 1945/46 с.х.г. — 1 млн. 235,6 тыс. тонн, в 1946/47 с.х.г. — 363,2 тыс. тонн, в 1947/48 с.х.г. — 2 млн. 406,9 тыс. тонн.

* * *

Если не отрицать очевидные факты, запечатленные в приведенных документах, следует признать, что послевоенная разруха преодолевалась государством исключительно за счет резкого усиления эксплуатации крестьянства. В этот период еще более укрепились сталинские колхозные устои: экономическое бесправие, выразившееся в обязательных поставках продукции государству по произвольно установленным низким ценам; личное бесправие крестьян, лишенных паспортов и возможности выбора работы и места жительства; принудительный труд; несправедливая, скудная оплата.

Сложившаяся система сверхэксплуатации деревни, на первый взгляд как будто диктуемая исключительно обстоятельствами и государственной нуждой, в своей основе была системой разрушительной и для производительных сил, и для самой себя. Чем решительнее росло государственное тягло (колхозное и личное), тем меньше в силу снижения потребления становился человеческий резерв деревни и тем быстрее то тут, то там падало производство и пустела земля.

Маленков Георгий Максимилианович — 26.XII.1901 (08.I.1902)—14.I. 1988, член ЦК в 1939—1957 гг., член Политбюро (Президиума) ЦК с 1946 по 1957 г., член Оргбюро ЦК с 1939 по 1952 г., секретарь ЦК с 1939 по 1946 и с 1948 по 1953 г. В 1946—1953 гг и в 1955—1957 гг. заместитель, а в 1953—1955 гг. председатель Совмина СССР.



В. Маяковский и Л. Брик в 1920-х годах

Автограф Блока

А. ВАЛЮЖЕНИЧ

Один за другим уходят из жизни современники В. В. Маяковского. В апреле 1991 года скончались две женщины, в США и СССР, хорошо знавшие поэта, — Т. А. Яковлева и Г. Д. Катанян. Практически все воспоминания современников уже опубликованы, настала очередь версий, догадок и легенд. Начало положил Ю. Семенов публикацией своей «Версии-IV», а совсем недавно появились три новые «версии» — В. Скорятина, В. Дядичева и А. Парниса, — в которых их авторы пытаются восстановить некоторые эпизоды, связанные с именем В. В. Маяковского. Из трех названных авторов только А. Е. Парнис использует при построении своей «версии» все известные по рассматриваемой им теме материалы, два же других автора — В. Скорятин и В. Дядичев — используют только те материалы, которые подходят им, отвергая как недостоверные остальные, в том числе и воспоминания современников поэта.

В целом статья А. Е. Парниса «Блок и Маяковский — 30 октября 1916 года (Реконструкция одной встречи)» отличается глубокой аргументацией всех рассматриваемых аспектов темы, с большим интересом читается и специалистами, и простыми читателями и является значительным вкладом в маяковсковедение. Остается только сожалеть о том, что ее публикация по не зависящим от автора причинам задержалась на семь лет.

Рассматривая в своей статье свидетельства современников, относящиеся к встрече В. В. Маяковского и А. А. Блока, А. Е. Парнис сослался на ранее не публиковавшееся письмо Л. Ю. Брик ко мне, датированное 9 февраля 1976 г. Ему предшествовало мое собственное расследование обстоятельств встречи двух поэтов, о котором А. Е. Парнису не было известно и о котором я хочу рассказать сейчас.

В книге «Трава забвения» В. П. Катаев вспоминает, как В. В. Маяковский в последний вечер своей жизни доверительно рассказывал ему об одной из первых встреч с Александром Блоком.

«— Хотите: о моей одной исторической встрече с Александром Блоком? Ещё до революции. В Петрограде. У Лилички именины. Не знаю, что подарить. Спрашиваю у нее прямо: что подарить? А у самого в кармане... сами понимаете. Нищий! Дрожу: а вдруг захочет торт — вообразите себе! — от Гурмэ или орхидеи от — можете себе представить! — Эйлера. Жуть! Но она потребовала книгу стихов Блока с автографом.

— Но как же я это сделаю, если я с Блоком, в сущности, даже не знаком. Тем более — футурист, а он символист. Еще с лестницы, чего доброго, спустит. — Это ваше дело. — Положение пиковое, но если Лиличка велела... О чем тут может быть речь?..»

И Маяковский отправился на Офицерскую к Блоку. «А сам думаю про себя: нахал, мальчишка, апаш, щен, оборванец. Никому не известен, кроме друзей и знакомых, а он — Блок!»

«Услышав мой голос, выходит в переднюю. Лично. Собственноручно. Впервые вижу вблизи. Любопытно все-таки: живой гений. При желании могу даже потрогать. Александр Блок. Величественно и благосклонно. С оттенком мировой скорби: — Вы Маяковский? — Я Маяковский!»

Блок начинает беседу, придавая встрече «высший исторический смысл», «всемирно-литературное значение» (а Маяковский не знает, «куда спрятать ботинки. Один из них с латкой. Неловко»).

Блок продолжает о символизме и футуризме. («А дома Лиличка с нетерпеньем ждет автографа! Представляете мое состояние? Без этого автографа мне хоть совсем не возвращаться. Сказала — не пустит. И не пустит. Положение безвыходное»). «А он все свое: мировая музыка, судьбы мира, судьбы России...»

«...Время... шло, а собственноручной подписи Блока все нет и нет! Терпел час, терпел два, наконец, не выдержал. Озверел. Лопнул. Прерываю Блока на самом интересном месте: — Извините, Александр Александрович. Договорим как-нибудь после. А сейчас не подарите ли экземплярчик ваших стихов с собственноручной подписью? Мечта моей жизни! Отрешенно улыбается. Но вижу — феерически польщен. Даже не скрывает. — У меня ни одного экземпляра. Все разобрали. Но для вас...

— Только подождите, не пишите Маяковскому. Пишите Лиле Юрьевне Брик. — Вот как? — спросил с неприятным удивлением. — Впрочем, говорит, извольте. Мне безразлично... — И с выражением высокомерия расчеркнулся на книжке. А мне только того и надо. — Виноват. — Куда же вы? — Тороплюсь. До свиданья.

И кубарем вниз по лестнице. По улице. Одна нога здесь, другая на Невском. Так, что брюки трещали в ходу. Вверх по лестнице. В дверях — Лиличка. — Ну что? — Достал! — Рассиялась. Впустила».

Меня в свое время очень заинтересовала эта история, рассказанная В. П. Катаевым, и я начал свои розыски.

Что же было на самом деле? Действительно ли В. В. Маяковский ходил к А. А. Блоку за автографом для Л. Ю. Брик, что это за автограф и где сейчас эта книга? Насколько достоверны мемуары В. П. Катаева?

В 50—70-х годах жил в Москве инженер-строитель Николай Павлович Ильин, обладатель уникальной коллекции «Все о Блоке», сам не только страстный собиратель прижизненных изданий, рукописей, писем, фотографий, мемориальных вещей, но и большой знаток биографии и творчества А. Блока.

О коллекции Н. П. Ильина было опубликовано несколько статей; позднее, в 1977 году, она была приобретена государством и легла в основу экспозиции музея-квартиры А. А. Блока, открытой в Ленинграде в 1980 году.

Я обратился к Н. П. Ильину с вопросом, как он относится к истории первой встречи В. В. Маяковского с А. А. Блоком, рассказанной В. П. Катаевым, и вот что он мне ответил:

«Я мало что могу добавить к Вашим знаниям по теме «Блок — Маяковский» в дополнение к тому, что известно из дневников, записных книжек и писем Блока, т. е. всего опубликованного. Исходя из этого, я отношу их официальное знакомство к 1915 или началу 1916 года. Видеть же друг друга и проявлять взаимный интерес они могли и раньше, об этом тоже есть в записях у Блока.

Блок довольно точно отмечал всех, кто бывал у него в доме. Такой записи о Маяковском нет, однако он отметил один звонок Маяковского к нему и даже кратко записал телефонный разговор. Это было в июне 1916 г.

Думаю, что их знакомство было не очень близким, как говорится, больше «шапочным» — очень уж они были разные.

Что касается рассказа Катаева о книге для Л. Брик, то его надо отнести к области чистой беллетристики. Больше можно верить тому из его рассказа, где он говорит, что Маяковский любил читать стихотворение Блока «Ты помнишь? В нашей бухте сонной...». Этому как-то веришь больше, чем эпизоду с книгой, где много натяжек. Нет также никаких следов ни этой книги, ни другой, о которой говорит Катанян, а известная Вам надпись на ней цитируется многими, но всегда без даты и без указания, на какой книге она была сделана Блоком.

Конечно, еще могут быть найдены новые материалы как по Блоку, так и по Маяковскому, которые помогут что-то прояснить и уточнить, о чем сейчас приходится говорить предположительно..

Для меня этот эпизод не имеет такого значения, которое Вы ему придаете, а в мемуарной и разного рода «воспоминательной» литературе о Блоке приходилось читать и вовсе абсурдные вещи. Опровергать же их трудно, даже имея на руках доказательства: поэтому или принимайте их на веру, или отметайте... ненужный материал.

Как правило, все новые факты о Блоке я проверяю в первую очередь у него самого и, если нахожу прямое или косвенное указание в дневниках, зап. книжках, письмах и т. д. — принимаю этот факт; не нахожу — оставляю его на совести автора».

Но этот «эпизод», имеющий существенное значение в биографиях двух больших русских поэтов — А. А. Блока и В. В. Маяковского, — имел значение, по-видимому, не только для меня, но и для других внимательных и недоверчивых читателей.

Вопросы задавались, прежде всего, автору мемуаров, вызвавших общее недоверие — В. П. Катаеву. Писал ему и я, но... автор не ответил.

К этому времени, кроме «Травы забвения», он опубликовал еще один «мемуарный опус» — книгу «Алмазный мой венец», в которой очень фамильярно описал свои отношения с рядом литераторов-современников, в том числе и с Маяковским.

От читателей хлынул к автору новый поток вопросов, но он продолжал хранить гордое молчание. Вопросы относительно мемуаров В. П. Катаева задавались также и другим литераторам.

В 1981 году курортная газета «Юрмала» опубликовала «Беседу с Вениамином Александровичем Кавериным (специально для «Юрмалы»)» местного корреспондента И. Шедрина, который задал отдыхающему в Дубултах на Рижском взморье писателю ряд вопросов, в том числе и об его отношении к мемуарам В. П. Катаева.

«— Вениамин Александрович, вы очень на меня рассердитесь, если я скажу, что разговор напомнил мне о книге, уже написанной: я имею в виду «Алмазный мой венец» Катаева?

— Об этой книге я самого плохого мнения. Катаев

лжет, пытается безуспешно представить историю советской литературы как явление, развивающееся вокруг него. Вокруг него и не может ничего развиваться, потому что он холодный мастер, думающий только о себе. Для занимательности он написал книгу-кроссворд, назвав известных писателей придуманными, иногда обидными прозвищами. Десятки сверстников утверждают, что все было совсем не так, как он написал. Это — антиправда. Он оскорбил многих, в том числе и Маяковского...»

И несмотря на то, что редакция предварила это интервью защитной формулировкой: «С мыслями Каверина можно соглашаться или нет. Но в любом случае они достойны уважения и, безусловно, бесценны для истории нашей литературы», — есть сведения, что журналисту-«собеседнику» В. А. Каверина крепко досталось за публикацию этого откровенного высказывания одного писателя о друrом, хотя оно и «бесценно для истории нашей литературы».

В частной же переписке В. А. Каверин еще более откровенен и категоричен в оценке мемуаров В. П. Катаева. Вот отрывок из его письма ко мне:

«Из интервью в «Юрмале» легко заключить, что я не верю ни одному слову Катаева. В частности, я совершенно не сомневаюсь, что эпизод, связанный с Маяковским и Блоком, так же недостоверен, как и все, что он пишет. Трудно себе представить, что Маяковский ходил к Блоку для Л. Ю. Брик. Тем более широко известно, что Маяковский и Катаев были в холодных отношениях».

Аналогичную оценку мемуарам В. П. Катаева дает В. А. Каверин в другом опубликованном письме: «...Воспоминания В. Катаева («Алмазный мой венец») совершенно недостоверны и не представляют собою никакой цены для источниковедения» (!).

А вот что пишет по этому поводу известный ленинградский «маяковсковед», доктор филологических наук профессор И. С. Эвентов в письме ко мне:

«Автобиографические повести Валентина Катаева — и это общепризнано — содержат много вымысла (не считая вполне допустимых ошибок памяти). Ориентироваться на них как на источник для какой-либо хроники ни в коем случае нельзя».

Продолжал, по-видимому, получать и письменные, и устные вопросы о своих мемуарах и их автор — В. П. Катаев, и он, наконец, стал отвечать на них (1983 г.).

«— Вокруг ваших книг много разговоров, споров — у критиков и читателей, вас осуждают за непочтительное изображение друзей молодости.

— Я писал чистую правду.»

А через год новое заявление:

«— Многие из ваших друзей стали прототипами книги «Алмазный мой венец», вызвавшей самую разноречивую реакцию и читателей, и критиков. Одни приняли книгу безоговорочно, другие упрекали автора в чересчур вольном обращении с персонажами, за которыми угадывались известные советские писатели 20—30-х годов. Вам, видимо, тоже приходилось встречаться с разными мнениями?

— Еще бы! Знаю, что многие меня осудили. И в то же время я получал и продолжаю получать письма от читателей, которым эта вещь нравится...

...Не нужно делать из живых людей иконы и памятники, это удел мещан.

...Уже в самой книге я неоднократно призывал читателей не воспринимать «Алмазный мой венец» как мемуары. Это свободный полет фантазии, основанный на истинных происшествиях, быть может, и не совсем точно сохранившихся в памяти. В силу этого я избегал подлинных имен и даже выдуманных фамилий...

...Моя книга — обычная проза, к героям которой нужно относиться как к литературным персонажам».

Вот так, — не следует придавать исторического значения фактам, изложенным в мемуарах, а следует вообще относиться к ним просто как к вымышленному литературному произведению!

Стоит ли после этого удивляться еще одному «литературному факту», изложенному в цитированной выше беседе в «Литературной газете»: «— В тридцать первом году (!!), незадолго до первой поездки на Магнитку я услышал от Маяковского только что написанный им марш времени: «Вперед, время! Время, вперед!»...

И ведь в этом случае наверняка никто не понес ответственности за «воспоминание» о встрече с В. Маяковским, происшедшей через год после смерти поэта: ни сам В. Катаев, ни журналист С. Гарощина, ни главный редактор «Литературной (!!) газеты» А. Чаковский.

* * *

У этой истории был еще один живой свидетель, внесший некоторую ясность в историю литературного факта, ставшего предметом моего расследования, а заодно давший очень яркую и точную оценку мемуарам В. П. Катаева.

Это — Лиля Юрьевна Брик, за автографом ко дню рождения которой якобы и ходил В. В. Маяковский к А. А. Блоку в далеком 1916 году.

Вот что она пишет об этом в письме ко мне — через шестьдесят лет после описываемых событий:

«Катаев взял этот эпизод со слов К. И. Чуковского. Ему рассказал об этом Маяковский в 1920 году, и Корней Иванович тогда же записал это в своем дневнике. Катаев сильно беллетризировал эту историю, отчего она не сделалась достоверней.

В дневнике Чуковского было написано, что Блок сделал такую надпись на своей книге: «Владимиру Маяковскому, о котором я последнее время много думаю». Кроме того, в «Литературной хронике» Катаняна — изд. 4-е (1961 г.) на стр. 439 — приводится, по свидетельству другого человека, очень похожая надпись.

Сделана была эта надпись не мне, а Маяковскому. Книга пропала, очевидно, при нашем переезде из Петрограда в Москву.

Память человеческая, как известно, неточна. Мне помнится, что мы долго ждали Маяковского к обеду. Наконец, он пришел и сказал, что он битый час ждал Блока, который ушел в соседнюю комнату. В результате на книге оказалось написано: «Маяковскому от Блока».

Как видите, у Катаева сплошная брехня, как и большая часть того, что он вспоминает о Маяковском!».

Так заканчивается история моего расследования достоверности воспоминаний В. П. Катаева о В. В. Маяковском. Думаю, что они дополнят фундвментальную литературоведческую работу А. Е. Парниса — реконструкцию встречи В. В. Маяковского и А. А. Блока, опубликованную в сборнике «Ново-Басманная, 19».

В последнее время некоторые исследователи пытаются бросить тень на опубликованные воспоминания Л. Ю. Брик, усомниться в их достоверности, убедить излишне доверчивых к ним читателей, что эти воспоминания «сочинены» их автором с целью представить себя в выгодном свете.

В описанной же здесь истории Лиля Юрьевна легко могла использовать, не прикладывая никаких своих усилий, воспоминания В. П. Катаева, чтобы еще раз прозвучать в истории литературы на стыке биографий двух классиков русской поэзии в столь романтическом ореоле, одним лишь своим молчанием как бы подтверждая их достоверность.

Однако она не воспользовалась этой неожиданно представившейся ей возможностью возвеличить себя в глазах современников и потомков, а честно поведала об известных ей обстоятельствах встречи В. В. Маяковского с А. А. Блоком.

Скептики могут возразить, что ее возражения против этой придуманной истории прозвучали лишь в частном письме знакомому из Целинограда, а не в печати, но, увы, доступ ей туда был в то время закрыт.

Но, к счастью, «рукописи (и письма!) не горят», и вот пришла пора познакомить читателей и со всей этой историей, и с письмом Лили Юрьевны, написанным 15 лет назад.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

Творить добро



С Адамом Васильевичем Русаком мы познакомились в 1990 году в первый мой приезд в Германию на одном из вечеров русской эмиграции. Мне там тоже довелось выступить, рассказать о патриотическом движении в России, о наших журналах и газетах. В перерыве ко мне подошел среднего роста, энергичный, подтянутый мужчина, представился, предложил в ближайшие дни съездить по русским церквям, расположенным недалеко от Франкфурта-на-Майне, и, если будет время, посмотреть его работы.

До этой встречи я уже слышал о Русаке и даже видел его чудесные рисунки — и у Владимира Флёрова, доктора медицины, коллекционера старинного оружия и всяческих земных чудес, и у известного переводчика технической литературы, типографиста Семена Мозгового, у которого я в то время жил. Все они из одной послевоенной эмиграции, «днписты», все хорошо знакомы, все — единомышленники...

Сегодня Адам Русак — ведущий иконописец Русского Зарубежья.

Главным делом его жизни стал храм Святого Николая во Франкфурте. Начали его строить в 1967 году, закончили строительство осенью 1978 года. Великое освящение храма состоялось в 1979 году. Вся роспись храма, все иконы, все внутреннее убранство, вплоть до скамеек, светильников и мелкой церковной утвари — сделаны одним человеком. Адамом Васильевичем Русаком.

И вот мы с вами будто бы в древнем Новгороде, весь стиль церкви выдержан в традициях новгородской иконописной школы.

Адам Васильевич считает, что москвичи еще до Петра стали вносить в иконопись светские элементы, относились к иконе, как произведению искусства, и поэтому позволяли роскошь, богатое убранство. Русак считает, что в иконописи не должно быть вольности. Даже в журнале «Слово», который я подарил мастеру, он нашел в разделе «Закон Божий» еретическое нововведение — допущение писать на иконе Бога Отца. «Журнал замечательный, — сказал Русак, — но православные тексты вы лучше согласовывайте с людьми знающими. «Новозаветной Троицы» в православной иконописи не существует. Она появляется на Западе, где после раскола Церквей иконописный канон был быстро забыт и мирская суета вытеснила мистическую символику православия. Место иконы заняла реалистическая картина. В России «Новозаветная Троица» и «Бог Саваоф» появились только в XVI веке под влиянием Запада. Так что не православные это изображения и не наша это традиция».

Адам Русак считается и экспертом икон, высочайшей квалификации. Он сам реставрировал немало древних икон, хорошо знаком со школой реставрации в России. Адам Русак очень высоко отзывался о книгах Михаила Алпатова, Савелия Ямщикова, Веры Брюсовой. Наши иконы, увы, он знает не только по выставкам. Часто к нему обращаются новые эмигранты, наслышанные о том, что экспертиза Русака, его удостоверение подлинности иконы и определение возраста — очень высоко ценятся на аукционах. У большинства новых эмигрантов — старые русские иконы. Не любя России, «третьеволновики» любят прихватывать с собой талантливые произведения русского искусства. Этим дельцам Русак отказывает, несмотря на обещанные гонорары, но с удивлением узнает, что эти нищие «страдальцы» из России быстро становятся богачами, столь велик вывоз и сегодня древнерусских икон. Русаку даже предлагали стать совладельцем-экспертом компании по перепродаже русских икон. Он гневно отказался, но удивился размаху сегодняшнего воровства национального русского богатства. Тем более часто допуск на вывоз, как он заметил, давался советскими официальными организациями.

Почему так настойчиво обращаются к Адаму Русаку? Да потому, что сами выехавшие абсолютно ничего не понимают в русском искусстве и без экспертов вынуждены продавать западным коммерсантам иконы за бесценок, как было и в двадцатые годы.

Чтобы так любить и понимать русскую иконопись, надо быть закоренелым русаком. И потому я был уверен, что Русак — это псевдоним. Тем более, что для послевоенной эмиграции псевдонимы были неизбежны, они спасали от выдачи союзниками в руки Смершу или МВД. Оказалось не так. Русак — подлинная фамилия Адама Васильевича. Псевдоним не понадобился, потому что он родился в 1921 году в Западной Белоруссии в Кожангородке, тогда принадлежащем Польше, и значит — не подлежал выдаче согласно ялтинским соглашениям.

В этом году Адаму Васильевичу исполнилось 70 лет, и наша публикация в «Слове» является юбилейной. Надеемся, что исполнится и заветная мечта Адама Васильеви-

ча — ему доверят расписать один из восстанавливаемых православных храмов у себя на родине..

У них в семье было крепкое хозяйство, но отец увлекся левыми идеями, стал коммунистом и после прихода к власти Пилсудского, скрываясь от преследований, бежал в СССР. Спустя несколько лет семья, распродав все хозяйство, выехала к нему, но отец уже был с другой, а власти им предложили или срочно возвращаться в Польшу, пока не истек срок визы, или ехать на стройку в Сибири. Они вернулись, а отец погиб позже в одном из лагерей.

В школе Адам учился на «отлично» и, как лучший ученик, попал в гимназию — стипендиатом, на бесплатное обучение. Гимназию в Пинске он тоже окончил на «отлично» в июне 1939 года. В гимназии Адам начал серьезно заниматься живописью. Ему повезло с учителем рисования — Александром Ивановичем Лозицким, выпускником Краковской Академии. Вместе с приятелем Петром Михальчуком они после уроков в гимназии ходили к Лозицкому в мастерскую, где Лозицкий и его друг художник Лавров обучали их рисунку, графике. Позже Александр Лозицкий жил в Минске, а Лавров в Москве.

В 1939 году Западная Белоруссия была возвращена белорусам. Пришла Советская власть. Для советских вузов диплом гимназии не годился, и Адаму пришлось еще раз заканчивать школу, уже по программе советской. Одновременно он учился в Пинской областной художественной студии еще у одного прекрасного педагога Сергея Муханова, ныне живущего в США. В этой же студии вел живопись Роман Рабцевич, тоже выпускник Краковской художественной Академии. Вот, пожалуй, и все учителя Адама Русака в довоенный период. Он занял первое место на областной выставке в Пинске, его работы, как лучшие, были посланы в Минск, на республиканскую выставку молодых художников. Там тоже на них обратили внимание ведущие белорусские художники и рекомендовали Адама Русака в московский Суриковский институт. Шел 1941 год. Адам окончил первую белорусскую десятилетку в Пинске, где директором был Алексей Полунин, будущий знаменитый партизанский командир. Полунин его и отправлял в Москву — учиться, ночевали в Бресте на вокзале 21 июня, ждали поезда на Москву, а попали под бомбежку. Адам вернулся в родной Кожангородок, где жила мать, работал при немцах на мельнице, но был вместе со многими подростками угнан в Германию на работы, попал в Силезию. Его, как художника, определили маляром на военном заводе. После Пражского манифеста в конце 1944 года записался во власовскую армию, там на курсах в Дабендорфе его и застало окончание войны. Попал в знаменитый своими выдачами Платтлингский лагерь, где много рисовал. Его рисунки той поры — документальное свидетельство послевоенного лагерного быта, как стихи Ивана Елагина, как рассказы Бориса Филиппова. Вместе с другими «платтлингцами» составил сборник «Русская мелодия». Предисловие написал Юрий Музыченко, позже взявший псевдоним Письменный, главным поэтом был князь Николай Николаевич Кудашев. Многие авторы сборника потом попали в сталинские лагеря, они и в лагере предчувствовали это: «Бавария. Лагерь. Тюрьма. / На сердце — тоскливая осень. / Впереди — Енисей, Колыма, / Тайги суровая проседь». Русаку выдача не угрожала, он родился не на территории Советского Союза, не надо было и выдумывать биографию. Как вспоминает Русак, один из его приятелей выдал себя за румына, в проверочной комиссии американской армии нашли и румына, тот стал расспрашивать несчастного узника на румынском, убедился в полнейшем незнании. Приятель Русака объясняет нахально, что упал, мол, заболел и родной язык забыл полностью. Румын подивился наглости и сказал: «Так лихо врать в глаза могут только румыны», тем и спас от выдачи. Олег Красовский, убедившись, что в проверочной комиссии нет ни одного финна, объявил себя уроженцем Выборга, находились и мнимые турки, мнимые югославы, даже испанцы, якобы привезенные детьми в Советский Союз после поражения республиканцев... Больше всего выдавали себя за западных белорусов и украинцев, и тут нужны были свидетельства знакомых, какие-то доказательства, знание своей «родины». Адам Русак в ту пору многим помог.

Выйдя из лагеря, Адам Русак показал свои «платтлингские» рисунки на конкурсе в Университете УННРА, организованном американцами в помощь беженцам со всей Европы, и поступил в 1946 году на архитектурный факультет в Мюнхене. Конечно, больше привлекала знаменитая Мюнхенская Художественная Академия, но на нее не было средств, да и социальные права беженца не позволили бы поступить. В Университете УННРА беженцы были под социальной защитой. В Академии в то время стал учиться другой известный художник-«дипиец» Сергей Голлербах, тоже представитель второй эмиграции, ныне живущий в США, но он был фольксдойч — русский немец, они не считались в послевоенной Германии беженцами, имели равные со всеми немцами социальные права.

Закончить Университет Русаку не удалось, предложили интересную работу в Швеции, а он уже был женат, и к тому же существование Университета было под вопросом. УННРА ликвидировали, как только закончился основной поток беженцев, а новая организация в помощь беженцам — ИРО — имела более скромные возможности.

В Швецию в 1950 году Адам Русак ехал, уже получив известность как художник и иконописец. Кроме архитектурного факультета, он два года занимался в мюнхенской частной студии Людвига Орни, иконописи его обучал известный палехский художник, оказавшийся тоже в Мюнхене, Л. Латышев. Отец Александр Киселев, священник власовской армии, ныне один из руководителей журнала «Русское Возрождение», организовал после войны в Мюнхене Русский Христианский Центр, там читались лекции, при Центре была православная церковь. Издавались книги первых дипийских авторов — Кленовского, Зандера и др. Для домовой церкви этого Центра Адам Русак нарисовал свою первую икону: «Благовещенье. Царские врата». Один из руководителей Центра известный философ, живший с двадцатых годов в Германии, активно помогавший второй эмиграции, Федор Степун, увидев икону Русака, начал уговаривать художника не бросать иконопись, а стать во главе возрождения современной русской иконописи. Он стал «крестным» отцом начинающего иконописца. Сначала Адам Русак писал иконы для себя, овладевал приемами старой школы, изучал древнюю иконопись. Больше всего по душе пришлась древняя новгородская школа, которой художник верен до конца.

Живет Адам Васильевич сейчас во Франкфурте, недалеко от церкви. Небольшая квартира, где все стены увешаны картинами. Мне очень нравятся его портреты. Всегда виден характер героя. Вот из шведской серии — портрет Николая Басукова. Моряк, капитан, командир торпедного катера, прорвавший морскую блокаду немцев и ушедший с катером в нейтральную Швецию. Это тоже — неизвестный эпизод войны. Советские военнопленные, бежавшие из финских лагерей с риском для жизни, моряки из разных портов Балтики, сумевшие не нарваться на мины, уйти от финских и немецких подлодок и катеров, — по всем правилам это герои. Но спрашивают у Ивана Твардовского, брата нашего знаменитого поэта, добровольно вернувшегося из сытой Швеции в голодную послевоенную Россию: почему он бежал из финского концлагеря не в СССР, а в Швецию? Да и вообще, зачем он бежал, зная, что победа Советской Армии неизбежна, а значит, и возвращение военнопленных? Бежал — значит не мог в тот момент возвращаться на Родину? От шведов тоже требовали насильственной выдачи всех оказавшихся в этой нейтральной стране советских граждан. Шведы не препятствовали работе советских репатриационных миссий, но, к счастью, невозвращенцам особых препятствий не чинили. Так и остался боевой моряк Николай Федорович Басуков в Швеции. На портрете — умный, спокойный, сдержанный, но решительный человек. Много видевший, много переживший.

У Русака было немало выставок. Будем надеяться, что состоится выставка и на русской земле.



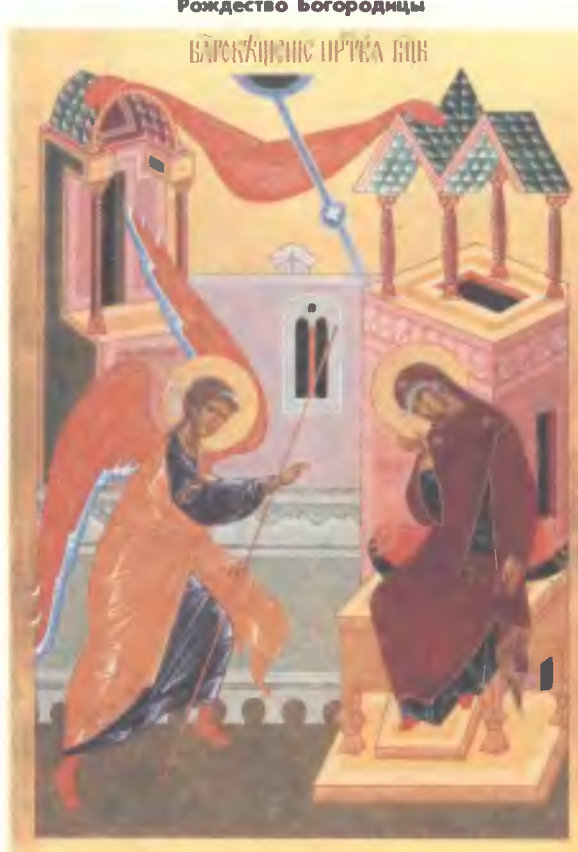
Икона Петр и Павел



Рождество Богородицы



Вход Богородицы во храм



Благовещенье



Рождество Христово

ИСКУССТВО Встречи в Русском Зарубежье. Адам Русак



Сретенье



Крещение



Вход в Иерусалим



Преображение



Св. Николай чудотворец

Вознесение

Успение

ИСКУССТВО. *Встречи в Русском Зарубежье. Адам Русак*

Сошествие св. Духа



Богоматерь

ЗАКОНЪ БОЖІЙ

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ДНИ ПАМЯТИ СВЯТЫХ

ДЕКАБРЬ

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
5 декабря — Блгв. кн. Михаила Тверского (1318).
6 декабря — Блгв. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. Воронежского (1703).
7 декабря — Вмц. Екатерины (305—313).
9 декабря — Свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1731).
10 декабря — Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».
13 декабря — Апостола Андрея Первозванного (62).
16 декабря — Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского (1406).
17 декабря — Вмц. Варвары (ок. 306).
18 декабря — Прп. Саввы Освященного (532).
19 декабря — Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (ок. 345—351).
20 декабря — Прп. Нила Столобенского (1554).
23 декабря — Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754).
25 декабря — Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).

Раздел первый

СОВЕРШЕНИЕ ТАИНСТВА ЕВХАРИСТИИ

Со дня Пятидесятницы Апостолы и, по их примеру, все христиаие, стали собираться для совершения Евхвристии в «день Господень», т. е. в воскресенье, исполняя повеление Господне: «сие творите в Мое воспоминание» (Лук. 22,19). Таким образом, в христианстве воскресенье заменило ветхозаветную субботу, которая была установлена в напоминаиие Божия Завета с древним Израилем. Христиане являются «новым Израилем», с которым Бог заключил Новый Завет в Своем Сыие. Воскресный день, заменив субботу, об этом свидетельствует, и потому нельзя быть членом Церкви, не участвуя регулярно в воскресной Евхаристии.

Христос воскрес в день воскресный; Святой Дух сошел на Церковь тоже в воскресенье (Деян. 1), и потому в воскресенье же Церковь иеопустительно призывает Святого Духа, и Он осуществляет посреди нас и в нас Божие присутствие: хлеб и вино становятся Телом и Кровью Господа Иисуса Христа.

Впоследствии, когда стали совершать Евхаристию ие только по воскресеньям, но также иа некоторые праздники и в дни памяти святых мучеников, значеиие таинства нисколько не измеиилось. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11, 26).

В Православной Церкви, как было и в первохристианских общииах, совершение Евхаристии сохраняет общественный характер. Как таинство любви и едиiения, Евхаристия совершается всею Церковью, она

Окончание. Начало в №№ 1—10/1991.



есть «общее дело» всех верных, по-гречески «Литургия». Тем не менее, с самого начала в Церкви Христовой не было единообразия в совершении таинства Евхаристии, хотя в основном оно одно и то же. В наши дни совершается литургия по чину либо святого Иоанна Златоуста, либо святого Василия Великого, иногда святого Иакова брата Господня. Наконец, в некоторые дни Великого Поста совершается вечерия с причащением святыми Дарами, освященными в предыдущее воскресенье; эта служба называется «литургией преждеосвященных Даров».

Чин литургии состоит из трех частей.

1. Проскомидия, или приготовительная часть. Слово «проскомидия» означает приношение, так как в это время священнослужители приготовляют принесенные верующими для совершения бескровной жертвы хлеб и вино, не случайно для сего выбранные Господом.

Хлеб есть символ единения: так, в древней молитве (Дидахи, 9) говорится: «Как этот хлеб был рассеян по холмам и, будучи собран, стал единым, так да будет собрана Церковь Твоя от концов земли в Твое Царство».

Виноград таит в себе необыкновенную растительную силу, а изготавливаемое из него вино (при умеренном употреблении) дает бодрость и, по словам Псалмопевца, «веселит душу человека» (Пс. 103).

Установление и преподание таинства на трапезе, т. е. в виде совместного вкушения пищи, обнаруживает глубочайшее о нас промышление Божие, так как уже наше обычное питание и домашний стол являются образом Божественной трапезы и, в некоторой мере, приготовляют нас к ней. Через питание человек обретает жизненную силу, а домашнее совместное принятие пищи есть время дружеского общения.

Хлеб для литургии называется «просфора», что тоже значит приношение. Он должен быть приготовлен на дрожжах, так как слово «артос», которым в Евангелии обозначен хлеб, преломленный на Тайной Вечере, означает именно хлеб квасной. Во время проскомидии священник располагает на дискосе части хлеба: в центре полагается «Агнец», который на литургии становится Телом Господним, вокруг — частицы в память Пресвятой Богородицы (справа), за святых (налево), за живых и за усопших (внизу). Такое расположение частиц на дискосе является наглядным изображением Церкви вокруг Спасителя.

2. Литургия оглашенных. На этой части литургии имеют право присутствовать «оглашенные», т. е. готовящиеся к святому крещению. Приготовление ко крещению осуществляется прежде всего через слышание Священного Писания.

Но и для крещеных Значение Священного Писания велико. Чтение и усвоение Священного Писания следует приравнять, по своему значению, к таинствам Церкви. Внимая Слову Божию, верующие уже приобщаются Христу, так как Слово Божие есть Сам Бог и заключает в себе творческую силу. Поэтому чтение Апостола и в особенности Евангелия во время богослужения обставлено исключительной торжественностью. Ему предшествует вход с Евангелием, изображающий выход Господа на проповедь, во время которого чаще всего поются заповеди блаженства, заключающие основу учения Христа о духовном восхождении человека. После малого входа поются песнопения (тропари и кондаки), относящиеся к празднуемым событиям дня, а после них — «Трисвятое», непосредственно перед чтением Апостола и Евангелия.

Уже древний Израиль стал «народом Божиим», ветхозаветной Церковью, именно потому, что был призван принять и хранить Божественный закон, хотя еще и не имевший полноты Откровения. На литургии оглашенных, через уста священнослужителя, Сам Господь обращается к нам, так же как Он некогда обращался к внимающим Ему ученикам и народу.

Освящающее действие Слова Божия есть наилучшее подготовление к совершению самого таинства Евхаристии.

Литургия оглашенных заканчивается общей молитвой о различных нуждах христиан (сугубая ектения), иногда молитвой об усопших и, наконец, об оглашенных. В этих молитвах выражается желание молящихся нести скорби и тяготы друг друга, и верующие объединяются во взаимной заботе друг о друге.

3. Литургия верных, на которой присутствуют только крещеные члены Церкви. Во время пения так называемой «Херувимской» песни, которая призывает верующих отрешиться от всех земных попечений, совершается торжественное перенесение чаши и дискоса с жертвенника на престол, называемое великим входом. Это священнодействие, как и последующие, напоминают молящимся о шествии Господа на Голгофу, о Его крестных страданиях, смерти и погребении.

Последующее пение Символа Веры служит объединением всех в созерцании высших истин христианской веры. После исповедания веры начинается самая существенная часть литургии — Евхаристический канон, во время которого совершается освящение Даров (Анафора).

Молитвы Евхаристического канона читаются предстоятелем, то есть старшим священнослужителем, епископом или священником, от лица Церкви. Они обращены к Богу-Отцу, и в них возносится благодарение за все спасительное промышление Божие о мире; затем благодарение за искупительное служение Богочеловека и за установление таинства Евхаристии; призывание Святого Духа «на нас и на Дары» и, наконец, молитва за Церковь.

Призывание Святого Духа, по-гречески эпиклезис, признается Православной Церковью главным священнодействием литургии, совершительным для таинства Евхаристии. Католическое учение о «пресуществлении» хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы разумеет некоторое превращение одной субстанции в другую. От хлеба и вина, согласно этой доктрине, остается только видимость, или своего рода иллюзия.

Православное учение не таково. Благоговея перед чудом Евхаристии, Учители Православной Церкви не стремились разъяснить великое чудо в схоластических терминах. Слову «пресуществление» они предпочитают преложение и, вместо определений, избирают аналогии, например, раскаленное железо, оставаясь железом, одновременно делается огнем.

«Это», указывая на хлеб, говорит Господь, «есть Тело Мое», и «это», указывая на вино, «есть Кровь Моя».

Слово «это» утверждает наличие материи хлеба и вина, но слово «есть» знаменует, что здесь есть наличие Тела и Крови. Духовное Тело Господа не ограничено ни временем, ни пространством; на земле нет ограничения Его присутствия, поэтому и нет смысла говорить о превращении. Один учитель Православной Церкви пишет: «Видится хлеб и вино, и обоняется хлеб и вино, и осязается хлеб и вино, обнаруживаются же и являются святые Тайны через действие свое. Так открылся и Бог, прикрытый человечеством».

В связи с таинственным присутствием Господа в святых Тайнах следует еще помнить, что после Своего вознесения Господь Иисус Христос пребывает одесную Отца, вне чувственного (эмпирического) мира, и Его присутствие в святых Дарах не есть Его возвращение на землю.

Протестанты, в противоположность православным и католикам, или вовсе отрицают наличие в святых Дарах Тела и Крови Господа, почитая таинство за простой обряд воспоминания, или же считают, что Тело и Кровь в самый момент причащения как бы сопровождают хлеб и вино. Есть среди них и такие, которые считают, что во время вкушения простого хлеба и вина, по вере вкушающего, они просто обретают некоторые благодатные дары. Все это в корне противоречит православному пониманию таинства, основанному на самом древнем предании и на словах Господа, сказанных как на Тайной Вечере, так и в беседе в Капернаумской синагоге (Иоан. 6, 51—57).

По учению Православной Церкви, установительные слова («Приимите, ядите» и последующие) хотя и вводят нас в самое существо таинства, все же его не завершают. По учении же Римской Церкви именно во время произнесения этих слов совершается пресуществление святых Даров. У католиков священник во время совершения таинства признается заместителем Христа, и вместе с тем, он как бы отрывается от Церкви, что выражается, между прочим, в совершении молчаливых литургий и в том, что только священник причащается под двумя видами — Тела и Крови Господа, тогда как миряне причащаются только Тела Христова.

Православная Церковь учит, что таинство через епископа или священника совершается всею Церковью, при наличии собрания верующих (хотя бы двух, включая священника), притом на надлежащим образом освященном престоле или антиминсе и, конечно, не иначе, как во время Литургии, которая является единым, неразделимым целым. Поэтому освящение Даров совершается как бы постепенно, все нарастая, и под конец только завершается, но не при установительных словах, а при последующем призывании Святого Духа (эпиклезис).

В прежнее время все присутствующие на литургии христиане приступали к причащению святых Таин. Отцы и Учители Церкви единогласно указывают на необходимость регулярного причащения, конечно принимая во внимание предостережение Апостола Павла: «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест хлеба сего и пьет из чаши сей» (1 Кор. 11, 28). Тем не менее, Евхаристия, как общая трапеза, установлена Самим Господом, и потому мы не должны отказываться от участия в ней, разве только считая себя чуждыми Христу и Его Церкви.

Евхаристия есть источник новой жизни во Христе Иисусе.

Публикуется по изданию: Епископ Александр / Семенов-Тян-Шанский /. Православный катехизис. Второе издание. Париж, 1979 г.

Раздел второй

ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕНТИН СВЕНЦИЦКИЙ

О БЕССМЕРТИИ

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Почему?

ДУХОВНИК. Один великий человек сказал, что абсолютная истина и абсолютная нелепость одинаково не требуют доказательств.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Как не требуют? Выводы, к которым пришел ты в своих рассуждениях, ужасны — но нельзя заставить себя «веровать» из страха перед неизбежностью принять их. Твои рассуждения могут привести человека к такому безнадежному решению: ничего, кроме материи, не существует. Я в этом убежден. Из этого следует, что человек — автомат, добра и зла не существует и жизнь человеческая не имеет никакого смысла. Это ужасно. Но пусть так. Если эти выводы неизбежны, я принимаю эти выводы. Что можешь сказать ты такому человеку в защиту веры, чем опровергнешь его неверие? Неужели, по-твоему, с таким человеком просто не стоит разговаривать?

ДУХОВНИК. Нет, ты не понял меня. В конечном итоге вера и неверие логически одинаково недоказуемы. Что может сделать логика? Она может вскрыть ложь основной посылки, показав, к каким нелепым выводам эта ложная посылка приводит. Но если человек лучше готов принять явно нелепые выводы, чем отказаться от этой посылки, — тут «логика» бессильна. Такому человеку можно помочь иным путем. Ему не надо доказывать, а надо раскрыть положительное содержание истины. И если непосредственное чувство подскажет ему, что это действительно истина, — он ее примет.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Какого метода ты будешь держаться со мною?

ДУХОВНИК. И того и другого. Говоря о бессмертии, я пользовался логическим методом, потому что ты обещал мне в случае явно нелепых выводов остаться при своих утверждениях о свободе воли, добре и зле и смысле жизни и отказаться от неверия в бессмертие как основной посылки. Что же касается всех наших разговоров в их совокупности, я надеюсь, что они дадут то, что достигается вторым методом, т. е. раскроют перед тобою самое содержание истины. Но это касается будущего. А теперь вернемся к нашим рассуждениям и подведем итог к сказанному.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Хорошо. Подводи итог, но потом я должен сказать тебе еще нечто.

ДУХОВНИК. Прекрасно. Итак, рассмотрение веры в бессмертие привело нас к следующим выводам. Во-первых, вера в бессмертие не так противоречит разуму, как кажется с первого взгляда, потому что и в материальном мире есть явления, не вполне совпадающие с обычным нашим представлением о веществе. Во-вторых, условно допустив истинность отрицания всякого бытия, кроме вещественного, мы пришли к целому ряду логически неизбежных нелепых выводов — как отрицание свободы воли, разли-

---

«О Бессмертии» — из рукописной книги «Диалоги». Первая публикация. Продолжение. Начало в № 10/1991.

чия добра и зла и смысла жизни. В-третьих, эти нелепые выводы, противоречащие непосредственным и несомненным данным нашего сознания, заставили нас опровергнуть основную посылку, из которой они вытекали, т. е. наше утверждение, что никакого иного мира, кроме вещественного, не существует и человек является лишь частицей этого вещественного мира.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Да, правильно. Только последнее я бы не мог принять в столь категорической форме. Я бы сказал так: эти выводы поставили под вопрос истинность основной посылки о том, что человек только частица вещества.

ДУХОВНИК. Пусть для тебя это будет так — твое субъективное состояние от моей логики не зависит. Но логически, т. е. объективно, я утверждаю, что неизбежно не только поставить под вопрос эту основную посылку, а отвергнуть ее совершенно.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Допустим. Но для меня важна не столько отвлеченная, или, как ты говоришь, объективная истина, а именно субъективная уверенность. Вот к этому имеет отношение и то, что я хотел тебе сказать.

ДУХОВНИК. А именно?

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Можно ли назвать верой то, что дают какие бы то ни было рассуждения?

ДУХОВНИК. Конечно, нет.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Вот видишь, и ты согласен с бесплодностью рассуждений. Меня, по крайней мере, вполне убедить могут только факты, потому что безусловную уверенность всегда дает опыт. Отвлеченные доказательства в лучшем случае приводят к мысли, «а может быть, и так». Если бы логика в отвлеченных вопросах имела силу математических доказательств — тогда — да, она могла бы заменить факты. Но этого нет. И если я не знаю, что тебе возразить, из этого не следует, что ты убедил меня. У меня силу твоих рассуждений подтачивает мысль: а как же другие? Сколько великих ученых не имеют веры и признают только материальный мир. Неужели им неизвестны эти рассуждения? Очевидно, возражения есть, только я их не знаю. Иначе все должны были бы стать верующими. Ведь все признают, что земля движется вокруг солнца и что сумма не меняется от перемены мест слагаемых. Значит, бессмертие — не математическая истина. Эти соображения превращают для меня твою истину в простую возможность. Но возможность в вопросах веры — это почти ничего.

ДУХОВНИК. Представь себе, я согласен со многим из того, что ты сказал. Но выводы мои совсем иные. Прежде чем говорить об этом, уклонюсь в сторону: об ученых и математических доказательствах. Ведь нам с тобой придется говорить о многом, и это пригодится.

Вот ты сказал о неверующих ученых, что в тебе их имена подтачивают веру. Но почему тогда имена верующих великих ученых не подтачивают безусловной твердости твоего неверия? Почему ты также не хочешь сказать: «Неужели им неизвестны рассуждения неверующих людей? Очевидно, возражения есть, только я их не знаю. Иначе все должны бы стать «неверующими». Ведь тебе известны слова Пастера: «Я знаю много и верую, как бретонец, если бы знал больше — веровал бы, как бретонская женщина».

Ты прекрасно знаешь, что великий физик Лодж, председательствуя в 1914 г. на международном съезде естествоиспытателей, заявил в публичной речи о своей вере в Бога. Ты знаешь, что наш Пирогов в изданном после его смерти «Дневнике», подводя итог всей своей жизни, говорит: «Жизнь-матушка привела, наконец, к тихому пристанищу. Я сделался, но не вдруг, как многие, и не без борьбы, верующим...»

«Мой ум может уживаться с искренней верой. И я исповедую себя весьма часто, но не могу не верить себе, что искренно верую в учение Христа Спасителя...»

«Если я спрошу себя теперь, какого я исповедания? Отвечу на это положительно — православного, того, в котором родился и которое исповедывала вся моя семья».

«Веру я считаю такою психологическою способностью человека, которая более всех других отличает его от животного...»

А Фламмарион, Томсен, Вирхов, Лайель? Не говоря уже о великих философах и писателях. Неужели все эти великие ученые чего-то не знали, что знаешь ты, и неужели они знали меньше, чем рядовой современный неверующий человек? Почему эти имена не заставляют тебя сказать о неверии хотя бы то же, что ты говоришь о вере: «Эти соображения превращают для меня неверие в простую возможность».

Теперь о математических истинах. Даже и здесь не так все «безусловно», как тебе кажется. Иногда элементарные математические истины находятся в видимом противоречии с математическими истинами высшего порядка. В элементарной геометрии мы знаем «математическую истину», что все точки двух параллельных линий отстоят друг от друга на равном расстоянии. Но высшая математика утверждает, что параллельные линии в бесконечности пересекаются. Из элементарной арифметики мы знаем «математическую истину», что сумма не изменяется от перемены мест слагаемых. Но механика утверждает, что сумма сил от перемены их места меняется.

Вернемся теперь к вопросу о значении рассуждений в деле веры. Да, ты прав, когда говоришь, что безусловную веру может дать опыт. Не факты, а именно опыт. Каждый факт можно взять под «сомнение». Опыт — дело другое. Опыт и есть самое твердое основание веры. Таким образом, из твоей верной оценки относительно значения отвлеченных рассуждений вывод должен быть таков: пока у человека не будет религиозного опыта, ни факты, ни рассуждения не дадут ему настоящей веры. Без этого опыта он может лишь «допускать» истинность того, чему учит вера, но всегда с оговоркой, «а может быть, и не так». Если ты видишь солнце своими собственными глазами, неужели твоя уверенность, что оно существует, хоть сколько-нибудь зависит от того, что его видят и другие. И неужели, если бы большинство потеряло способность видеть солнце и стало утверждать, что его нет, то поколебался бы в том, что видел собственными глазами, и стал бы говорить о солнце, что, «может быть», оно существует.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Но я не понимаю, какой «опыт» может дать уверенность в бессмертии.

ДУХОВНИК. Внутреннее чувствование своего духовного бессмертного начала.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Но солнце видят все, а «чувствование», о котором ты говоришь, имеют «некоторые».

ДУХОВНИК. Да. И на это есть свои причины. Большинство людей живет не духовной жизнью. Высшее таинственное начало в человеке, которое именуется духом, остается вне их жизни. Естественно, что теряют они и самое чувствование своей духовной природы. Оно совершенно заслонено и подавлено реальными чувственными впечатлениями и переживаниями. Все живут телесной жизнью, и потому все имеют чувственный опыт. Но не все живут духовной

жизнью, и потому не все могут иметь духовный опыт. Надо глубоко заглянуть в свой внутренний мир. Надо вызвать к жизни заглохшее духовное начало, надо начать «питать» его духовной пищею, и тогда, мало-помалу в этих внутренних переживаниях все несомненнее и несомненнее раскроется реальность души, подлинность вечного начала, существенное различие в человеке его телесности и того, что не подлежит тлению. Все, что касается внутренней жизни, трудно выразить словами. Поэтому трудно «описать» и тот опыт, о котором ты спрашиваешь. В этом опыте ты почувствуешь жизнь совершенно по-новому, ты как бы погрузишься в нее весь, и это откроет тебе, что сущность ее совершенно иная, чем вещество. Ты будешь ощущать какое-то соприкосновение через это ощущение жизни с другим миром, невещественным, и иными человеческими душами, ты будешь улавливать такие оттенки внутренних состояний, которых раньше не замечал и которые явно неземного происхождения. Тебе откроется постоянное действие на тебя сил, ничего общего не имеющих с теми силами, которые действуют в вещественном мире. Ты начнешь входить через эти переживания своей душой в совершенно иной мир, и твое тело и мир вещественный станет тяготить тебя своей косностью и тяжеловесностью. Ты с радостью будешь уходить в себя, чтобы побыть в том другом мире, который станет для тебя дороже, ближе и роднее, чем косный и тяжеловесный материальный мир. И чем более духовен человек, тем непреложнее для него свидетельствует этот внутренний опыт об особом непостижимом, но несомненном духовном мире, к которому принадлежит и его бессмертный дух.

Неверие, т. е. отсутствие этого непосредственного знания бессмертия, начнет казаться таким же странным, какой показалась бы человеку, имеющему зрение, потеря не у слепого человека способности видеть солнце. В самом деле создается такое положение: стоит человек, имеющий в себе живое, неопровержимейшее доказательство и иного невещественного мира, и вечной своей жизни, и утверждает, что ничего, кроме вещества, не существует, что никакой вечной жизни нет и что его «разум» не может принять такой бессмыслицы, как «бессмертие».

Казалось бы, и размышлять нечего, и логики никакой не требуется, и никаких других фактов не надо, кроме одного, который в тебе самом, перед твоим внутренним зрением, но который ты упорно не желаешь видеть. Докажи бессмертие. Заставь меня поверить. Приведи факты. Ну, конечно, самое убедительное, что могло бы быть, — это не философские рассуждения о свободе, о добре и зле, о смысле жизни, а собственный опыт, т. е. если бы человек мог заглянуть в свою душу и там ощутить свое бессмертие.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Но тогда вопрос переносится в другую плоскость, то как этого достигнуть?

ДУХОВНИК. Да. Это уже совершенно иной и очень большой вопрос... Говорить об этом вопросе — значит говорить о Церкви, о таинствах, о молитве и о многом другом. А как можно говорить об этом, не имея веры в Бога.

НЕИЗВЕСТНЫЙ. Так не лучше ли нам и перейти к вопросу о Боге.

ДУХОВНИК. Хорошо. Я тоже думаю, что с этого начать лучше всего.

Публикация М. КОЗЛОВА.

Диалог второй — в следующем номере.

ВСПОМОЩЕСТВОВАНИЕ

Братья и сестры!

В Москве, на Миусском кладбище, восстанавливается церковь во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, построенная в 1823 году по проекту архитектора А. Ф. Элькинского на средства купца И. П. Кожевникова. При церкви до революции существовала богадельня, основанная А. А. Нероновой.

В 30-е годы храм закрыли, все здание подвергли перестройке, исказившей его облик. Была уничтожена 33-метровая колокольня, возведенная в 1911 году.

В июне 1990 года здание церкви было передано верующим, а в сентябре возобновлено регулярное совершение богослужений.

Восстановление храма требует больших затрат. Желающие помочь прихожанам могут переводить денежные пожертвования на:

расчетный счет № 701905 в Кировском филиале Московского Индустриального банка.

Возрождается знаменитая Дивеевская обитель, основанная трудами и молитвами преподобного Серафима Саровского. Именно сюда, в Дивеево, были торжественно перенесены 1 августа 1991 года святые мощи Преподобного.

При Своем явлении преподобному Серафиму Матерь Божия сказала о дивеевских сестрах:

«Кто обидит их, тот поражен будет от Меня; кто послужит им ради Господа, тот помилован будет пред Богом».

Пожертвования на восстановление Троицкого собора Дивеевской обители можно направлять на

р/счет № 701001 Дивеевского отделения Агропромбанка с пометкой «Троицкий собор».

Материалы «Закона Божьего» готовит Алексей Светозарский.

**«Созижду Церковь мою,
и врата адова
не одолеют ее»**





«Созижду Церковь мою, и врата адова не одолеют ее»





ВЕЧНЫЕ СПУТНИКИ

ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ



Анна Григорьевна Достоевская с детьми — Федором и Любой

ЛЮБОВЬ ДОСТОЕВСКАЯ

На каторге

Когда человека внезапно вырывают из его среды и вынуждают годами жить в окружении, совершенно ему не свойственном, с людьми, способными по низости своей и недостатку воспитания навредить ему и причинить страдания, ему приходится сразу же изыскивать средство парировать по крайней мере самые тяжелые удары, намечать для себя план поведения и выбирать позу. Одни презрительно замыкаются в себе, надеясь, что их оставят с миром; другие начинают заискивать и пытаются купить покой с помощью самого низкого лакейства.

Достоевский, осужденный на несколько лет каторги и вынужденный жить среди страшных преступников, избрал другой путь; он взял тон христианского братства. Такое поведение не было ново для него; он уже упражнялся в нем, когда еще совсем маленький потихоньку пробирался к решетке отцовского сада, чтобы побеседовать с пациентами Мариинской больницы для бедных, и бывал за это наказан; или же в деревне, когда он разговаривал с крепостными в Даровом и внушал к себе симпатию, помогая крестьянкам, работающим на поле. Потом он так же братски будет относиться к бедным людям Петербурга, которых он встречал в чайных и трактирах столицы, с которыми играл в биллиард и которых угощал, изучая их, пытаясь проникнуть в тайники их сердец.

Достоевский понимал, что он не сможет стать большим писателем, описывая одни лишь элегантные салоны и их хорошо вымытых и напомаженных посетителей в ловко сидящих фраках, с модными галстуками, но пустой головой, бесцветной душой и угасшим сердцем. Истоки каждого писателя в народе, в простых душах, которых хорошее воспитание еще не научило скрывать свои страдания за банальными словами. Мужики Ясной Поляны бóльшему научили Толстого, чем его московские друзья. Крестьяне, с которыми охотился Тургенев, дали ему больше оригинальных идей, чем его европейские друзья. Также и Достоевский зависел от бедных и инстинктивно с самого детства искал средства и пути сближения с ними. Эта способность, которую он уже наполовину усвоил, оказала ему в Сибири большую услугу.

Достоевский не скрыл от нас, как ему удалось завоевать симпатии каторжников. В романе «Идиот» он подробно рассказывает о своих первых шагах. Князь Мышкин, потомок длинного ряда представителей европейской культуры, путешествует в один из холодных зимних дней. Он — русский, но всю юность провел в Швейцарии и поэтому плохо знает свое отечество. Его очень интересует Россия, она влечет его; он хотел бы постичь ее душу и разгадать ее тайны. Поскольку князь беден, он путешествует в третьем классе. Он не сноб; его простые и грязные спутники не вызывают у него отвращения. Они первые истинные русские, которых он видит; в Швейцарии он встречал только наших интеллектуалов, подражавших европейцам, или политических эмигрантов, говоривших на ломаном русском языке и, несмотря на это, выдававших себя за истинных патриотов и носителей святой мечты нашего народа.

Князь Мышкин, конечно, понимал, что до сих пор он видел только копии и карикатуры; теперь он хотел познакомиться с оригиналом. Он с симпатией смотрел на своих товарищей по 3-му классу и ждал первых слов, чтобы завязать беседу. Его попутчики, в свою очередь, с любопытством разглядывали его. Никогда еще они не видели вблизи столь удивительную птицу. Вежливые манеры, европейская одежда князя казались им смешными. Они начали переговариваться друг с другом, чтобы позабавиться над ним, повеселиться, рассеяться за его счет. Они грубо смеялись и толкали друг друга локтями, как только услышали первые слова князя Мышкина; но когда он продолжал говорить, они перестали смеяться. Его восхитительная вежливость, отсутствие снобизма, та естественность, с которой он обращался с ними, как с равными, как с людьми его круга, позволили им предположить, что перед ними чрезвычайно удивительное и редкое существо, истинный Христос.

И уже молодой Рогожин чувствует, как притягивает его к себе эта христианская доброта, и спешит доверить этому благородному незнакомцу, слушающему его с интересом, свою сердечную тайну. Хотя Рогожин почти необразован, но он развит интеллектуально; он понимает нравственное превосходство Мышкина. Он восторгается им, склоняется перед ним, но ясно видит, что бедный князь — большой ребенок, наивный мечтатель, не имеющий никакого представления о жизни. Рогожин же хорошо ее знает, эту суровую и ужасную жизнь, он знает, как злы и безжалостны люди. Желание защитить этого достойного любви князя овладевает благородным сердцем Рогожина. «Приходи ко мне, — говорит он ему, расставаясь с ним на вокзале в Петербурге. — ...Одену тебя в кунью шубу... фрак тебе сошью первейший... денег полные карманы набью».

В холодный зимний день Достоевский прибывает в Сибирь. Он путешествует «3-м классом», т. е. в обществе воров и убийц, которых родное отечество отсылает подальше от себя, в различные остроги Сибири. С любопытством смотрит он на своих новых попутчиков. Вот, наконец, она, истинная Русь, которую он напрасно искал в Петербурге! Вот они, эти русские, эта странная смесь из славян и монголов, сумевших завоевать шестую часть земного шара!

Достоевский изучает угрюмые лица своих попутчиков и с ясновидением, присущим в большей или меньшей степени всем писателям, уже может угадывать их мысли и читать в их детских сердцах. Он с симпатией рассматривает арестантов, идущих рядом с ним, и ждет только первого их слова, чтобы вступить с ними в разговор. Арестанты же смотрят на него с любопытством, но неблагосклонно. Разве он не дворянин, не принадлежит к тому проклятому классу вечных тиранов, обращавшихся со своими крепостными, как с собаками, и видевших в них лишь рабов, которые всю жизнь должны работать, чтобы их господа могли жить в изобилии? Они начинали говорить с Достоевским, надеясь поиздеваться над ним и поразвлекаться на его счет. Они толкали друг друга локтями и смеялись над моим отцом, когда услышали его первые слова; но по мере того как он говорил, смех и издевки постепенно прекращались.

Мужики увидели перед собой свой идеал, истинного Христа, мудрого и смиренного человека, ставящего Бога превыше всего, который искренне полагает, что ни титул, ни воспитание не могут создать пропасти между людьми, что перед Богом все равны и что образованные люди должны передать свои знания другим, а не гордиться ими. Так представляли себе мужики истинных дворян, настоящих «бар», но те редко встречались на их пути. С каждым произнесенным им словом Достоевский вырастал в глазах его попутчиков.

Добрая слава о нем последовала за ним на каторгу; его попутчики, оставленные вместе с ним в Омске, рассказали новым товарищам о том, что за удивительный и редкий человек Достоевский, который должен отбывать свое наказание среди них. Некоторые заключенные, обладавшие благородным сердцем, уже изыскивали пути и средства для спасения больного молодого человека, этого мечтателя, так много думавшего о героях своих романов, что у него не оставалось времени для постижения действительной жизни. Заключенные говорили себе, что если для них, с юности привыкших к лишениям и изнурительному труду, жизнь на каторге тяжела, то еще тяжелее это адское существование должно быть для Достоевского, привыкшего к комфорту и, благодаря социальному положению, пользовавшегося всеобщим почтением. Они пытались его утешить, говорили ему, что жизнь долгая, он еще молод и его еще ждет счастье после освобождения. Они проявляли по отношению к нему ту чуткость, которая свойственна лишь русским крестьянам.

В «Записках из Мертвого дома» отец рассказывает, что часто, когда он печально бродил около острога, каторжники присоединялись к нему и расспрашивали его о политике, загранице, дворе, жизни в столицах. «Мои ответы их, видимо, не интересовали, — замечает отец. — Я никогда не мог понять, зачем они спрашивали меня об этом». И все же есть очень простое объяснение: добросердечный каторжник видел моего отца, печально отправляющегося на прогулку, с устремленным вдаль мечтательным взглядом. Его сердце сжималось, ему хотелось развлечь отца. По мнению крестьян, господа не могут интересоваться обычными вещами, и дипломат-крестьянин говорил с моим отцом о

высокой материи: о политике, правительстве, Европе. Ответы его мало интересовали, но цель была достигнута; жизнь возвращалась к Достоевскому, его лоб разглаживался, меланхолия оставляла его.

Но каторжники видели в моем отце не только печального и больного молодого человека; они понимали также его гениальность. Эти необразованные крестьяне вообще не знали, что такое роман; но безошибочным чутьем великого народа они угадывали, что Бог послал на землю этого мечтателя, чтобы он совершил великие дела. Они чувствовали его нравственную силу и обращались с ним так хорошо, как умели.

В «Записках» Достоевский рассказывает, как однажды каторжников повели в баню. Там один из них попросил у отца позволения помочь ему мыться, проделывал это с превеликой осторожностью и поддерживал его, как ребенка, чтобы тот не поскользнулся на мокром полу. «Он мыл меня так, как если бы я был сделан из фарфора», — замечает Достоевский, пораженный такой заботливостью. Отец угадал: в глазах его смиренного товарища он был действительно ценным предметом. Они чувствовали, что он мог оказаться полезен всей России, и защищали его.

Однажды каторжники, возмущенные плохой пищей, которую они получали, устроили своего рода демонстрацию и потребовали, чтобы с ними говорил комендант Омской крепости. Отец считал своим долгом присоединиться к ним, но они не допустили этого. (Я уже упоминала выше, что Достоевский не принял участия ни в одной демонстрации учеников Инженерного училища. Изъявив желание участвовать в демонстрации каторжников, он тем ясно показал, что ценит ее выше демонстраций русских дворян и интеллигентов.) «Твое место не здесь», — кричали ему со всех сторон и потребовали, чтобы он вернулся в острог.

Каторжники, конечно, знали, что они будут подвергнуты тяжелому наказанию за свой протест против плохого питания, и хотели, чтобы Достоевский избежал его. Эти униженные крестьяне обладали рыцарской душой. Они были великодушнее по отношению к моему отцу, нежели его петербургские товарищи, те ничтожные и заурядные писатели, превзошедшие себя в изобретении средств, призванных отравить его юную литературную славу.

Когда Достоевский хочет изобразить в каком-нибудь герое себя самого и рассказать нам о каком-то периоде своей жизни, он наделяет этого героя всеми мыслями и чувствами, которые были присущи ему в тот период. То, что князь Мышкин, герой романа «Идиот», не преступник и никогда не бывший осужденным, приезжая в Петербург, говорит лишь о последних мгновениях приговоренного к смерти, кажется несколько странным. Чувствуешь, что он совершенно поглощен этой мыслью.

Объясняя эту странность, Достоевский рассказывает, что директор санатория, куда родные поместили бедного князя, взял его с собой в Женеву на казнь. Видимо, у швейцарцев странный метод лечения больных с психическими заболеваниями; не следует удивляться, что им не удалось вылечить бедного князя. Отец использует это за волосы притянутое объяснение, чтобы утаить от широкого читателя, что князь Мышкин — это не кто иной, как несчастный каторжник и политический преступник Федор Достоевский, в течение всего первого года каторги находившийся под впечатлением воспоминания об эшафоте и не способный думать ни о чем другом.

Нет нужды, конечно, доказывать, что никакого снобизма нет в намерении Достоевского изобразить себя в образе князя. Он хотел этим показать, какое огромное нравственное влияние может оказать на народ человек высокой наследственной культуры, если он обращается с ним, как брат и Христос, а не как сноб.

В «Идиоте» князь Мышкин рассказывает о всех впечатлениях осужденного слуге Епанчиных. Когда Епанчины потом спрашивают его о смертной казни, князь отвечает: «Я сказал уже о своих впечатлениях вашему камердинеру, я не хочу больше об этом говорить». Большого труда стоило Епанчиным заставить Мышкина говорить на эту тему. Точно так же ведет себя Достоевский; он рассказывает каторжникам о своих страданиях и отказывается говорить об этом с петербургской интеллигенцией. Сколько ни расспрашивали с жадностью его, Достоевский всегда морщил лоб и менял тему[1].

Удивительно также, что князь Мышкин, влюбляясь в Настасью Филипповну, не становится ее любовником, а молодой девушке, которая его любит и хотела бы выйти за него замуж, он говорит: «Я болен, я не могу жениться». Вероятно, это было убеждение Достоевского в период первой его молодости; мнение свое он изменил только после каторги. Сходство Достоевского с его героем проявляется в мельчайших подробностях. Князь Мышкин приезжает в Петербург без багажа, с одним только узелком, в котором есть немного белья. У него нет ни копейки денег, и только генерал Епанчин дает ему двадцать пять рублей. Достоевский тоже появляется в Сибири с узелком белья, который позволила взять с собой полиция, у него тоже ни копейки, и жены декабристов передают ему 25 рублей, вклеенные между двумя листами Библии[2].

Если каторжники защищали моего отца, то он, в свою очередь, мог оказывать на них большое нравственное влияние. Достоевский слишком скромен, чтобы говорить об этом; об этом позаботился Некрасов. Этот русский поэт был очень дальновиден; уже в первом романе отца, «Бедных людях», который он спешил опубликовать в своем журнале[3], увидел он огромное дарование Достоевского. Когда Некрасов познакомился с ним, его взволновали чистота сердца и благородство души молодого сочинителя. Ничтожество, завистливость, интриги того мира, в котором жили тогда русские литераторы, помешали Некрасову стать близким другом отца; но он никогда не мог его забыть.

Когда Достоевский был сослан, Некрасов часто о нем думал. Этот писатель отличался от других глубоким знанием крестьянской души. Все свое детство он провел в небольшом поместье своего отца и каждое лето возвращался туда. Он, знавший русский народ и знавший также Достоевского, спрашивал себя, каковы отношения между каторжниками и молодым писателем. Поэты мыслят стихами, и Некрасов оставил нам прекрасную поэму «Несчастные», где он говорит о жизни Достоевского среди преступников. Он не называет его — цензура, очень строгая в те времена, не пропустила бы его, — но он читает ее своим литературным друзьям, а потом и самому Достоевскому.

В этой поэме один из каторжников, бывший прежде светским человеком, рассказывает, как он убил свою жену, которую он ревновал. Он был отправлен на каторгу, подружился там с самыми закоренелыми преступниками, пил, играл с ними в карты, презирая их в то же время. Его внимание привлекает один арестант, не похожий на других. Он очень слаб, у него детский голос, светлые волосы, нежные, как пух. (Описывая в «Идиоте» внешность князя Мышкина, Достоевский пишет, что тот был очень худым и производил впечатление больного. Волосы его были настолько светлые, что казались почти белыми.) Он очень молчалив, сторонится других, ни с кем не подружился. Каторжники не любят его за его «белые руки», т. е. за то, что он не может выполнять тяжелой работы. Так как каторжники видят, что он трудится весь день, а результаты невелики, потому что он слаб, они насмехаются над ним и дают ему прозвище «крот». Им доставляет удовольствие издеваться над ним, они смеются, когда видят, как он бледнеет, услышав грубую команду надзирателя.

Однажды вечером каторжники играют в карты, пьют. Один из них, давно уже больной, находится в состоянии агонии. Каторжники издеваются над ним и поют ему «реквием». «Несчастные! Не боитесь вы Бога?» — раздается чей-то ужасный крик. Каторжники с удивлением оборачиваются. Это — «крот», к которому вернулся в этот момент облик человека благородного происхождения. Тихий арестант приказывает им замолчать, почтить последние минуты умирающего, говорит им о Боге и о той пропасти, в которую они низвергнуты. С этого дня он становится господином всех преступников, не утративших сознания своей вины. Почтительная толпа окружает его, жадно внимает его словам. Этот арестант — ученый; он говорит с каторжниками о поэзии, о науке, о Боге, но особенно о России. Он — патриот, восторгающийся своей страной, предсказывающий ей великое будущее. Он не обладает красноречием и блестящим стилем, но речи его проникают в душу и глубоко трогают сердца его учеников.

В поэме идеальный арестант умирает на каторге, окруженный почитающими его и восхищающимися им каторжниками. Они самозабвенно ухаживают за ним во время его болезни, сооружают нечто вроде носилок и каждый день выносят его на тюремный двор, чтобы он дышал свежим воздухом и видел солнце, которое так любил. После смерти его могила стала целью паломничества всех местных жителей.

Когда мой отец вернулся из Сибири, Некрасов показал ему эту поэму и сказал: «Вы — герой!» Отец был очень тронут этими словами, был в большом восторге от поэмы «Несчастные», но когда друзья-литераторы спросили его, правильно ли описал его Некрасов, ответил с улыбкой: «О нет, он преувеличил мое значение. Наоборот, я был учеником каторжников».

Трудно судить, кто из обоих был прав, Некрасов или Достоевский. Возможно, поэма Некрасова — лишь поэтическая мечта, но она доказывает, какого высокого мнения он был о моем отце. То, что сказал Некрасов в своей поэме о Достоевском, является блестящей местью за все те низкие обвинения, высказывавшиеся его литературными соперниками, не знавшими, что бы такое изобрести с целью очернить этот их всех превзошедший великий талант.

Удивительно, что ни один из русских биографов Достоевского не упоминает поэмы Некрасова, за исключением Николая Страхова, пишущего об этом в своих мемуарах[4], тогда как все они добросовестно повторяют низкую клевету, распространявшуюся молодыми писателями о Достоевском в период успеха «Бедных людей»[5]. И ведь не могли биографы отца быть в неведении относительно того, что он является героем поэмы «Несчастные», потому что Достоевский сам в «Дневнике писателя» рассказывает о своем разговоре с Некрасовым после возвращения из Сибири[6]. Надо думать, они хотели утаить от читателей лестное мнение русского поэта.

Дневник писателя

Наконец, долги были выплачены[7]. Теперь мой отец мог служить искусству как мастер, а не как раб. Он мог порадовать немного детей и сделать подарки своей бедной жене, принесшей ему в жертву свою молодость, чтобы помочь ему оплатить долги чести. Первые бриллианты, преподнесенные Достоевским моей матери, были очень малы, тем бóльшей, однако, была его радость, когда он дарил их...

Но отец и не думал наслаждаться вполне заслуженным покоем. Напротив! Едва только освободился он от долгов, как окунулся в сферу общественной борьбы и начал публиковать «Дневник писателя», о котором давно мечтал. Под этим названием объединены многие статьи, появившиеся в «Гражданине». Русские писатели не умеют посвящать себя лишь чистому искусству, как делают это их европейские собратья; всегда наступает момент, когда они становятся проповедниками, духовными отцами и воспитателями. Наша бедная, парализованная церковь, наша ужасная школа не могут надлежащим образом выполнять свой долг, и каждый писатель, являющийся истинным патриотом, поэтому склонен принять на себя часть их обязанностей.

Возвратившись из-за границы, Достоевский с беспокойством наблюдал, с какой поспешностью приближалась Россия к пропасти, в которую она низвергнута сейчас через тридцать пять лет после его смерти. Он провел три года в Италии и Германии[8] в период наивысшего национального расцвета. Вернувшись в Петербург, мой отец нашел только недовольных, глубоко ненавидевших свою страну. Несчастные русские интеллигенты, воспитывавшиеся в космополитических школах, глубоко презирали свое отечество и мечтали об одном: превратить столь своеобразную, столь интересную Россию, страну, богатую гениями, с многообещающим будущим, в смешное подобие старой Европы. Подобный образ мыслей был тем опаснее, что наш народ оставался патриотом, восхищался своей чудесной страной, гордился тем, что он русский, и искренне презирал европейцев. Достоевский, хорошо знакомый и с нашими интеллигентами, и с нашими крестьянами, понимал, насколько сильны были эти и насколько слабы те. Он сознавал, что наши интеллигенты держались лишь за счет царских милостей и что в тот день, когда, в неведении своем, они допустят свержение трона, народ не упустит возможности отомстить всем «барам», как называет он знатных и интеллигентных людей, которых ненавидит за их атеизм и космополитизм. Пророческий дух Достоевского предвидел все ужасы русской революции.

Начиная публиковать «Дневник писателя», Достоевский надеялся объединить горсточку интеллигентов с огромной массой народа, пробудив в них патриотические и религиозные чувства. В «Дневнике писателя» 1876 года Достоевский говорит: «Средство против нашей интеллектуальной болезни заключается в нашем единении с народом. Я начал этот «Дневник писателя», чтобы по возможности чаще говорить об этом средстве».

Так мой отец вновь начал пропагандировать ту же идею, которую провозгласил уже в журнале «Время» при поддержке своего брата Михаила. Его пламенные речи звучали не в пустыне; многие русские видели эту нравственную пропасть, отделяющую наших интеллигентов от наших крестьян, и надеялись, что смогут ее преодолеть.

Отцы первыми отозвались на этот призыв Достоевского. Они приходили к нему, спрашивали, как воспитывать детей, писали ему письма из далекой провинции и просили совета. Эти верные долгу отцы принадлежали ко всем слоям русского общества. Среди них были совсем скромные люди, отказывавшие себе во всем, чтобы дать своим детям высшее образование, и теперь с ужасом видевшие, как они становились атеистами и врагами России.

Великий князь Константин Николаевич тоже попросил моего отца повлиять на его молодых сыновей Константина и Дмитрия. Это был интеллигентный человек, широко европейски образованный, он хотел воспитать своих сыновей патриотами и христианами. Дружба моего отца с молодыми князьями длилась до самой его смерти; он любил их обоих, но отдавал предпочтение великому князю Константину, в котором угадал будущего поэта. Это тот самый великий князь Константин, публиковавший впоследствии чудесные стихотворения и пьесы под псевдонимом К. Р. — Константин Романов.

После отцов пришли сыновья. Как только Достоевский заговорил о патриотизме и религии, петербургские студенты и студентки толпами устремились к нему, забыв все прежние жалобы. Бедная, бедная русская молодежь! Есть ли на свете еще такая страна, где бы молодое поколение было таким больным и хилым? Тогда как в Европе родители воспитывают в сердцах своих детей любовь к отчизне, пытаются сделать из них хороших французов, хороших итальянцев, хороших англичан, русские родители растят своих детей врагами своей страны.

С самого раннего детства русские дети слышат из уст своих отцов речи, оскорбляющие царя, двусмысленные истории о царской семье, насмешки над священниками и религией; о нашей любимой России говорится, как о позорном пятне, о преступлении против человечества. Когда же дети поступают потом в школу, у учителей своих они встречают то же презрение к отечеству; тогда как школы других стран считают своей обязанностью воспитывать молодых граждан в духе патриотизма, русские профессора учат студентов ненавидеть православную церковь, монархию, наше национальное знамя, все наши законы и

установления. Они учат их восхищаться Интернационалом, который, по их мнению, когда-нибудь принесет России справедливость. Со слезами на глазах они говорят об этой идеальной нации, не имеющей ни отечества, ни религии, говорящей одинаково плохо на всех языках, вожди которой. эти будущие великие мужи России, получили свое образование в кафе Парижа, Женевы и Цюриха.

Ах, возможно, русские студенты горланили песни Интернационала, таскали красные флаги по улицам Петербурга и Москвы, — их сердцами овладело отчаяние, смерть ожесточила их сердца и толкала их на самоубийство. Можно ли быть счастливым, когда ненавидишь свое отечество? Эти бедные молодые люди, эти несчастные молодые девушки приходили к моему отцу, плача, рыдая, и открывали ему сердце.

Достоевский относился к ним, как к своим сыновьям и дочерям, принимал участие во всех их горестях, терпеливо отвечал на их наивные вопросы о жизни, ожидавшей их после смерти. Наши студенты — большие дети и, если на их пути встречается достойный уважения человек, они слушаются его, как мастера, и педантично следуют его советам. Мой отец пожертвовал своим творчеством публикации «Дневника писателя».

Особенно студентки были в восторге от Достоевского, всегда бывшего очень внимательным по отношению к ним. Никогда не давал он советов с восточной направленностью, которые столь расточительно раздают молодым девушкам наши писатели: «Зачем вам учиться? Скорее выходите замуж и рожайте как можно больше детей».

Достоевский не проповедовал безбрачия, но говорил, что они должны выходить замуж только по любви и в ожидании ее учиться, читать, размышлять, чтобы стать потом образованными матерями и иметь возможность дать своим детям европейское образование. «Я многого жду от русской женщины», — часто повторял он в «Дневнике». Достоевский знал, что славянки обладают более сильным характером, чем мужчины-славяне, что они лучше трудятся и стоически переносят несчастье. Он надеялся, что русская женщина впоследствии, став когда-нибудь совершенно свободной (до сих пор она только приоткрыла двери своего гарема, но еще не вышла оттуда), будет играть большую роль в своей стране. Достоевского можно назвать первым русским феминистом.

Теперь студенты опять приглашали Достоевского читать свои произведения на литературных вечерах. Тогда уже начала проявляться смертельная болезнь, погубившая Достоевского. Он страдал катаром дыхательных путей, и громкое чтение вслух очень ухудшало его состояние. Однако мой отец никогда не отказывался от участия в вечерах, ведь он знал, какие прекрасные мысли может пробудить в юных головах правильно подобранное чтение.

Особенно охотно он читал монолог Мармеладова, несчастного пьяницы, который, находясь на дне пропасти, затянувшей его, все еще верит в Бога и надеется смиренно на его прощение. Несчастный мечтает, что Бог на Страшном суде, награждая всех хороших и добродетельных, вспомнит и о нем. Смиренно и стыдливо спрячется он за других, не осмеливаясь поднять глаз, и будет ждать, что Господь обратится к нему со словами сострадания... В этой главе из «Раскольникова» заключена вся религиозная философия нашего младенческого народа.

Достоевский-чтец вскоре вошел в моду; он читал великолепно и умел завладевать сердцами своих слушателей. Публика разражалась бурными аплодисментами и бесконечно вызывала его. Отец благодарил, улыбаясь, но не питал никаких иллюзий в отношении своих слушателей. «Они аплодируют, но не понимают меня», — печально говорил он друзьям, участвовавшим вместе с ним в литературных вечерах. Достоевский был прав. Инстинктивно наша интеллигенция понимала, что мой отец говорит им правду, но она была неспособна изменить свой духовный настрой. Рабство нашего народа нанесло больший вред знатным и образованным людям, чем крестьянам. Русский народ обладал достаточной силой, чтобы вынести три столетия рабства и не потерять своего достоинства. Но интеллигенты наши оказались очень слабыми и долгое время после освобожденья крестьян сохраняли свои повадки тиранов. Высокомерие их мелких душонок мешало им разделить мысли и чаяния народа. Они не могли забыть, что их отцы когда-то были господами крепостных, продолжали обращаться с освобожденными крестьянами, как с рабами, и хотели силой навязать им химеры, вычитанные в европейских книгах. Так же, как мой дед Михаил когда-то не потрудился постараться понять характер русского народа и был убит им[9], интеллигентное общество нашей страны продолжало жить как бы в пустоте, в подвешенном состоянии между Европой и Россией, пока не было жестоко наказано революцией.

Расположение, которым Достоевский теперь снова пользовался у студентов, имело последствием странное и все же логически из этого вытекающее событие. Однажды, когда моей матери не было дома, горничная доложила отцу, что пришла неизвестная дама, не желающая назвать свое имя. Достоевский привык принимать незнакомок, исповедующихся ему; он попросил горничную провести неизвестную в его кабинет. Вошла одетая в черное дама, лицо которой было скрыто густой вуалью, и молча села. Достоевский с удивлением смотрел на нее.

«Чему я обязан честью видеть Вас?» — спросил он.

Вместо ответа незнакомка вдруг отбросила вуаль и обратила на него трагический взгляд. Отец наморщил лоб — он не любил трагедий.

«Вы не хотите себя назвать, милостивая госпожа?» — сказал он сухо.

«Как, Вы не узнаете меня?» — пробормотала посетительница с видом уязвленной королевы.

«Нет, конечно, я не узнаю Вас. Почему Вы все-таки не хотите назвать свое имя?»

«Он не узнает меня!» — театрально вздохнула дама в черном. Отец потерял терпение.

«К чему эта таинственность? — сердито воскликнул он. — Объясните, пожалуйста, причину Вашего визита. Я очень занят и не могу попусту терять время».

Неизвестная поднялась, опустила вуаль и покинула комнату. Достоевский, совершенно сбитый с толку, последовал за ней. Она открыла входную дверь и сбежала по лестнице. Отец, погруженный в раздумья, остался стоять в передней. Постепенно что-то начало всплывать в его памяти. Где же он уже видел этот трагический взгляд? Где слышал этот мелодраматический голос? «Боже мой! — внезапно воскликнул он, — ведь это была она, это была Полина!»

Мать как раз вернулась домой. Совершенно растерянный, Достоевский рассказал ей о визите своей прежней возлюбленной.

«Что я наделал? — повторял мой отец. — Я смертельно ее обидел. Она ведь так горда! Она никогда не простит мне, что я не узнал ее; она будет мне мстить. Полина знает, как я люблю своих детей — эта безумная в состоянии их убить. Бога ради, не выпускай их больше из дома!»

«Но как же ты мог ее не узнать? — спросила моя мать. — Она так изменилась?»

«Конечно, нет... теперь, когда я вспоминаю, я понимаю, что она очень мало изменилась... Но что ты хочешь! Я начисто забыл о Полине, будто и не было ее никогда»[10].

Мозг эпилептиков не похож на нормальный. Память их удерживает только те факты, которые произвели на них особое впечатление. Вероятно, Полина Н. принадлежала к числу тех хорошеньких девушек, которых мужчины очень любят, когда находятся в их обществе, но забывают их, лишь только они исчезают из их поля зрения.

В возрасте старше пятидесяти Полина Н. вышла замуж за двадцатилетнего студента, большого почитателя моего отца. Этот юный энтузиаст, ставший впоследствии превосходным писателем и журналистом, был безутешен оттого, что он не знал Достоевского; и он захотел хотя бы жениться на той, которую любил его любимый писатель. Легко можно предположить, чем должен был закончиться столь необычный брак[11].

Воскрешение из мертвых

17 сентября 1869 г. Достоевский писал из Дрездена в Петербург своему другу А. Н. Майкову: «Три дня тому (14 сентября) родилась у меня дочь, Любовь. Все обошлось превосходно, и ребенок большой, здоровый и красавица. Мы с Аней счастливы». Анна Григорьевна Достоевская отмечала в своих «Воспоминаниях»: «С появлением на свет ребенка счастье снова засияло в нашей семье. Федор Михайлович был необыкновенно нежен к своей дочке, возился с нею, сам купал, носил на руках, убаюкивал и чувствовал себя настолько счастливым, что писал критику Н. Н. Страхову: «Ах, зачем вы не женаты, и зачем у вас нет ребенка, многоуважаемый Николай Николаевич. Клянусь вам, что в этом $^{3}/_{4}$ счастья жизненного, а в остальном разве одна четверть».

Через тридцать два года после смерти отца Любовь Федоровна Достоевская выпускает в Петербурге романы «Эмигрантка» и «Адвокатка». Правда, литературные достоинства этих произведений невысоки, и интересны они главным образом тем, что их автор — дочь великого писателя.

В 1913 году Л. Ф. Достоевская выехала для лечения за границу. Она не приняла Октябрьский переворот 1917 года, на родину не вернулась и скончалась 10 ноября 1926 года в Гризе (около Больцано), в Италии, от белокровия.

За границей Любовь Федоровна жила литературным трудом и издала на немецком языке книгу об отце «Достоевский в изображении его дочери» (Мюнхен, 1920). В русском переводе под редакцией А. Г. Горнфельда она вышла в сокращенном более чем наполовину и не всегда соответствующем подлиннику переводе (М.; Пг.; ГИЗ, 1922).

Публикуемые впервые на русском языке главы «На каторге» и «Дневник писателя» не вошли в советское издание 1922 года, так как в них рассказывается о том, как Достоевский стал на каторге истинным христианином и монархистом.

Однако «перерождение убеждений», говоря словами Достоевского, т. е. переход от атеиста к христианину и от революционера к монархисту, произошло у писателя не сразу. Но четыре года «страдания невыразимого, бесконечного» явились поворотным пунктом в духовной биографии Достоевского. В страшный миг эшафота, когда жить ему оставалось не больше минуты, в нем начинает умирать «старый человек». Четыре года Достоевский читает на каторге одну книгу — Евангелие — единственную книгу, разрешенную в остроге. Постепенно рождается «новый человек», начинается «перерождение убеждений».

Однако не тяжелый каторжный быт, не ужасы каторги больше всего потрясли Достоевского. Больше всего поразил писателя тот факт, что острожники, «народ грубый, раздраженный и озлобленный», как он охарактеризовал их в письме к брату Михаилу от 22 февраля 1854 года, с ненавистью встретили их — дворян — за их атеизм, за их безверие, за бунт, за стремление свергнуть царя. Наоборот, они верят в бога, любят царя и всякий бунт осуждают как барскую затею.

Наряду с чтением Евангелия это имело решающее влияние на перерождение убеждений Достоевского. И он был, пожалуй, единственным среди всех петрашевцев, кто «в каторге между разбойниками в четыре года отличил, наконец, людей», как признавался Достоевский в том же письме к брату и продолжал: «Поверишь ли: есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото. И не один, не два, а несколько. Иных нельзя не уважать, другие решительно прекрасны... Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойников и вообще всякого черного, горемычного люда. На целые томы достанет. Что за чудный народ. Вообще время для меня не потеряно, если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его».

Постепенно расшатывалась старая «вера», незаметно вырастало новое мировоззрение. В «Дневнике писателя» Достоевский признается: «Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений...»

«Перерождение убеждений» началось с беспощадного суда над самим собой и над всей прошлой жизнью. «Помню, что все это время, — писал впоследствии Достоевский о своей каторге, — несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении, и я полюбил, наконец, это уединение. Одинокий душевно, я пересматривал всю прошлую жизнь, перебирал все до последних мелочей, вдумывался в мое прошлое, судил себя неумолимо и строго, и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце! Я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни ни тех ошибок, ни тех падений, которые были прежде... Я ждал, я звал поскорее свободу, я хотел испробовать себя вновь на новой борьбе... Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых. Экая славная минута!»

В первом же послекаторжном письме к Н. Д. Фонвизиной, подарившей ему четыре года назад в Тобольске Евангелие, Достоевский рассказывает ей, в каком направлении шло перерождение его убеждений: «...Я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост; вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше бы хотелось оставаться с Христом, нежели с истиной».

Отныне и навсегда «сияющая личность» Христа заняла главное место в новом миросозерцании Достоевского. В 1874 году он говорил своему молодому другу Всеволоду Соловьеву о значении каторги для его духовного развития: «...Мне тогда судьба помогла, меня спасла каторга... совсем новым человеком сделался... О! это большое для меня было счастие: Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят! ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя понял, голубчик... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что я и сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно. Ах, если бы вас на каторгу!»

Достоевский ушел на каторгу революционером и атеистом, а вернулся монархистом и верующим человеком, хотя мечта о «золотом веке», о земном рае, о братстве всех людей никогда не оставляла его. Но христианская вера была им так всесторонне выстрадана (в том же послекаторжном письме к Фонвизиной Достоевский признавался: «Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных»), что в конце своей жизни он записывает по поводу своего последнего романа «Братья Карамазовы»: «И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было, стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла...»

После каторги и ссылки религиозная тема становится центральной темой творчества Достоевского. В 1870 году он писал А. Н. Майкову: «Главный вопрос... которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие».

Примечания

1. Это неточно. Достоевский рассказывал об обряде своей смертной казни.
2. Жены декабристов Ж. А. Муравьева, П. Е. Анненкова с дочерью О. И. Ивановой и Н. Д. Фонвизина добились («умолили», по словам Достоевского) тайного свидания с петрашевцами на квартире смотрителя пересыльной тюрьмы в Тобольске. В «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский вспоминал: «Мы увидели этих великих страдалиц, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой на каторге».
3. Неточно. Речь идет о «Петербургском сборнике, изданном Н. Некрасовым» (Спб., 1846).
4. Имеются в виду «Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском» Н Н Страхова, увидевшие свет в кн.: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений, т. I. Биография, письма и заметки из записной книжки (Спб., 1883).

5. В 1880 году в «Вестнике Европы» появились воспоминания П. В. Анненкова «Замечательное десятилетие», где критик клеветнически утверждал о требовании Достоевского выделить в 1846 году в «Петербургском сборнике» «Бедные люди» особым типографским знаком — каймой. По просьбе Достоевского газета «Новое время» А. С. Суворина выступила с опровержением этой клеветы.

6. Поэма Некрасова «Несчастные» была опубликована в 1856 году в журнале «Современник». Достоевский дважды в «Дневнике писателя» упоминает о посвященных ему стихах Некрасова. А. Г. Достоевская указывает, что сам Некрасов перед смертью сказал писателю, что он вывел его в поэме «Несчастные» под именем Крота. В современном литературоведении мнения о прототипе Крота противоречивы.

7. Речь идет о долгах по журналам «Время» и «Эпоха», оставшихся после смерти в 1864 г. их издателя, старшего брата писателя — М. М. Достоевского.

8. Неточно. Достоевский вместе с А. Г. Достоевской пробыли за границей свыше четырех лет.

9. 18 июня 1975 года в «Литературной газете» появилась статья Г. А. Федорова «Домыслы и логика фактов», в которой он показал на основе найденных им архивных документов, что отец писателя Михаил Андреевич Достоевский не был убит крестьянами, а умер в поле в имении Даровое своей смертью от «апоплексического удара».

Открытие Г. А. Федорова важно и с нравственной точки зрения. В насильственную смерть отца Достоевский так и не мог поверить до конца дней, никогда не мог примириться с этой мыслью, ибо известие о расправе над отцом — жестоким крепостником — противоречило тому образу отца — гуманного и просвещенного человека (таким он предстает, например, в «Воспоминаниях» А. М. Достоевского (Л., 1930) — младшего брата писателя), который Достоевский навсегда сохранил в своем сердце. Вот почему в его последнем романе «Братья Карамазовы» «лишь драгоценные воспоминания» «из дома родительского вынес» старец Зосима, а Алеша Карамазов также вдохновенно говорит о «прекрасном, святом воспоминании» с детства, как «самом лучшем воспитании», вот почему в 1876 году — в письме к брату Андрею — Достоевский так высоко отозвался о родителях, а мужу сестры Варвары Карепину он писал: «Будьте уверены, что я чту память о моих родителях не хуже, чем вы ваших».

Таким образом, писатель не ошибся в том образе своего отца, который он вынес из детства и навсегда сохранил его.

10. Речь идет о второй большой любви писателя — Аполлинарии Прокофьевне Сусловой (1839—1918) (см. ее дневник «Годы близости с Достоевским». М., 1928), но этот визит ее к Достоевскому в конце 1870-х гг. скорее всего является вымыслом Л. Ф. Достоевской (об А. П. Сусловой см.: Слоним М. Л. Три любви Достоевского. Нью-Йорк, 1953; Гай Д. До свидания, друг вечный. Телохранитель. М., 1990).

11. В 1880 году А. П. Суслова (ей шел сорок первый год) выходит замуж за двадцатичетырехлетнего журналиста В. В. Розанова, будущего известного писателя и философа, страстного почитателя Достоевского. Однако брак их оказался неудачным и превратился для них в испытание. Через шесть лет Суслова бросает Розанова, уехав от него с его приятелем. Когда Розанов умоляет ее вернуться, она жестоко отвечает: «Тысяча мужей находятся в вашем положении (т. е. оставлены женами) и не воют — люди не собаки» (Гроссман Л. П. Путь Достоевского. Л., 1924). А узнав, что Розанов в гражданском браке с другой женщиной и имеет от нее детей, она почти двадцать лет из какого-то злого упрямства не дает ему развода, — дети его все эти годы были лишены гражданских прав.

СЕРГЕЙ БЕЛОВ,
доктор исторических наук
(публикация, послесловие и примечания)

«...Искусство медленного чтения»

...романы Достоевского никого и ничего не изображают, а раскрывают тайны человеческого духа и, познавая их, касаются миров иных... самая важная, главная, ценная и неповторимая особенность гения Достоевского — это его способность бесстрашно разворачивать перед нами свиток нашей совести...

Георгий Мейер. Свет в ночи. «Посев». Мюнхен, 1967

Тринадцать лет тому назад, в одном из московских микрорайонов вечером обычного летнего дня собрались в зеленой зоне между домами молодые люди, чтобы в разговоре, под винцо и сигаретку, с песенками под гитару скрасить скуку школьных каникул. Было их человек пятнадцать — девушек и юношей из вполне добропорядочных семей, ни в чем предосудительном не замеченных. Вечер прошел, как множество других, проведенных до этого, без каких-либо заметных событий, и разошлись они совершенно не подозревая, что уже на следующий день их вечерним времяпрепровождением станут усиленно интересоваться работники милиции.

Этот интерес к развившейся компании был весьма и весьма не случаен. Дело в том, что поблизости от места, где вечером располагалась компания, утром был обнаружен труп пожилого мужчины с признаками насильственной смерти. И хотя, как установила милиция, убитый оказался неоднократно судим, не имел определенного места жительства, вел паразитический образ жизни и, казалось бы, никакого отношения к благополучным ребятам из компании иметь не должен, работники уголовного розыска такой возможности не исключали, и версию убийства кем-нибудь из компании не отбрасывали.

Одним из розыскников, кому поручили вести поиски преступника, был Николай Паншев. Вместе с двумя оперативниками он вел опросы жителей микрорайона, находил свидетелей, беседовал с ребятами из вышеупомянутой компании. Сопоставление множества деталей, показаний свидетелей, опросов ребят, развлекавшихся в тот вечер, все больше укрепляли его во мнении, что преступление мог совершить один из молодых людей этой компании — Евгений Н. Его пригласили на беседу, и началось противоборство логики розыскников с хитростью и изворотливостью лица, входившего в круг возможных преступников, — так на языке юристов определялся тогда правовой статус Евгения. И когда он понял, что розыскники убеждены в его виновности, то замкнулся и перестал принимать участие в разговоре. А у Николая Паншева и его коллег кроме внутренней убежденности в виновности Евгения прямых улик не было, как не было и основного — добровольного признания Евгения в совершенном преступлении.

И все-таки точка в розыске была поставлена неожиданно быстро. Поставлена она была не Паншевым

Чтобы объяснить такой поворот в нашей истории, давайте на некоторое время отвлечемся от давнего уголовного дела и поближе познакомимся с Николаем Паншевым.

Паншев родом из ближнего Подмосковья. Появился на свет Божий он в Павловском Посаде в сорок девятом году. Надо помнить те послевоенные годы, чтобы представить, как рос и воспитывался Коля, когда мать растила троих ребятишек сама, без мужниной или какой-либо другой помощи, на тощую зарплату рабочего человека. Впрочем, что это была за жизнь, уже легко представить и сегодня — многие это начинают ощущать на собственном опыте.

Предоставленные самим себе ребята воспитывались улицей, и здесь многое решает то, что заложено в человеке, в его характере от природы, от родителей, от предков.

Только теперь, после многих прожитых лет, после более чем двадцати лет работы в управлении уголовного розыска и других подразделениях московской милиции, Николай Паншев понимает, какие страшные повороты в судьбе готова преподнести наша жизненная действительность человеку, у которого отсутствует крепкий моральный стержень или который вдруг решил жить не общечеловеческими, христианскими заветами, а по своему, созданному лично для себя кодексу.

А началось такое осознание и понимание жизни со знакомства с творчеством Ф. М. Достоевского, а если конкретно, то именно с романа «Преступление и наказание». Паншев считает, что лично ему жизнь благоволила. Судьбе было угодно сделать так, что это произведение он прочитал, как говорится, «большеньким», в 22 года.

Он вообще противник изучения творчества Достоевского в школе, по крайней мере, такого изучения, как сейчас. По мнению Николая, для понимания этого гениального писателя надо, чтобы жизнь научила тебя, хотя бы и весьма приблизительно, но понимать самое себя, взрастить в себе внутренний мир, разобраться с собственным «я». Это необходимо для того, чтобы произведения Федора Михайловича не прошли мимо тебя, как голые структуры людей-схем и сюжетов-событий.

Роман «Преступление и наказание», по словам Паншева, потряс его и совершил в его сознании настоящий переворот. Наверное, это сравнимо с человеком, который от рождения был лишен зрения и жил в мире, где цветы имеют запах, но — бесцветны, пища — вкус, но не вид, а люди голос, но не внешность, т. е. мир — все, кроме пространства и цвета. Нечто подобное, по утверждению Николая Паншева, было с ним до узнавания Ф. М. Достоевского.

Надо заметить, что такое узнавание Николаем не только творчества Достоевского, а именно личности Федора Михайловича продолжается третье десятилетие, хотя началось с романа «Преступление и наказание», с позиции профессионала, потому что Паншев к тому времени работал на оперативной работе в ОВД и учился в юридическом институте. И впервые он читал это произведение с точки зрения профессионала-розыскника... Но, видимо, зерна, разбросанные гениальной рукой Федора Михайловича в этом романе, упали на благодатную душевную почву, и он увидел в истории Родиона Раскольникова нечто такое, что заставило его возвращаться и возвращаться к этому произведению, а затем обратиться к другим.

Мучительная работа души не сразу дала ответ. Лишь какое-то время спустя он понял, что Достоевский — это писатель, читать которого он будет по строкам и всю жизнь. А еще позже желание это, сформировавшись в движение души, окончательно выкристаллизовалось в страсть библиофила — собирательство прижизненных изданий Ф. М. Достоевского, а также других книг и изданий, связанных с его творчеством и жизнью.

Удивительно, но Николай Паншев вполне серьезно считает, что обязан Федору Михайловичу не только жизнью, а спасением души. По его твердому убеждению, лишь творчество и личность Достоевского не дали ему окостенеть и погибнуть в его, более чем двадцатилетней, работе и борьбе с преступниками. Паншев придерживается того мнения, что следователь и преступник — это два полюса на оси жизни, что у того и у другого, в силу определенных обстоятельств, душа, как составная часть личности, подвергается неимоверным нагрузкам в постоянной необходимости выбора между Злом и Добром. И как преступник, выбрав своим повелителем Зло, встает на путь злодеяний, так и у следователя велик и силен соблазн избрать Зло орудием борьбы за Добро. Но это орудие тут же начнет убивать душу следователя.

И еще одно твердое убеждение, как профессионал, соприкасающийся по роду работы с преступностью, сформировал в себе Николай Паншев, которым, как считает, он обязан Федору Михайловичу. Изложить смысл этого утверждения своими словами я не берусь, чтобы какой-нибудь неточностью случайно не исказить его, и потому представлю слово самому Паншеву:

— Когда, работая в милиции и заочно учась в юринституте, я сталкивался с преступниками, меня все время терзал вопрос: «Что заставляет их идти на преступление?» «Что», конечно, не в смысле мотивов, а в смысле глубинных корней... Так вот, я близко сталкивался с «идейными» преступниками, которые свои преступления оправдывали с различных позиций, в том числе с тех, что у многих их жертв имущественное благополучие нажито далеко не праведным путем... И Достоевский мне подсказал, что такие преступники одержимы дьяволом, некоторые просто навсегда. Я по-иному, чем наш официоз, стал смотреть на причины преступности. Федор Михайлович говорит, что всегда происходит борьба между Богом и дьяволом за душу человека. И для того, чтобы победил в душе Бог, необходимо с рождения человека воспитывать его в духе Православия и в школе учить Закону Божьему. Среди преступников я никогда не встречал истинно верующих людей, людей, не одержимых дьяволом. Веру многие из них обретают лишь после осуждения или, по крайней мере, начинают искать путь к ней...

Для Николая Паншева таким путем к вере в Бога стало творчество Ф. М. Достоевского, глубокое и тщательное узнавание его личности.

...Мы сидим с Николаем Паншевым на кухне его обычной двухкомнатной квартиры. Жена и дочь (я подозреваю, что это деликатный маневр Николая) ушли по своим делам, а он, по обычаю русского гостеприимства (это было заявлено, едва я переступил порог), угощает меня обедом. А потом, под крепкий и ароматный чай, мы ведем долгий разговор о его библиофильских находках и приобретениях, об участии в последних международных Достоевских чтениях (Старая Русса), об открытиях, сделанных им лично для себя, о сокровениях, за которыми долгие поиски того или иного издания и длинный путь его в коллекцию Паншева.

Потом Паншев ведет меня к святая святых его коллекции — книгам Достоевского прижизненного издания. Мы вместе бережно разглядываем эти прекрасно сохранившиеся или тщательно отреставрированные фолианты, осторожно листаем страницы творений бессмертного русского гения: роман «Бедные люди», впервые напечатанный в альманахе «Петербургский сборник» (1846 г.), «Иллюстрированный альманах» (1848 г.), где напечатано единственное прижизненное иллюстрированное произведение Федора Михайловича — рассказ «Ползунков», комплект журнала «Гражданин», редактируемый Достоевским в 1873 году, где он начал публиковать «Дневник писателя», и еще большое число книг и журналов. А под конец знакомства с коллекцией, что называется, на «десерт» Николай оказывает мне великую честь, передав в руки две книги, которыми пользовался лично Федор Михайлович и которые были в его личной библиотеке. Это два тома словарей 1844 года лейпцигского издательства, на форзацах которых рукой Достоевского написано: «Ф. Достоевский». Этими книгами он пользовался, зарабатывая на жизнь переводчиком, когда еще только начинал в Петербурге свою литературную деятельность.

Среди библиофилов ходит такое поверье, что дух всякого ушедшего от нас писателя выбирает между страстными книжниками своего «поверенного» и ведет его, как лоцман, среди моря книжных развалов, помогая в конце концов найти и приобрести нужное для коллекции издание, тот или иной предмет, связанный с личностью писателя.

Николай верит в это поверье и во многом этим объясняет все свои библиофильские удачи. А чем другим можно, например, объяснить находку бронзового бюста Ф. М. Достоевского работы (1886 г.) скульптора Р. Баха с личным клеймом мастера. Этих бюстов сделано-то было — по пальцам пересчитать, а уж сохранилось-то и того меньше; или находку в развалах одного из букинистических магазинов столицы, к примеру, такой редкости, как первое прижизненное собрание сочинений Ф. М. Достоевского (1860), единственное издание, напечатанное в Москве издателем Н. А. Основским. И случаев, подобных этим, у Паншева-книжника немало.

Но вернемся к началу этих заметок, где мы оставили Николая Паншева и его коллег-розыскников в поисках виновника совершенного убийства. Коль мы так подробно познакомили читателя с Николаем Паншевым и его увлечением личностью Ф. М. Достоевского, миром его литературных героев, духом того времени, то догадливый читатель наверняка понял, что к раскрытию преступления творчество Федора Михайловича имело самое непосредственное отношение.

Паншев интуитивно уловил суть душевного состояния Евгения и, пересказывая историю Родиона Раскольникова, настолько точно расставил акценты в оценке личности и внутреннего мира этого героя романа Достоевского, что тонко подвел Евгения к необходимости осознания тяжести вины за лишение жизни, пусть низко павшего, бывшего уголовника, человека явно несимпатичного, но все-таки человека, жизнь которому дарована Богом.

Случилось то, что и должно было случиться, если в Евгении была живой хоть толика совести. Оказалось, что Н. накануне убийства читал «Преступление и наказание», что убитый шантажировал его, используя свои связи в уголовном мире, что Евгений, убив этого человека, понял: его душа, как душа Раскольникова, не выдержит тяжести совершенного греха.

И когда Паншев в беседе с ним завел речь о судьбе Раскольникова, для Евгения Н. это стало решающим доказательством, что лишь признание своей вины может спасти его как человека. Он написал явку с повинной.

Так руками Николая Паншева Ф. М. Достоевский поставил точку в одном из уголовных дел. И кто знает, в какой раз спас человеческую душу.

ВЛАДИМИР КАЛИТА

ЛИТЕРАТУРА

СТИХИ. ПОВЕСТЬ. РАССКАЗ.

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

Стержневой корень

Родился я 1 мая 1924 года в селе Овсянка. Все, кто ездил или собирается поехать из Красноярска в Дивногорск, никак не минуют моего родного села — оно между двумя городами. Село расстроилось, обросло рабочими поселками. Возле него деревообрабатывающий завод, старые посады села стиснуло, прижало к реке наседающими со всех сторон строениями дачного облика — Овсянка, стоящая на границе заповедника Столбы, сделалась считай что пригородом. Но есть еще приметы, не видные стороннему глазу и ведомые мне: лишь только скатится автобус по немыслимо крутому, извилистому спуску к речке Большой Слизневке, в ее устье будет заметен травянистый бугорок — здесь стояла когда-то водяная меленка, построенная моим прадедом.

Возле речки сплавной рейд. От рейда идет сплавная бона, головка которой как стояла в тридцатых годах, так и поныне стоит напротив дома Василисы Вахромеевны, запомнившейся с детства тем, что была она необычайно красивая и гораздая на огородные выдумки. О головку вахромеевской боны ударилась лодка, в которой плыла в город моя мама да и угодила под бону, утонула, зацепившись косой за перевясло. Далее, за вахромеевским домом, — куда бы я ни ступил, на что бы ни взглянул в селе, — все мне знакомо. Кругом живут родичи или близкие сердцу односельчане, все напоминает детство, а красоты наших мест: горы, Енисей, тайга, пусть и шибко потревоженные наступающим прогрессом, — все не перестают манить, волновать и восхищать меня. Здесь хотелось бы поговорить не столь о «малой родине», о вечной этой пристани, от которой все мы отшвартовались в жизнь, а о людях, что маяками светят нам на сложном, извилистом пути жизни, питают нас своим душевным теплом и живительными соками, так же как главный, стержневой корень питает дерево...

Осенью 1943 года на Днепровском плацдарме, возле небольшой деревеньки под громким названием Великий Букрин, вроде бы от кого-то из игарчан, мельком увиденного в военной толчее и коловерти, узнал я о кончине Василия Ивановича Соколова, бывшего воспитателя, а затем и директора игарского детдома.

Через неделю-две, тяжелораненый и контуженый, я находился уже в тылу, медленно приходил в себя, трудно воспринимая явь, собирая воедино все, что я до того мига, когда вспух передо мной и уже беззвучно лопнул взрыв, видел, знал, помнил. Капризные, болезненные всплески памяти, от которых в голове набатно гудело, теснило сердце, тошнотой кружило нутро и все время тревожило, пробуждали что-то, совсем недавно узнанное, совсем близко лежащее, но это «что-то» никак не давалось мне.

И вот однажды, в светлое утро, после глубокого сна, увидев за окном падающий с клена нарядный лист, я вдруг неожиданно вспомнил о смерти Василия Ивановича Соколова и тихо заплакал очищающими душу слезами.

Человеку везучему (а я отношу себя к этому разряду людей) судьба может отвалить нечто совсем уж удивительное и из всего многолюдного и разнокалиберного живого мира возьмет да и пошлет навстречу не просто хорошего человека, но человека редкостного и прекрасного. И прекрасных людей я знавал немало, но не из родни: первым — после мамы, бабушки и деда — был Василий Иванович Соколов.

Валериана Ивановича Репнина в повести «Кража» (1961—1965) я писал, имея в виду Василия Ивановича Соколова, писал и с грустью убеждался, как мало и поверхностно его знал. Да какой же спрос с мальчишки, непоседливого и вольного? Вот если б сейчас!.. Ах, как часто это «если бы» посещает нас с возрастом, но что делать? Жизнь не повторишь, и детству осмотрительность заказана.

Возможно, то был с его стороны всего лишь «индивидуальный подход», хотя я мало этому верю, — худой, недобрый человек никаким «индивидуальным подходом» никого не возьмет. Василий Иванович, будто угадав, что меня уже не только много унижали, попрекали хлебом, даже тем, что я зачем-то живу, но и достаточно много топтали в прямом и переносном смысле и вытоптали, пожалуй, «детскую полянку», все же искал на ней траву, нашел несколько еще живых, не ощетиненных былинок и ухватился за одну из них — я любил читать; читал без разбора и передыха все, что попадало в руки, дрался из-за книг, даже воровал их, не считая это большим грехом.

Поначалу мы просто разговаривали о прочитанном, и, давая мне «фору», воспитатель прикидывался удивленным моим «всезнанием» и памятливостью. Но постепенно и незаметно он развеял мою самоуверенность, и я с изумлением обнаружил, что читал он куда больше меня, что вообще высокообразованный человек, а «такой простой»!

Подлинная простота, подлинная, непоказная интеллигентность — одна из отличительных черт настоящего человека, а если еще природой дарованы ему доброта и способность к состраданию, то и удивляться нечего, что сперва я начал уважать Василия Ивановича, затем полюбил скрытой, застенчивой любовью, мне уже хотелось стать лучше, не огорчать воспитателя, меньше обижать тех, обидеть кого я был в силах, и не потерять то доверие, которое испытывал я к Василию Ивановичу, а он ко мне.

На протяжении тех лет, которые я прожил в детдоме при Василии Ивановиче, он частенько твердил мне о моих «природных данных», о «несомненной литературной одаренности», и я от этих слов впадал то в лихую, дурашливую веселость, то в смущение, однако потихоньку начал сочинять стишки, участвовал в школьном рукописном журнале и напропалую врал ребятишкам, пересказывая прочитанные книги.

Позднее я пойму, что, напирая на меня вот так, «в лобовую», Василий Иванович пытался сломать во мне то чувство самоуничижения, бросовости, сорности моей, которое внушали мне отец и мачеха, некоторые учителя в школе, разного рода благодетели, на коротких, но уже витых путях-перепутьях кормившие меня корёным хлебом, не жалея при этом назиданий вперемежку с упреками.

Когда мне нынче толкуют, что работа моя в литературе проникнута светом добра, я принимаю это как должное, с тем спокойствием, которое утверждено сознанием — иной она и быть не могла. Вся моя сущность, дух мой глубоко вросли в ту почву, сказать точнее — в землю, где в могиле, давно утерянной людьми, лежит Василий Иванович Соколов. От него-то пророс и укрепился во мне корень добра; засушить его или повредить — значит изменить чему-то святому, подвести человека, чья жизнь и душа были без остатка отданы нам, детям. Мы ответственны перед теми людьми, которые продолжаются в нас.

Замечательный человек, встретившийся мне в начале жизненного пути, был и Игнатий Дмитриевич Рождественский, сибирский поэт. Он преподавал в нашей школе русский язык и литературу, и поразил нас учитель с первого взгляда чрезмерной близорукостью, которая при его моложавости казалась особенно забавной. Читая, учитель приближал бумагу к лицу, водил по ней носом и, ровно бы сам с собою разговаривая, тыкал в пространство указательным пальцем: «Чудо! Дивно! Только русской поэзии этакое дано! Да разве вам, халдеям, это понять?!»

«Ну, такого малахольненького мы быстро сшамаем!» — решил мой разбойный пятый «Б» класс.

Ан не тут-то было! На уроке литературы, положив на стол часы, учитель заставил всех нас подряд читать вслух по две минуты из «Дубровского» и «Бородина». Послушвв, без церемоний и всякой педагогической этики бросал, сердито сверкая толстыми линзами очков: «Орясина! Недоросль! Под потолок вымахал, а читаешь по слогам!» «Ничего, — сказал он одной отличнице, — читаешь прилично, за третий класс». Отличница залилась слезами, а учитель продолжал рубить в окрошку одного за другим лихих пятиклассников.

На уроке русского языка учитель наш так разошелся, что проговорил о слове «яр» целый час и, когда наступила перемена, изумленно поглядел на часы, махнул рукой: «Ладно, диктант напишем завтра».

Я хорошо запомнил, что на том уроке в классе никто не только не баловался, но и не шевелился. Меня поразило тогда, что за одним коротеньким словом может скрываться так много смысла и значений, что все-то можно постичь с помощью слова и человек, знающий его, владеющий им, есть человек большой и богатый.

Впервые за все время существования пятого «Б» даже у отпетых озорников и лентяев в графе «поведение» замаячили отличные оценки. Когда мы подтянулись с программой и у нас пробудился интерес к литературе, Игнатий Дмитриевич стал приносить на уроки свежие журналы, книжки, открытки — это было тогда редкостью — и обязательно читал нам вслух минут десять-пятнадцать, показывая открытки и картинки, и мы все чаще и чаще просиживали даже перемены, слушая его.

Очень полюбили мы самостоятельную работу — не изложения писать, не зубрить наизусть длинные стихи и прозу, а сочинять, творить самим. Игнатий Дмитриевич уже ходил в ту пору в начинающих поэтах, и, узнав об этом, мы прониклись к нему трепетной почтительностью.

Игнатий Дмитриевич стремительно влетел в класс, от порога швырнул на стол классный журнал, бросив на ходу: «Дежурный, потом отметишь, кого нет», — велел достать тетради, ручки и написать о том, кто и как провел летние каникулы. Класс заскрипел ручками, запыхтел, выжимая воспоминания из-под нахмуренных лбов. Учитель погрузился в какую-то книгу.

Не далее месяца назад я заблудился в заполярной тайге, пробыл в ней четверо суток, смертельно испугался поначалу, потом опомнился, держался по-таежному умело, стойко, остался жив и даже простуды большой не добыл. Я и назвал свое школьное сочинение «Жив».

Никогда я еще так не старался в школе, никогда не захватывала меня с такой силой писчебумажная работа. С тайным волнением ждал я раздачи тетрадей с сочинениями. Многие из них учитель ругательски ругал за примитивность изложения, главным образом за отсутствие собственных слов и мыслей. Кипа тетрадей на классном столе становилась все меньше, и скоро там сиротливо заголубела тоненькая тетрадка. «Моя!» Учитель взял ее, бережно развернул — у меня сердце замерло в груди, жаром всего пробрало. Прочитав вслух мое сочинение притихшему классу, Игнатий Дмитриевич поднял меня с места, долго пристально вглядывался и наконец тихо молвил редкую и оттого особенно дорогую похвалу: «Молодец!»

В перемену Игнатий Дмитриевич сказал мне, что поместит мое сочинение в школьном рукописном журнале, и попенял — как же это я болтаюсь третий год в одном классе? «Стыдно! Срам! Из лоботряса ничего, кроме лоботряса, выйти не может».

Вот тогда-то я и отправился к Василию Ивановичу Соколову проситься в шестой класс и принят был в него условно, под честное слово, которое я сдержал. Однако хватился я учиться поздновато. Весной, как я уже говорил, пути мои со школой, а значит, и с Игнатием Дмитриевичем разошлись. Тем же летом он выехал с семьею в Красноярск, где прожил затем всю свою жизнь. А я, когда в 1953 году в Перми вышла первая книжка моих рассказов, поставил первый в жизни автограф человеку, который привил мне уважительность к слову, пробудил жажду творчества.

Разумеется, между школьным сочинением и первой книгой рассказов пролетели годы. И какие! Я окончил школу ФЗО на станции Енисей и работал близ города Красноярска на станции Базаиха составителем поездов. Осенью 1942 года ушел на фронт, воевал солдатом.

Демобилизовался из армии осенью 1945 года. Жена моя тоже была солдатом, и мы приехали жить в ее родной уральский город — Чусовой. Устроиться тогда жить и работать было не так-то просто, и мы жили в послевоенные годы в дымном рабочем городке не очень весело.

Однажды я попал на занятие литературного кружка при местной газете. И как раз угодил слушать рассказ о войне. Взбесил меня тот рассказ. Герой его, летчик, сбивал и таранил фрицев, будто ворон. Потом благополучно приземлился, получил орден, вернулся домой. Его встречали родные, невеста и вся деревня, да так встречали, что хоть перескакивай из жизни в этот рассказ.

А мы вон, два орла-молодожена, спорхнули в жизнь с продовольственными талончиками на полмесяца. Я вдобавок ко всему в летнем обмундировании, в сапогах и пилотке, на дворе — ноябрь.

Работал я сначала где придется, затем попал в горячий цех — ребятишки пошли, кормить их надо, зарабатывать побольше, здоровьишко на войне оставлено. Врачи предложили идти на легкую работу. Но город весь из металлургии состоит, в нем жизнь и работа трудная. Пометался, пометался я и стал вагоны с дровами разгружать, затем мясные туши — для колбасного завода. Позднее перевели меня в цех мыть и подавать туши обвальщикам на стол, затем солить, селитровать и сваливать мясо в бочки — труд тяжелый и грязный.

Когда я проработал в цехе несколько месяцев, мне было поручено вахтерить на заводе по ночам.

Так вот, после занятия того литкружка, не заходя домой, явился я на колбасный заводик, принял смену и уселся на всю ночь в маленькой комнатушке с одной отопительной батареей, с одной лампочкой, с одним столом, с журналом дежурств и чернильницей на этом столе.

Не читалось мне в ту ночь и на месте не сиделось: все не шел из головы рассказ, услышанный на литкружке. Может, в других частях были люди, не похожие на тех, что в моей части, думал я. Но я послужил не в одном полку. Бывал и в госпиталях, всюду встречал фронтовиков. Разные они, слов нет, да есть в них такое, что роднит всех, объединяет. Но и в этом родстве они ничем не похожи на тех, которые всех бьют, в плен берут, но сами, как Иван-царевич в сказке, остаются красивыми и невредимыми.

Нет, не такими были мужики и ребята, с которыми я воевал.

Ну вот взять хотя бы Мотю Савинцева, родом из алтайской деревни Шумихн. С оспяным лицом, по которому из-за

этого редко и кустисто росла бороденка, крепкий, нескладный, песни, когда выпивши, пел по-сибирски протяжно, бабьим голосом и все меня сватал за свою племянницу.

Как-то уснул он у телефона. Ночь была. Снег мокрый тащило. Я на центральном телефоне дежурил, сначала сам зуммерил, потом велел всем телефонистам на зуммеры нажать. Нажали — никакого отклика. Вылез я из блиндажа, провод в руки — и на батарею. А там Мотя спит, и трубка, повешенная на ухо, перевернулась мембраной наружу, и потому ничего он не слышит. Дал я ему трубкой по башке. Он как заорет: «„Кукушка" слушает!» (позывная такая была). Я его же шапкой рот ему заткнул, чтоб не разбудить командира батареи.

Однажды я и сам уснул, и Мотя пошел меня будить; пока ходил, в хату, где он дежурил, попал снаряд, и Мотя после этого окончательно решил, что мы с ним — родня.

Еще помню высоту, на которую сам по приказу лейтенанта послал Мотю. С высоты его мертвого принесли. Я долго еще потом называл телефониста на девятой батарее Мотей — Мотя чаще всего дежурил там и позывную придумал: «Кукушка».

Откуковалась кукушка...

«Рассказ» — поставил я на пронумерованной странице журнала дежурств, захватанного жирными руками. «Гражданский человек» — вывел крупно ниже, ибо только так, очень гражданским, очень мирным человеком представлял себе Мотю. За ночь исписал тридцать страниц и не заметил, как пришло утро.

Прочитал я свой рассказ на литкружке. Он понравился. Мотя понравился, живой, чудаковатый. Рассказ напечатали в газете «Чусовской рабочий». Затем областное Пермское радио сделало по нему постановку, был он перепечатан в областной газете «Звезда», в альманахе «Прикамье», и меня пригласили работать в газету «Чусовской рабочий».

Наступил новый, очень напряженный и сложный период жизни: днем работа в газете, ночью, после того как уснут дети, — за столом, шатким, косоногим, в избушке на окраине городка я писал рассказы. Собранные в книгу «До будущей весны» (1953), они положили начало моему литературному пути.

Должен заметить, что выходу этого сборника очень помогла тогдашний секретарь Пермской писательской организации Клавдия Васильевна Рождественская (по счастливому совпадению, однофамилица моего учителя). Это она, уже после первого рассказа поверив в мои литературные способности, добилась для меня, как говорят, «под чернильницу», издательского договора. Много сделали для меня, начинающего литератора, главный редактор Пермского книжного издательства Борис Никандрович Назаровский, директор того же издательства Людмила Сергеевна Римская. Упорно, с терпеливой любовью учил меня работе над словом редактор Детгиза Карл Давыдович Арон. Впервые помогли мне опубликоваться в столице писатели Сергей Петрович Антонов и Юрий Маркович Нагибин. Короткая, словно вспышка, но крепкая взаимообогащающая дружба связывала нас с покойным Александром Николаевичем Макаровым.

Большинство моих вещей получало доброжелательную прессу, не очень широкую и не всегда заслуженную, но непременно напирающую на то, чтобы читатель был ко мне поснисходительней и разделил бы вместе с критиком этакое восхищенное удивление перед «самородком» из «глубинки».

Сначала это забавляло и смешило меня, потом стало бесить, а во зле я становлюсь спокойней, собранней, и это не однажды спасало мне жизнь на войне. Спасло меня «рабочее зло» и на сей раз, спасли некоторые литературные примеры, где шло испытание молодых дарований на прочность и на излом, шло закаливание их неудачами, сильней того — первыми успехами. Учиться, не остаться литературным полудикарем, который, получив билет члена Союза писателей, считает сие вершиной умственных и всяких иных достижений, стать человеком образованным, думающим и постоянно профессионально работающим — вот какую задачу должен был решить я, иначе мне, полуграмотному тогда человеку, был бы конец как литератору.

В 1959 году я поступил в Москве на Высшие литературные курсы и, хотя пришел туда с уже заметным печатным багажом, все-таки практически впервые начал общаться с литературным миром, соскребать с себя толстый слой провинциальной штукатурки.

Раздвинулись рамки окружающей среды. Москва, с ее театрами, концертными залами, выставками; несколько первоклассных преподавателей и друзей, прекрасно знающих литературу, много испытавших и повидавших в жизни, сделали за два года ту работу, которую в одиночку я одолевал бы лет двадцать, но главное — тогда, на курсах, и пришло сознание какой-то, пусть еще не совсем устойчивой, уверенности в своих силах, в праве на работу, за которую дерзнул взяться.

После окончания курсов я поселился в Перми, однако по многим причинам оставил потом этот город и переехал жить в Вологду, к людям, более близким мне по творческому напряжению и поиску.

Писательский труд — беспрестанный поиск, сложный, изнурительный, доводящий порой до отчаяния. Лишь посредственности, привыкшей пользоваться «вторичным сырьем», живется легко и вольготно. Настоящий же литератор всякий раз приступает к новой вещи со страхом и, пока ее не закончит, не знает никакого покоя.

Я убежден, что занятия литературой — дело святое, не терпящее никакого баловства, никакой «самодеятельности». За нашей спиной стоит такая блистательная литература, возвышаются такие титаны, что каждый из нас, прежде чем отнять у них читателя, должен подумать, есть ли у него на это право и основания.

В подобном отношении к литературному творчеству меня постоянно укрепляют и товарищи по перу — такие, как Евгений Иванович Носов, Василий Иванович Белов, Сергей Павлович Залыгин, ныне покойный Федор Александрович Абрамов. Всегда близко у сердца чувствую, многому учусь у писателей помладше меня возрастом — Виктора Потанина, Валентина Распутина, Виктора Лихоносова — они очень хорошо работают в литературе, поддерживают и развивают высокую культуру русской прозы.

Я уже говорил, что везло и везет на людей совестливых, честных, тех самых, о которых говорится: если ты даже из меди сделан, потершись о золото, — хочешь не хочешь — заблестишь! Жить и работать, сверяясь с их жизнью, совестью и книгами, очень трудно. Что и говорить, дружба настоящая всегда требовательна, строга. Но помогают в бою и с поля боя выносят только настоящие друзья.

И если я не запутался в жизни, к чему имелось множество предпосылок, ни единым пятнышком не испачкал своей биографии, вынес все трудности послевоенной жизни и с достоинством человека, который добросовестно выполняет свою работу, блюдя гражданскую опрятность и уважая собственное имя, делаю свое дело, — причина тому тот самый стержневой корень, о котором я уже говорил, корень, уходящий в людскую поросль. Нет страшнее доли — остаться человеку наедине с собою, заблудиться в потемках своей души, окаменеть в самом себе.

Как стремительно летит время!

Годы эти я прожил довольно плодотворно: закончил повесть «Последний поклон» (отдельное ее издание вышло в 1978 году); в 1972—1975 годы работал над повестью «Царь-рыба» (отдельные ее главы стали появляться в печати с 1973 года, первое книжное издание вышло в 1977 году); в 1982 году выпустил в Красноярском книжном издательстве книгу коротких рассказов «Затеси», публиковавшихся начиная с шестидесятых годов в периодике и частично вошедших в четвертый том моего Собрания сочинений (издательство «Молодая гвардия», 1981); наконец-то осилил книгу об Александре Николаевиче Макарове — «Зрячий посох».

Попробовал себя в театре и в кино, удовлетворил свое любопытство и понял, что заниматься надо своим, «тихим» делом, что ни моего характера, ни моих способностей недостает поспевать всюду — по своим творческим наклонностям я не «многостаночник».

На склоне лет я вернулся жить на родину, в Сибирь, о чем давно мечтал, и обрел какое-то, хотя бы в житейском смысле, успокоение, высадившись на «обетованный берег».

Сделалось ли мне с годами и с переменой мест легче работать? Не сказал бы. Легче, точнее сказать, веселее, беззаботней всего работалось в творческом отрочестве и юности, когда, вылупившись из скорлупки, обросши перышками, радостно чирикал обо всем, на что падал глаз. Самосочинительство так захватывало, таким одаривало счастьем первосотворителя, и оглушало, словно весеннее половодье, и ослепляло, будто солнце, восходившее только надо мной и только для меня. Нет, ни за какие муки и сомнения, столь неизбежные потом, в зрелом возрасте, не отдал бы я те счастливые, радостные не дни, а годы, и пусть мудрые критики ищут в строчках тех лет «достоинства и недостатки», а ими, конечно же, изобиловали беспомощные, чуть зеленеющие побеги. Но еще больше было там удивления жизнью и миром, желания петь, кричать от полноты чувств, хотя чаще всего желание это так и оставалось желанием от неумения выразить себя, пролившись «дождем» всего лишь в самой душе «творца», зачастую попавши на бумагу отблеском не самого солнца, а всего лишь подобранного на дороге и отразившего чей-то живой луч стеклышка.

Проходят годы, и не только взмахи легких крыл, но и хомут со шлеей начинаешь ощущать на своей взмыленной спине, чувствовать воз, самим на себя взваленный, тяжесть накопленного багажа и уже не отстраненным восторженным взглядом воспринимаешь действительность, а разумом трудового человека, подуставшего в борьбе с постоянно сопротивляющимся «материалом», то есть теми самыми сложностями бытия, которыми не обделила жизнь наше поколение.

С возрастом все острее и больнее я ощущал и ощущаю тот самый «недобор», преодолевать который пришлось уже в процессе моей литературной работы: впервые приобщаться к музыке, живописи, приобретать простейшие навыки в творческом труде, овладевать культурой чтения. Неуемная жажда жизни и творчества стихийно несла меня в работе, но часто упирался я лбом в ту стену, которой для хорошо образованного и внутренне организованного человека просто не существовало. И сказать, что вот теперь я «научился», «преодолел», — не могу, не возьму на себя такой смелости, ибо все еще чувствую свой дилетантизм в восприятии жизни и «культурных ценностей», недостаточность знаний, губительные провалы вкуса, нередко работаю «вслепую», «на ощупь», не зная, что получится в конечном итоге. И то, что критики вместе с читателями считают моей самобытностью, есть порой не что иное, как неумение «управлять» замыслом, распоряжаться материалом. «Стихия» эта, правда, не всегда приводит к печальным результатам, иногда она, матушка, вдруг и вынесет к «устью», откроет неожиданные «просторы». Так, начавши писать «страницы детства» вразброс, без определенного плана и замысла, я в конце концов нащупал какую-то свою собственную форму повествования и написал «по кускам», а затем и составил книгу «Последний поклон» из отдельных глав-рассказов, порой заступающих в границы короткой повести. К удивлению моему, книга приобрела законченную, хотя и не всегда стройную, форму. И к еще большему удивлению — форма эта дала возможность вместить большой и далеко не простой материал, и там, где писались и пишутся эпопеи из многих книг и частей, мне, думается, удалось ограничиться главами, не выстраивая длинных и необязательных «переходов» и «мостов», минуя эту «эпопейную» нудь, которой так забита наша литература, хотя, по моему глубокому убеждению, этому емкому и всегда пугающему меня слову соответствуют в современной русской литературе всего лишь две-три книги.

Удалось мне еще раз поэксплуатировать эту открытую не только мной форму повествования в рассказах в книге «Царь-рыба». Но форма — не окаменелость, не монолит, она подвижна, по крайней мере, должна быть подвижной, как сама жизнь. Постоянный поиск, усовершенствование формы, стиля, ритма — такова работа сочинителя, и не второстепенная работа — она неразрывна с напряженностью жизни, откуда и черпаются или должны черпаться темы книг, с движением «материала», почерпнутого в ней, и с еще никем не объясненной работой подсознания, этой «тайны из тайн»; все это в совокупности и есть тот творческий труд, который и мучает нас и одаривает счастьем.

Приученный войной и нелегкой жизнью без истерики и особого страха относиться к тому, что образно зовется «концом пути», я почти спокойно вступаю в завершающий период жизни и, поскольку у сочинителя нет ни отдыха, ни отпуска, продолжаю делать свою работу. Мною двигало и движет сознание, что работа моя хоть малой животворной каплей пополняет море человеческого бытия, и слабая-слабая надежда на то, что пусть немножко, пусть совсем маленько поможет людям убавить мук и страданий или хотя бы избежать тех, которые пережили мы на войне, более чем тяжко отозвавшейся не только на народном хозяйстве, но и на душах человеческих.

Продолжая работу, я полной мерой ощущаю сложность этой задачи. Груз памяти пригибает меня к земле, ломает мой крестец, ибо она, память, высветляет не одни картинки детства, не одну любовь и радость, она воскрешает и войну, ненависть, безумство человеческое, кровь, смерть, и, надеюсь я, моя работа нужна для того, чтоб я «отболел» войной последний раз, ради будущего, ради детей своих и внуков.

Совсем недавно маленький мальчик, мой шестилетний внук, спросил, с каких лет принимают работать на комбайн. Дед и бабка, естественно, поинтересовались, зачем ему это знать. И внук заявил, что хочет работать на комбайне, для того чтобы никого не убивать.

Льщу себе мыслью, что, может, мое и бабкино знание войны, наша ненависть к ней, неприятие насильственной смерти в любом ее виде как-то кровно передались внуку вместе с теми самыми генами, влияние которых теперь признано неоспоримо. Если мне удастся внушить хотя бы немногим людям, что жизнь дается человеку лишь единожды и никогда, никогда и ни в чем более не повторяется, что сама по себе сознательная и созидательная жизнь столь коротка, что бессмысленно, неразумно обрывать ее прежде времени, тратить силы на разрушение, жестокости и убийства и надо пробовать жить на земле в мире и согласии, то, значит, существование и работа моя и писателей моего поколения были не напрасны.

Точка на бумаге поставлена, но жизнь-то идет, и накапливается материал в сердце и памяти литератора, порой материал такой, что ни спать, ни дышать, ни жить дальше невозможно, не разгрузив себя. Именно перегрузки, надсада души, от тяжести ее переполнившей, толкнула меня однажды к столу и заставила поставить на бумаге два слова: «Печальный детектив», и люди, упрекавшие меня, лирика, автора веселой и доброй книги «Последний поклон», в том, что я изменил себе, написал роман, не свойственный моему, высокопарно говоря, дарованию, не смогли понять, что я не мог не написать это произведение и не мог таскать вечно в себе эти раскаленные угли, но скорее горячий отвальный шлак, он сжег бы меня, раздавил.

«Разгрузившись», свалив скопившийся в моей душе груз на плечи читателя, я с удовольствием вернулся к «Последнему поклону», к «Затесям», рассказам, писание которых доставляло и доставляет мне куда больше наслаждения, чем изображение негативных (слово-то какое чужое, безликое, вялое, где-то на ходу бездумно подхваченное и уже затрепанное) сторон жизни.

Но внимательные читатели (не критики, нет — этим некогда, и задачи жизни и работы у многих из них далеки от литературных дел) заметили, что и «Поклон» продолжил, и последние рассказы писал уже литератор иного качества, литератор, за плечами которого или все еще на плечах находится «Печальный детектив». Книга — это родное дитя

писателя, а дитя, грубо перефразируя русскую пословицу, — не лапоть, с ноги не скинешь. Влияние проделанной работы, да еще надсадной, неизбежно на жизнь и на работу литератора.

И возраст, и изменения в текущей действительности, и неизбежные, к сожалению, потери друзей, в том числе «вечных» фронтовых, и близких — все это также имело во все времена и имеет влияние на человека, тем более на художника, с удесятеренным обострением, взаболь воспринимающего беды семейные, горе и утраты всеобщие, народные. Я не завидую тем, кто умеет в творчестве спрятаться от действительности, но и они, наверное, не завидуют мне и моим друзьям по работе в литературе, через свое сердце пропускающим все боли и страдания людей, смятение, если не смятенность родного народа, загнанного в угол и не знающего, как оттуда выбраться, но на всякий случай по-детски хнычущего: «Я больше не буду...»

Я завершил работу над книгой «Последний поклон», продолжившуюся более тридцати лет. Приблизился конец романа о войне, давно начатого и, слава Богу, сгоряча, с маху не написанного. Эта главная книга жизни требовала не только выношенности, но и практической подготовки, исторической перспективы.

Вот уже десять лет, как я вернулся на Родину, живу и работаю на берегу Енисея, пусть и испохабленного строителями коммунизма, пусть и сиротливо, жалко шевелящегося, но все еще живого. Еще не совсем превращена в придурочно-дачный поселок моя родная деревня Овсянка, не все еще леса вокруг вырублены и сожжены, еще цветут цветы, зеленеет трава, и мои земляки-односельчане есть живые, здороваются, поют по праздникам и молятся Богу, кто не совсем память потерял и помнит некоторые молитвы...

Жизнь идет, продолжается работа... Господь помог, хватило сил и моих земных сроков закончить главную книгу, главный труд, «завещанный от Бога». И то утешение...

Воспоминания об Овсянке

Книга «Тихая птица» Виктора Астафьева, которую завершает автобиографический «Стержневой корень», необычна во многих отношениях. В отличие от других книг писателя, она составлена им самим. Он взял в нее особо любимое им. Потому здесь оказались и «Ода русскому огороду», и «Печальный детектив», и «Пастух и пастушка», к тому же этот роман печатается по оригиналу, не в урезанном виде.

А начиналась наша совместная работа редактора и писателя с моей поездки в Красноярск, памятной поездки.

Вылетел в осенним деньком восемьдесят пятого года, находясь под впечатлением филиппики А. Стрелянного, известного ныне комментатора радиостанции «Свобода», язвительно живописавшего, как живет матерый «деревенщик» в сибирской глуши. По словам «перестройщика» получалось — живет роскошно, в особых апартаментах красноярского Академгородка, подобных двухэтажному «бункеру» академика Будкера в Академгородке новосибирском, с садовником и горничной, подающей завтрак в постель. Поэтому был крайне смущен, когда ночной таксист вытряхнул мои вещички у обшарпанного подъезда пятиэтажной «хрущобы», такой же, как та, у стен Бутырской тюрьмы, к которой я сам пожизненно приписан...

Впрочем, русская изба красна пирогами. Утром я огляделся. Дом, в котором живет Астафьев, открытый всем студеным енисейским ветрам, парусил на окраине вполне невзрачного «городка академиков». Зато — на диком бреге. А на другом берегу... Из окна девятиметрового кабинета-спаленки Виктора Петровича, с пятого этажа, видно в ясную погоду село Овсянка, где он родился; сплавные боны у Большой Слизневки, где утонула его мать, зацепившись косой за перевясло; дорога в Дивногорск к осьмому чуду света — заповедным Столбам.

Так нежданно распорядилась судьба, безжалостно мотавшая по белу свету крестьянского сироту, солдатика-добровольца, израненного в первых же боях на Днепровском плацдарме, затем бездомного инвалида, вкалывавшего чернорабочим на Северном Урале вместе с женой-санитаркой.

Стоит только выглянуть из окошка — и все прошлое с высоты птичьего полета или с высоты прожитых лет открывается как на ладони. И это прошлое сильнее, чем фронтовые раны, саднит душу, не дает покоя.

Три дня я жил гостем, почти что родственником: отъедался, спал, штудировал астафьевскую библиотеку и архив, сбереженный Марией Семеновной Корякиной в житейских странствиях от Урала до Вологды, от Вологды до Енисея. Еще три дня Виктор Петрович одаривал меня своими друзьями, водил в музеи, в театр на премьеру своей пьесы «Не убий!». Прогуливал заветными тропами вдоль реки, где он обычно «ногами» пишет, вынашивая свою новую книгу. Свозил в погожий день в Овсянку, где у родительского пепелища, ища убежища от назойливо-суетного века, построил он крохотную избушку для уединенных литературных трудов.

А на седьмое утро... На цыпочках, чуть свет, но уже при параде, Виктор Петрович подошел к овальному столу у моего изголовья, тихонько выудил из-под недельного завала просмотренных мною книг папку с «Завещанием», по которому, как я узнал случайно, Володе Крупину дарилась курительная трубка, а художнику Евгению Капустину, отчаянно искавшему подходы к «Царь-рыбе», — угрюмые пейзажи сибирских рек, украшавшие стены библиотеки.

Почувствовав, что я сквозь дрему наблюдаю за ним, Виктор Петрович присел на диван, пододвинул на краешек стола стопку бумаги в клетку, исписанной бегущим крупным «куриным» почерком, и попросил:

— Помоги Марье, редактор, разобраться в моих каракулях. Взбунтовалась старушка... — И удалился к нотариусу, не сказав, вопреки обыкновению, когда вернется.

Как только у подъезда заурчал мотор, ко мне влетела взъерошенная Мария Семеновна с красными пятнами, проступившими на заплаканном лице. Без предисловий и как-то слишком горячо, как бы в отчаянии, обмахнув фартуком рукопись мужа, сказала требовательно и одновременно просяще: «Володя, скажи ему, что так писать нельзя!» — и, погремев на кухне посудой — давала к завтраку знак, — тоже ушла из дому.

Я тут же сел к столу. И хотя был подготовлен к испытанию («Царь-рыбой» и вышедшими в Красноярске «Затесями», за публикацию которых редактора Г. Н. Ермолину вышвырнули со «сторгачом» с работы), прочитанное раздавило меня. С каждым десятком новых, с трудом расшифрованных рукописных страниц «Печального детектива» я все глубже погружался в липкую зловонную мглу. За четверть века редакторства ничего безнадежнее читать мне не доводилось.

Казалось, все зло, все подонство мира сего в обыденных советских обличьях, сорвавшись со своих адских орбит, среди бела дня, при всем честном народе, навалилось на провинциального следователя Леонида Сошнина и гвоздило его и мутузило при нашем трусливом попустительстве.

«Что ж, — сказал он, — чего тут бояться? Человек сюда прийти не может, а от мертвецов и выходцев с того света есть у меня молитвы такие, что как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут». Помните? Это успокаивает себя посреди оскверненной церкви у гроба ведьмы семинарист Хома Брут.

Атеисту Сошнину в стране безбожников нельзя опереться даже на Слово Божие. И его «достают» не мертвецы, не бесовское отродье. Ему по должности каждый день положено общаться не с метафизическим, а с самым что ни на есть реальным отребьем нашего размопоченного, порабощенного, пропущенного циничными красногубыми комиссарами-вампирами через безотцовщину, лагеря и гибельные бараки, споенного и обездоленного народа.

Такой концентрации зла безыдейного, ползучего в небольшом романе, повествующем не о прошлом, а о сегодняшнем дне погибели земли русской, не бывало еще в нашей литературе. «Пожар» Распутина и «Все впереди» Василия Белова мы прочли чуть позже.

Тогда только зачиналась гласность: «вожди» твердили о социалистическом выборе и коммерсанты с партийными и комсомольскими билетами не успели еще унавозить страну видеобарами с заморской «порнухой» и «чернухой». И «Московский комсомолец» не давал еще нашим девушкам путевок в публичные дома «цивилизованного сообщества».

Крючки и шипы астафьевского почерка, рвавшегося из лиловых клеточек школьной бумаги, казались мне ржавой лагерной проволокой, по которой шел электрический ток ненависти. И на ней дергалась, заживо разлагаясь и загнивая, напиравшая на меня, как на обреченного бурсака Хому, беспощадная сволочь.

И я понял отчаяние маленькой, мужественной Марии Семеновны, которая хотела и не смела остановить своего израненного мужа, который один, чтобы защитить наше достоинство, грудью пошел, как лейтенант Сошнин, на навозные вилы ублюдка, олицетворявшие для старого солдата вселенское зло.

Мария Семеновна, пропустившая через свое сердце и руки каждую страницу, написанную мужем, лучше других предчувствовала грядущие беды.

Но я знал норов Астафьева и видел «Завещание», быть может, не случайно забытое посреди стола. И я увез «Печальный детектив» в Москву. И он, практически без редактуры, «с колес», был напечатан в журнале, а затем в «совписовской» книге «Падение листа» вместе с опальными «Затесями», вызвав шквал ненависти, оскорблений и угроз, сопоставимый лишь с тем, который нынешние «прорабы перестройки» обрушили на авторов «Пожара» и «Все впереди». Негодовали не подонки общества — они книг не читают, а благопристойные книжники и фарисеи. Бледное, «окультуренное» представление об этом неистовстве людей, кричащих писателю, чтобы он «не делал волны», дают «Вопросы литературы (№ 11, 1986) — размышления «культурного» читателя А. Кучерского («Печальный негатив») и критика Е. Стариковой, которая обнаружила в романе... «доморощенный шовинизм дурного тона».

Пошли гулять по стране подметные письма литературного Гапона, поучающие и порочащие Астафьева. «Оглашенный» перестройкой рифмоплет возбудил грузинскую делегацию театрально покинуть съезд писателей в знак протеста против публикации «Ловли пескарей»... Подстрекатели уличали писателя в оскорблении кавказских народов, в антисемитизме, оставляя за ним лишь одно право — обличать ничтожество и вырождение ненавистных ими русских. От Астафьева в ту пору отступались даже друзья. Когда умерла дочь и больные старики взяли в Красноярск осиротевших внуков, никто не пришел им на помощь, кроме незнакомого священника, которому тоже угрожали расправой...

Астафьев выстоял. Время, даже наше смутное время, оценило Слово правды, гражданское мужество...

Но «нет покоя». Впереди, может быть, самое трудное — публикация главной книги. Книги о войне, которую он писал всю жизнь. Талант Астафьева непредсказуем. Его можно уподобить вулканическим силам, которые стихийно разрывают заскорузлые структуры нашего заблудившегося в истории общества, строившего безбожный рай на земле. Но эти же стихийные силы иногда его ввергают в противоречия, вызывающие не только недоумение и

досадную горечь, но и боль за неосторожные, обидные слова писателя о своих собратьях по перу. Так было с августовским телевизионным интервью, перепечатанным «Комсомольской правдой».

Во что же тогда верит писатель, если он еще во что-то верит?! Только что вы прочли «Стержневой корень» — затеси на горестном жизненном пути. Там есть ответ настоящего, а не депутатского, торопливо интервьюируемого...

Среди моря крови, злодеяний и пакости, в которое был брошен судьбой крестьянский сын Виктор Петрович, пишет он, всегда рядом с ним находились в трудный час добрые люди.

Директор детской колонии, учитель словесности, фронтовой друг, заслонивший от пули, столичный литератор, писавший начинающему провинциалу дружеские «философические» письма. Эти люди стали героями его лучших книг. Астафьев верит в свет добра, исходящего от тех, кто себя и нас своим трудом кормит. Добрые люди, праведники — это наши путеводные звезды. На них-то и держится еще страшный обезумевший мир, сегодня вновь ритуально поклонившийся дьяволу наживы, похоти и вседозволенности. Беспросветна, чревата бедой даже небесная твердь. Но вот среди мрака проступает звезда, другая, вокруг них группируются плеяды звезд, и хаос обретает гармонию.

Все, что пишет Астафьев, он пропустил через свой, недоступный большинству из нас, жизненный опыт. В очень личном, местами несколько даже расхристанном рассказе «Тельняшка с Тихого океана», писавшемся «параллельно» с яростным «Печальным детективом», есть надрывающие душу исповедальные слова о младшей сестре: «Всю жизнь она, словно искупая вину родителей передо мною, будет беречь меня и жалеть, да так, что страшно мне бывает порой от ее святой, даже какой-то жертвенной любви, до суеверности страшно, и я, ожесточенный сиротством и войной, никогда не смог, и уже не смогу, подняться до той бескорыстной мне преданности, до того беззаветного чувства, каковым наделили Господь или природа мою сестру. Если бы провидение вложило перо в руку не мне, а ей, она создала бы, обязательно создала бы великое произведение, потому как сердце ее не знает зла, оно переполнено добром и любовью к людям — написать же, родить и вообще что-то путное создать на земле возможно только с добром в сердце, ибо зло разрушительно и бесплодно».

К несчастью, художник книги «Тихая птица» А. Бегак этих нежно мерцающих звезд не увидел. Книга должна была выйти цветной, многоцветной. Писатель мечтал об этом.

Прочитайте «Тихую птицу». Виктор Петрович собрал в эту книгу самое сокровенное, свое кровное, «астафьевское». Свободное от ученичества, конъюнктуры и цензуры, которая семьдесят лет по крохам отмеряла дозволенную правду, защищая большую ложь. И главное — от цензуры авторской, которая у советского писателя заместила инстинкт самосохранения, увы, свойственный всему живому.

ВЛАДИМИР СТЕЦЕНКО

Не только о любви

Книгу эту приятно взять в руки. Она невелика по формату, в твердой обложке, на хорошей бумаге, просто и изящно оформлена художником. Словом, внешне весьма привлекает.

Однако первое же знакомство с текстами «о свойствах страсти» повергают сначала в недоумение, а потом к разочарование... В чем же дело?! Оказывается, никакая любовь не может спасти несовершенных переводов. Хотя взяты они составителем сборника в основном из книг издательства «Художественная литература» разных лет, считающихся чуть ли не эталоном переводов, от 1955 года — «Сонеты» Шекспира в переводах С. Маршака — до 1986 года — «Книга стихотворений» Катулла в переводах С. Шервинского.

Что касается переводов С. Маршака, то взыскательный вкус они давно не удовлетворяют. Это скорее добросовестный подстрочник. Или взять Овидия в переводах М. Гаспарова. Такой русский язык вызывает только зубную боль. И вместо наслаждения величайшей поэзией в раздражении откладываешь книгу.

Овидий в переводах М. Гаспарова (а они занимают полкниги) эстетического наслаждения не доставит, а чувствительно отобьет охоту обращаться к сборнику в тихий лирический час.

А поскольку книгу составляют классики литературы, то не пора ли поставить вполне резонный вопрос: не хватит нам полуграмотных, беспомощных переводов? Настало время вернуть те, что были до Октября 1917 г. блестящие поэтические переводы. Кои на долгие годы были у нас несправедливо отняты. Огромное духовное богатство, созданное переводческой русской школой, должно быть возвращено. Там был и духовный опыт, и эстетический вкус, и великолепное знание русского языка, гибкого, певучего, ясного в выражении мыслей, без косноязычья советских ремесленников.

А. К.

Наука любви. Поэтический сборник. М.: Изд-во политической литературы. 1990 г.

Голос поэта, не умолкай!

Это подборка стихов из нашей редакционной почты.

У кого-то может создаться впечатление, что молодые поэты широко и активно печатаются. А это далеко не так — молодых поэтов сейчас гораздо больше, чем тех имен, которые время от времени появляются на страницах периодики. А гении не произрастают на пустом месте, вспомним хотя бы наш золотой девятнадцатый век — какое обилие печатных органов! А еще многие писатели включились сейчас в общественно-политическую борьбу, и здесь мы больше теряем, чем находим: художник все-таки носитель другой, органической правды, совершенно несовместимой с коньюнктурным сиюминутным мышлением. Люди устали от политики, и молодые поэты, которых мы сегодня представляем, хорошо понимают это. Свое видение мира, свое чувственное представление об окружающем — не это ли главным было во все времена?

Евгений ЧЕРНОВ

АЛЕКСАНДР КУВАКИН
(Московская обл.)

* * *

Все песни позабыть. Все книги.
И все цитаты о труде.
В земной коре услышать сдвиги
И угадать по звуку, где

Гудит минута роковая,
Определяя на века
Закон, который воля злая
В жизнь воплотит наверняка.
. . . .

НИКОЛАЙ ОЛУФЁРОВ
(Архангельская обл.)

* * *

Октябрь до снега — грязноват,
листвой пригрелся, желт от скуки
и тянет к окнам через сад
дождя неласковые руки.

На улице уже темно,
и вот я печку разжигаю,
и с холода несу ведро
воды,
и чайник наставляю.

Мурлычет рядом мирный кот,
ценя уют, он жмется мудро
к теплу и знает наперед,
что завтра снега ждать под утро...

НИНА СТРУЧКОВА
(Московская обл.)

* * *

Деревня моя средн холмов —
Зыбка узорная.
Сияющий небосвод — потолок.
Качается зыбка,
Привязанная к золотому кольцу в потолке
Солнечными лучами.
Господь, сохрани бытие ее иллюзорное.
Раскачивание деревне не впрок.
Ей зябко и зыбко.
Боюсь ее вверить чужой, равнодушной руке —
Как бы не укачали!..

ВИТАЛИЙ ВОЛОБУЕВ
(Белгород)

* * *

Невысокая горушка,
Неширокая река,
Лес, да поле, да избушка,
Да шальные облака —
Вот и вся моя обитель,
И отрада, и беда,
Не могу ее обидеть
И не еду никуда.
Эх, тропинки, вы, тропинки,
Да луга, да камыши,
Ни одной чужой травинки,
Ни одной чужой души...

АЛЛА РОСТОВЦЕВА
(Москва)

* * *

Ночному саду вес и направленье,
Неотделимые навеки от весны
Напором красок, блеском совершенства,
Дает сирени синее смущенье,
Размытое на фоне темноты,
Своим прикосновеньем женским
Волнующее каждый тайный миг —
От шепота дождей оглохший мир...

ДЕНИС КОРОТАЕВ
(Москва)

* * *

Все встает на свои места
на земле, опаленной адом,
и когда-нибудь Храм Христа
вознесется над стольным градом.

Сгинет след одиозных драм,
пепел смуты приветит небыль,
и взлетит над землею Храм,
приподняв куполами небо.

А пока все старо до слез,
и не верится в близость чуда:
и прощает врагам Христос,
и целует Христа Иуда...

ОЛЬГА ВЕРЕСОВА
(Московская обл.)

Единосущее

В сердце пустив зарю,
Молитву творю
Токами всецветными
С тварями всесветными:
Ангелами пущими,
Птицами поющими,
Травами душистыми,
Зверями пушистыми;
С четверицею седой:
Легкой твердью голубой,
Всекормящей хлеб-землей,
Царь-огнем да мед-водой...

В сердце пустив зарю,
Молитву творю...

МАРИНА САФОНОВА
(Москва)

* * *

Вот первые письма —
смятенные птицы разлуки...
Меж строк —
исступленье.
Ночные бессвязные звуки.
Слова набегают,
как волны горячие страсти,
и нежность смягчает
ее упоение властью.

Недолгое время —
а в письмах сменилась эпоха:
прерывистость мысли —
пугливая прерванность вздоха,
и скована фраза,
и глухо упреков броженье...
Ей хочется разом
отмстить
и простить униженье.
Вот новые письма —
привычка за долгие годы:
работа, болезни,
покупки, капризы погоды...
Она отсылает,
а он получает уныло
и думает вяло:
«Врала. Никогда не любила».

РИММА КИРКОС
(Ленинградская обл.)

Трущобные мысли уставлены в стену.
Как дуло в висок.
Они безнадежную ждут перемену
И взводят курок.

В унылые окна, убогие дали
Не смотрят глаза.
Пусть даже насильно мне их развязали.
Я знаю — нельзя.

Пусть мир проповедуют обетованный
За этой стеной —
Не верю. И вижу, как Агнец закланный
Вновь пущен в убой.

АНДРЕЙ УСТИМЕНКО
(Москва)

* * *

Земле предали тело. А душа
Кружила сиротливо над могилой
И вздрагивала, слыша, как стучат
О крышку гроба комья мерзлой глины.

Когда ушли родные и друзья,
На холм могильный тихо опустилась...
Слезой прощальной в гаснущих глазах
Звезда на черном небе заискрилась.

Из пропасти космических глубин
Дохнуло ветром страшного покоя.
Был для души покой непостижим,
Она не знала, что это такое.

И лишь заря на небе занялась,
В мир принося обычные заботы,
Душа неторопливо поднялась
И тихо полетела по покосу.

РУСЛАН ДЕРИГЛАЗОВ
(Новгород)

* * *

Нет мира в душе,
и в Отечестве смута,
краюха крушений
посолена круто.

Судьбины сухарь
грызи без боязни,
пока календарь
не вылистал казней.

Размочат в крови
прогорклую корку.
Давись не давись,
глотай втихомолку.

Слезой усластишь
страстную вечерю.
Я верю: простишь.
Воскреснешь — я верю!

ГРИГОРИЙ КЛИМОВ

Князь мира сего

Откровенно говоря, это еще можно было бы понять. Но вскоре все это дело стало еще более запутанным.

Пока 13-й Отдел НКВД занимался обысками у врагов народа, Борис время от времени обыскивал комнату начальника 13-го Отдела НКВД. Просто так, из любопытства. И так он наткнулся на серую папку, заглянув в которую, ему стало немножко страшно. Это было дело, которое касалось самого Сталина, вернее, его жены.

Вторая жена Сталина, Надежда Аллилуева, тоже была красавицей, которую Сталин, как говорили, тоже очень любил. И она тоже умерла при загадочных обстоятельствах. Одни говорили, что она покончила самоубийством, а другие — что Сталин ее убил.

А в серой папке были всякие подробности. Оказывается, странная для жены Сталина фамилия — Аллилуева — происходила от того, что ее предки были священниками. Затем пометка, что брат жены Сталина, Павел Аллилуев, женился на дочери священника, и это уже в советское время.

«Странно, — подумал Борис, — ведь и сам Сталин тоже учился на священника. И создатель ЧК Дзержинский, обнаженный меч революции, тоже собирался стать ксендзом. А что из них получилось? А потом эти же самые Сталин и Дзержинский гонят всех священников в Сибирь. Действительно, получается что-то вроде марксистского закона о единстве и борьбе противоположностей».

В серой папке упоминался и второй брат жены Сталина, Федор Аллилуев, о котором официально нигде не сообщалось. А не сообщалось по той простой причине, что Федор Аллилуев был сумасшедшим. Он сошел с ума еще во время гражданской войны.

Следом в серой папке шла старшая сестра жены Сталина, Анна Аллилуева. В молодости она училась в Петербургском психоневрологическом институте, собираясь стать врачом-психиатром. Но она не окончила этот институт, так как сама оказалась психически больной. Шизофрения. Несколько сестер ее матери, Ольги Аллилуевой, тоже были больны шизофренией.

Отец жены Сталина, Сергей Аллилуев, и его жена Ольга были профессиональными революционерами. Но теперь по Москве шептали, что и они тоже арестованы, как враги народа. И каждому было ясно, что никто не может арестовать тещу и тестя Сталина, кроме как по приказу самого Сталина.

Вскоре после этого арестовали Павла Аллилуева, брата любимой жены Сталина. Затем подмели Станислава Реденса, крупного работника НКВД. Из Главного Управления НКВД — прямо в подвал — и пулю в затылок. Но все знали, что Реденс — это муж Анны Аллилуевой, сестры любимой жены Сталина.

Итак, Сталин не только загнал в концлагерь отца, мать и брата своей любимой жены, но даже ликвидировал своего свояка!?

В серой папке указывалось, что после смерти своей любимой жены Сталин всячески ругал книгу, которую его жена читала перед смертью. Это был модный роман «Зеленая шляпа» Михаэля Арлена.

Тут же справка специалистов 13-го Отдела: кончается этот роман самоубийством в результате сифилиса. И рукой Максима примечание: «Легионеры так боятся самого слова легионизация, что, говоря о легионизации, они обычно сваливали вину на невинный сифилис. Типичное явление».

«Странно, — подумал Борис, листая серую папку, — ведь недавно Максим болтал про какую-то болезнь, которая передается по наследству вроде сифилиса, но которая гораздо хуже сифилиса. Кстати, ведь и про Ленина тоже говорили, что он был сифилитиком. Но что это за легионизация? И что это за легионеры? Опять какой-то чертов шифр этого чертова 13-го Отдела».

Затем в серой папке шел список кремлевских вдов:

«Жена первомарксиста — Роза Марковна.

Жена Чичерина — тоже какая-то библейская Роза.

Жена Бухарина — Эсфирь Гуревич.

Жена Каменева — Ольга Давидовна, младшая сестра Троцкого.

Жена легендарного героя революции Щорса — Мария Хайкина».

И список этот был довольно длинный. Следом шел список кремлевских дам:

«Жена наркома обороны Ворошилова — Екатерина Давидовна.

Жена наркоминдела Молотова — мадам Жемчужина-Перлеман.

Жена наркома путей сообщения Андреева — Дора Моисеевна Хазан.

И, наконец, третья, хотя и неофициальная, жена Сталина — Роза Каганович».

Тут же было примечание, что она не то сестра, не то племянница наркома тяжелой промышленности Лазаря Кагановича, но выяснить это трудно, так как она приемный ребенок и это семейная тайна.

«Странно, — подумал Борис, — что это там такое в Кремле? — специальное брачное бюро по подысканию кремлевским вождям еврейских жен? И почему этим интересуется 13-й Отдел НКВД?»

«Сначала глупые библейские бредни, что дьявол — это князь мира сего. Потом болтовня философа-богоискателя Бердяева про сатану, антихриста, про братство в антихристе и, в результате, царство князя мира сего. Но почему 13-й Отдел соглашается, что сатана и антихрист не только существуют, но даже и женятся?! И зачем эти странные списки библейского персонала среди кремлевских жен?! Половина из них уже стала вдовами. А недавно и жену Молотова тоже подмели. Вроде какая-то закономерность. Но какая? Что это такое?»

Мозговой трест профессора Руднева работал довольно основательно. Они не оставили в покое даже первую жену Сталина, Екатерину Сванидзе, которая давно умерла. В официальной биографии Сталина говорилось, что она была бедной крестьянкой. Но в серой папке стояло, что брат первой жены Сталина, Александр Сванидзе, женился на Марии Корона, из семьи богатых евреев, выходцев из Испании; что оба они получили прекрасное образование за границей, после чего Александр Сванидзе занимал крупный пост в советском правительстве. Судя по этому, вряд ли первая жена Сталина была бедной крестьянкой.

Но дело не в этом. Дело в том, что вся Москва знала, что брата первой жены Сталина недавно арестовали — как врага народа. Вместе с ним подмели не только его жену, Марию Корона, но и их сына Джоника. Этот бедный Джоник с детских лет страдал врожденной неврастенией и постоянно лечился в психоневрологическом диспансере.

Вслед за Александром Сванидзе арестовали и его сестру Марико, то есть сестру первой жены Сталина. У жены Александра Сванидзе, Марии Корона, был брат — так и этого брата тоже подмели. Но все москвичи прекрасно знали, что никто не посмеет арестовать родственников Сталина, кроме как по прямому приказу самого Сталина.

Борис захлопнул зловещую папку. Итак, Сталин не только ликвидировал всю семью своей возлюбленной второй жены, но истребил до самого корня всех родственников и своей первой жены.

Продолжение. Начало в №№ 5—10/1991

Но ведь это в точности то же самое, что получилось у Максима и Ольги! Неужели Максим столь слепо идет за Сталиным? Или, может быть, наоборот? Может быть, Сталин идет по стопам своего сумасшедшего тайного советника? Но что это за чертовщина?

Ища ответа, Борис перевернул серую папку. На обложке, где обычно стоит название дела, было написано:

«Дело князя мира сего».

На оборотной стороне папки, где Максим любил делать свои заключения, стояло что-то непонятное:

«И Он пришел обличить мир о грехе и о правде и о суде: ...о суде же, что князь мира сего осужден».

А наискосок красными чернилами резолюция:

«Приговор утверждаю. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». И внизу подпись комиссара госбезопасности СССР Максима Руднева.

Но если Максим только утверждает этот приговор... То кто же вынес этот приговор по делу о князе мира сего?

Глава 7

ЗМЕЯ И МЕЧ

> Из уст же Его исходит острый меч. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет.
>
> Откровение святого Иоанна Богослова 19, 15; 20, 2

Чем больше свирепствовала Великая Чистка, тем чаще Борис производил обыски в комнате начальника 13-го Отдела НКВД, пытаясь разгадать тайны этой загадочной чистки. На столе Максима постоянно лежали вырезки из международной прессы, где много писали об «охоте на ведьм» в СССР, возмущались этим — и никто ничего не понимал.

Во время одного из таких обысков Борис наткнулся на желтую папку с надписью: «Дело № 69/ПЛ — Властелины человеческих душ».

Листая эту папку, Борис вспомнил дело «Голубой звезды» и печальный крик души Максима: «Эх, если бы я знал это раньше! Как много горя и несчастья — и только потому, что я не знал этого». Это после того, как Максим обнаружил, что его мертвая красавица жена, хотя и выглядела как тихий ангел, но на самом деле была какая-то полукровка, не то полуангел и полумарсианка, не то помесь сатаны и антихриста.

Тогда Максима заинтересовало, почему об этом так мало пишут в прессе. Почему молчат писатели и поэты? Почему они не выполняют свой гражданский долг — предупредить сограждан об опасности со стороны сатаны и антихриста? И тогда Максим отдал своему Научно-исследовательскому институту НКВД приказ произвести по этому поводу специальное расследование.

Писателей и поэтов издавна называли властелинами человеческих душ. В советское время их называли инженерами человеческих душ. А в желтой папке были результаты следствия об этих властелинах человеческих душ.

Мозговой трест профессора Руднева начал свое следствие с поэтов. И чтобы подвести солидный исторический фундамент, как это полагается в серьезных научно-исследовательских работах, все начиналось со ссылок на античные авторитеты. И эти авторитеты говорили следующее.

Древнегреческий философ Аристотель, величайший ум античного мира, рассуждая о взаимосвязи между умом и безумием, писал, что гениальность и помешательство чаще всего и ярче всего встречаются у поэтов.

Философ Демокрит, один из основоположников материализма, прямо говорил, что человека в здравом уме он не считает настоящим поэтом.

А знаменитый философ Платон, один из основателей объективного идеализма, в своей книге «Государство» для построения коммунистического общества ставил такое обязательное условие: изгнать всех поэтов за границы этого государства.

«Бедные поэты!» — подумал Борис.

Чтобы казаться объективными, специалисты 13-го Отдела делали примечание, что лучший русский поэт Пушкин был исключением из этого правила, он был чистым гением, солнечным гением — и совершеннейше нормальным человеком. Но, следуя советам древних философов, 13-й Отдел считал, что в принципе поэзия — это признак ненормальности и что с поэтами нужно держать ухо востро.

«Кто же из них прав: философы или поэты?» — подумал Борис. Все это казалось странным, запутанным и непонятным.

Зато дальнейшее напоминало остроумный еврейский анекдот. В таких анекдотах, если требуется разрешить какую-нибудь трудную и щекотливую задачу, то нужно только найти умного еврея, который все моментально и очень ловко сделает.

Так поступил и 13-й Отдел НКВД. Чтобы разрешить путаное дело о властелинах человеческих душ, мозговой трест профессора Руднева взял себе на помощь не только одного умного еврея, а целых трех из ранее живших умных евреев. И это даже объяснилось почему. Якобы потому, что корни этого дела нужно искать в Библии и учении апостолов. А это уже своего рода еврейская профессия. И эти три умных еврея, каждый по-своему, как бы продолжают линию библейских апостолов.

Первым апостолом 13-го Отдела был профессор Ломброзо, отец научной криминологии, который был знаменитым психиатром и заведовал сумасшедшими домами, где он собирал свои наблюдения. Прославился он, в основном, своей теорией, что гениальность тесно связана с вырождением или, попросту говоря, с дегенерацией, которая, в свою очередь, тесно связана с душевными болезнями.

Идя дальше по этому пути, профессор Ломброзо написал ученую книгу «Политические преступления и преступники», где он на основании богатого фактического материала доказывал, что большинство политических заговорщиков и революционеров в том случае, если они проигрывают, то попадают на плаху, на виселицу или под расстрел, а если они выигрывают, то становятся вождями, диктаторами, премьерами или президентами, то есть князьями мира сего, но все они, в большинстве случаев, в принципе, те же самые душевнобольные выродженцы, дегенераты и маньяки.

Двигают ими не любовь к свободе, равенству и братству, о чем они всегда кричат, а маниакальная, болезненная жажда власти, характерная для определенной категории дегенератов. Это некий специальный комплекс власти, у которого есть специальная формула. И если знать эту формулу, то...

Конечно, все это страшно заинтересовало 13-й Отдел НКВД. И в особенности таинственная формула власти. Как никак, но ведь профессора Ломброзо считают отцом научной криминологии.

Вторым апостолом 13-го Отдела шел ученик профессора Ломброзо, доктор Нордау-Зюдфельд, который нашумел своей книгой «Вырождение», где он разобрал по косточкам всех властелинов человеческих душ 19-го века: Ницше, Шопенгауэра, Толстого, Золя, Флобера, Бодлера, Ибсена и так далее — и пришел к печальному выводу, что с точки зрения медицины — все они явные выродженцы и душевнобольные. От этого открытия доктор Нордау явно волновался. Но властелины душ, хотя и душевнобольные, спокойно сидели на своих пьедесталах.

Третьим апостолом 13-го Отдела шел знаменитый доктор Фрейд, отец психоанализа, который доказал, что психические болезни, как правило, связаны с половыми извращениями и наоборот. А потому, зная одно, можно судить о другом.

Иначе говоря, гениальный Фрейд утверждал, что дьявол дегенерации прячется в двух местах — в голове и в штанах человека. Но в голову человека так просто не заглянешь. А заглянуть ему в штаны гораздо проще. И тогда можно

судить, что происходит у него в голове. Но это было как раз то, что и требовалось специалистам 13-го Отдела НКВД.

Ведь так можно переловить всех политических преступников. А ну, дядя, снимай-ка штаны! Просто — до гениального. Единственная загвоздка только в том, что в эту ловушку попадут почти все гении.

Чтобы не ошибиться, 13-й Отдел НКВД взял в качестве свидетеля еще 4-го хитроумного еврея. Это был апостол философии экзистенциализма Кьеркегор, горбун и нытик, который утверждал, что со времени изобретения печатного пресса дьявол поселился в печатной краске. А поскольку в наше время пресса — это своего рода шестая великая держава, которая в определенной мере как бы княжит над миром, то в результате теперь невозможно проповедовать христианство. Тебя просто не будут печатать.

Как ни странно, но с Кьеркегором полностью соглашается знаменитый французский писатель Андре Жид, который совершенно серьезно заявляет, что нет книги, которая была бы написана без помощи дьявола.

Примечание специалистов 13-го Отдела: «Конечно, он сам педераст. Но мы эту символику тоже знаем».

Подведя столь солидную научную базу, мозговой трест профессора Руднева стал проверять эти теории на практических примерах. Первым делом сняли штаны с великого гуманиста Льва Толстого, заслуженного богоискателя, которого почему-то со скандалом отлучили от церкви, и сиятельного графа, которого сам Ленин называл зеркалом русской революции.

Чтобы не было недоразумений, слово предоставлялось самому Толстому. В своем личном дневнике от 29 ноября 1851 года он писал следующее:

«Я никогда не любил женщину... но я довольно часто влюблялся в мужчин... Я влюбился в мужчину, еще не зная, что такое педерастия... Например, Дьяков — я хотел задушить его поцелуями и плакать».

В своей «Исповеди» Толстой писал так: «Я чувствовал, что я не совсем здоров душевно».

А в это время второй великий русский писатель — Достоевский писал так: «О Льве Толстом... слышно, что он совсем помешался».

На это Толстой отвечал Достоевскому, что тот сам больной и все его герои тоже больные. При этом подразумевались не больные желудком, а душевнобольные.

«Боже, — подумал Борис, — вот это так обмен любезностями между гениями!»

Чтобы разрешить этот спор, 13-й Отдел ссылался на знаменитого психиатра Россолимо, который лечил Толстого и поставил такой диагноз: «Дегенеративная двойная конституция: паранойяльная и истерическая с преобладанием первой».

А чтобы Толстому не было обидно, профессора 13-го Отдела выкопали каких-то фрейдистов — психоаналитиков, которые при помощи всяких финтей-миглей высчитали, что в жизни и творчестве Достоевского тоже есть некие «тенденции гомосексуального порядка». Так помирили Толстого и Достоевского: оба они правы — оба больные.

В желтой папке указывалось, что в молодости Достоевский был членом кружка революционеров-петрашевцев, за что его приговорили к смертной казни, которую потом заменили каторгой, где его лечили по методу Толстого, который проповедовал «лечение трудом». После этого Достоевский действительно вылечился от своих бывших революционных взглядов и стал писателем-реакционером. Позже в своих «Бесах» он писал о своих бывших приятелях-петрашевцах, что это было «противоестественное и противогосударственное общество человек в тринадцать».

«Странно, — подумал Борис, — Достоевский бросает какие-то темные намеки насчет числа 13. А Толстой, как нарочно, наделал 13 детей. А за ними охотится 13-й Отдел НКВД. Что это такое?»

Вслед за графом Толстым сняли штаны с великого пролетарского писателя Максима Горького. Этот буревестник революции в свое время писал, что чудаки украшают жизнь. Но он и сам был большим чудаком. В 19 лет он пытался застрелиться. Потом женился — и вскоре развелся. Его родной ребенок оставался с женой, а Горький взял себе приемного ребенка. И вот тут он действительно учудил.

Обычно люди стараются взять себе приемного ребеночка помоложе. А Горький, которому тогда было 35 лет, усыновил 19-летнего парня. Вот уж действительно чудак! Но это еще не все. Этим приемным ребеночком был некий Зиновий Свердлов, родной брат Якова Свердлова, который позже, после революции, был председателем ВЦИКа, то есть главой советского государства!

И стали в 13-м Отделе к Горькому придираться. А зачем это тебе понадобился не просто мальчик, а 19-летний мальчик? Да не просто мальчик, а еврейский мальчик? Да еще родной брат заядлого революционера. Ну и так далее.

Листая желтую папку, Борис вспомнил дело кремлевских врачей-отравителей. Тогда, во время памятных московских процессов, доктор Левин публично, в присутствии иностранной прессы признался, что Горький и его сын, не приемный, а родной, были потихоньку отравлены по приказу начальника НКВД Гершеля Ягоды. Да, но кто приказал Гершелю? И почему?

Странно все это. Ведь Великая Чистка началась после убийства Кирова в Ленинграде. И после этого говорили, что в Ленинграде вдруг, в одну ночь переарестовали всех педерастов. Значит, все они были заранее на спецучете. Не тронули только танцоров балета. Иначе Ленинград остался бы без балета. Кроме того, танцоры работают не головой, а ногами. И потому НКВД было безразлично, что у них в голове. Но писатели работают не ногами, а головой...

И еще одна странная вещь. После революции в числе всяких революционных свобод полную свободу получили педерасты. Впервые за все время существования России педерастия была вычеркнута из нового советского уголовного кодекса. А в желтой папке подчеркивалось, что подобная же странная вещь произошла во Франции после Великой французской революции. Но незадолго до начала Великой Чистки свобода для педерастов окончилась — педерастию снова ввели в уголовный кодекс.

Это факты. А факты, как говорит товарищ Сталин, это упрямая вещь. Но что скрывается за этими фактами?

Чем больше Борис заглядывал в тайны 13-го Отдела, тем меньше он понимал. Раньше он считал, что Максим слегка помешался. А теперь у этого помешанного еще целый мозговой трест, похожий на трест сумасшедших. Раньше был заговор кремлевских врачей-отравителей. А теперь, в желтой папке, какой-то заговор врачей-психиатров.

Ото всех этих заговоров Борису стало скучно. Потому он захлопнул дело о властелинах человеческих душ и пошел играть в волейбол.

* * *

Однажды вечером, когда Максим сидел дома, Борис нашел у него на столе книгу по истории средневековой инквизиции, которой он, по-видимому, пользовался как справочником для усовершенствования работы НКВД. В этой книге говорилось, что за время охоты на ведьм в Европе отправили на тот свет 9 миллионов ведьм и колдунов.

— Ого-о! — сказал Борис. — Неужели 9 миллионов!

— Это пишут адвокаты дьявола, — возразил доктор социальных наук. — И они нарочно преувеличивают. Более достоверные источники называют 30 тысяч. Это приблизительно за 300 лет. То есть 100 человек в год — по всей Европе. С точки зрения криминальной статистики это не так уж много.

— Да, но все-таки. Ни с того ни с сего — пожалуйте на костер.

— Нет, все это немножко не так, Адвокаты дьявола просто помалкивают, что этому почти всегда предшествуют серьезные преступления — уголовные или политические. За подобные дела в той же Европе и сейчас выносят смертные приговоры — и не меньше. И если присмотреться, это те же люди, кого инквизиция ликвидировала, как ведьм и колдунов. Вся разница в терминологии. Вот и все.

— Все это чепуха, — сказал студент. — Бабьи сказки.

— Чепуха... Когда произошла Великая французская революция, то за три года на гильотину попало больше миллиона человек. В большинстве случаев — совершенно невинных. А позже выяснилось, что все вожди этой революции оказались людьми того самого типа, кого раньше называли ведьмами и колдунами. Так что лучше: если бы за 3 года ликвидировали 300 этих ведьм и колдунов, включая и всех вождей революции — или миллион невинных жертв гильотины? И та же самая история с советской революцией.

— Хорошо, — сказал Борис. — Допустим, что это так. Но почему об этом так мало известно?

— Потому, что это известно очень многим. Но все они будут молчать — или все оспаривать. Потому в Евангелии и сказано: имя мое легион. 90 процентов этого легиона — это люди более или менее безобидные. Это как бы святые. А на долю остальных 10 процентов легиона приходится 90 процентов всех преступлений рода человеческого. Это как бы грешники. Но если сказать, что это за легион, то все — и святые, и грешники — подымут такой вой... что лучше этого не говорить.

Комиссар госбезопасности махнул рукой:

— В общем, это проблема сложная. Тут и святые грешники — и грешные святые. И комбинаций здесь — как в калейдоскопе. Я Сталину объяснял-объяснял. А он говорит: «Гоны их всэх в Сыбырь. И святых, и грэшников!»

Как-то Максим проговорился, что планы Великой Чистки предусматривают ликвидацию или изоляцию 5 процентов населения СССР. При населении в 180 миллионов это составляет 9 миллионов. Планы чистки были рассчитаны на 3 года. То есть за 3 года догнать и перегнать то, на что средневековой инквизиции понадобилась 300 лет.

Потом доктор социальных наук добавил:

— Во всех книжках стоит 5 процентов. Но я сказал Сталину, что можно понизить до 4 процентов. Видишь — я добро делаю.

Глазами фанатика он уставился в темную ночь за окном:

— Вот Достоевский в своих «Бесах» описывал революционеров. И он предсказал, что Россия переболеет тяжелой болезнью. Он знал, что это за болезнь. И я знаю. А потом все эти язвы, все миазмы, все нечистоты, все эти бесы сгинут, войдут в свиней, бросятся в пропасть... И тогда матушка-Россия, переболев, молодая и здоровая, снова усядется у ног Спасителя... Вот я, раб Божий... или бич Божий, и помогаю этому историческому процессу. Но никто этого не понимает....

Тем временем на страну надвигалось солнечное затмение. Рай, который обещала революция, все больше превращался в ад. По земле шла чистка, а в небе повисло черное солнце.

Когда Ленин подготовлял революцию, он кремил жестокости царского правительства и агитировал за отмену смертной казни в будущей России. Но как только большевики пришли к власти, за первые 3 года ЧК перестреляла больше людей, чем вся династия Романовых за 300 лет.

Теперь же говорили, что в связи с чисткой вышел новый указ Верховного Совета о понижении возраста уголовной ответственности с 18 лет до 14 или даже 12 лет — причем вплоть до расстрела. Итак, вместо отмены смертной казни теперь распространили ее даже на детей.

В труддома и трудколонии для малолетних преступников приезжала комиссия НКВД. Пересматривали дела. Составляли списки. А потом по этим спискам начались массовые расстрелы несовершеннолетних. Рассказывали, что по ночам расстрелянных вывозили на городскую свалку, рыли глубокую яму, сваливали туда трупы, как падаль, заливали известью, а сверху, чтобы не разрыли бродячие собаки, засыпали кучами мусора. Этим как будто хотели подчеркнуть: хороним, мол, человеческий мусор.

Все это были плоды работы Научно-исследовательского института НКВД, которым руководил доктор социальных наук Максим Руднев. Дома Максим оправдывался:

— Что вы будете делать с 14-летним мальчишкой, за которым уже три убийства? Раньше считали, что такой убийца — это жертва социальных условий, которого будет легко перевоспитать, если изменить эти условия. Но практика показала, что социальные условия играют некоторую роль только в случае легких преступлений. А в случае тяжелых преступников-рецидивистов причины обычно заложены не в окружающей среде, а внутри данного человека, в его психике. И переделать такого человека нельзя. Его можно только изолировать. Но даже и в изоляции, в трудколонии или лагере конечный результат один и тот же: или он кого-то кокнет — или его кокнут. Потому с такими решили не возиться, а просто ликвидировать.

В царские времена делали различие между политическими и уголовными преступниками. А теперь всех уравняли и политических сажали вместе с ворами и бандитами. Причем с политическими обращались хуже, чем с уголовными.

Максим объяснял это так:

— С научной точки зрения, в принципе, каждому преступлению соответствует определенный психический комплекс. Например, поджигатели. Этому соответствует то, что в психиатрии называется пироманией, то есть болезненное тяготение к пожарам, ведущее к поджогам. Примитивный человек идет и поджигает дом. А гнилой интеллигентик делает то же самое в уме — он поджигает общество, государство, раздувает революционные пожары. Но технически, для психиатров — они оба пироманиаки. А кто из них хуже: кто поджигает дом — или целое государство? Потому с такими интеллигентиками теперь и церемонятся меньше, чем с уголовниками.

Затем доктор социальных наук стал доказывать, что подобная же психическая взаимосвязь есть между бандитами и революционерами. Потому Сталин и Пилсудский в своей политической карьере не брезговали самым обычным бандитизмом, называя это экспроприациями для нужд революции.

— Нахлебались мы этих революций, — сказал он. — Теперь мы люди ученые. Потому теперь мы и сажаем бандитов и революционеров в одну яму.

В следственных органах НКВД ввели так называемые «методы физического воздействия», что означало пытки. И в НКВД появилась еще новая профессия: теломеханики, то есть заплечных дел мастера.

Во время следствия арестованные враги народа попадали в руки теломехаников, которые пропускали их через методы физического воздействия, после которых они сознавались, что все они контрреволюционеры, иностранные шпионы, террористы, вредители и диверсанты.

— Но ведь все это выдумки! — возмущался отец.

— Конечно, выдумки, — согласился Максим. — Мы даем списки с готовыми приговорами. И следователи больше ничего не знают. Их дело добиться формальных сознаний. В чем угодно. И любыми средствами.

— Но в чем же эти люди виноваты?

— В том, что они принадлежат к тому классу, от которого исходит 90 процентов всех зол и бед рода человеческого. В том числе почти все революционеры, шпионы, террористы, вредители и диверсанты. Просто мы не ждем, пока они это сделают, а ликвидируем их в превентивном порядке. Как класс.

— Но что это за новый класс?

— Это тот старый класс, который в свое время называли чертями, ведьмами и колдунами, — спокойно ответил доктор социальных наук. — Это просто специальные типы людей. С особыми качествами. Такие типы были, есть и будут. Даже в новом социалистическом обществе.

Раньше максимальный срок заключения или ссылки был 10 лет. Теперь же этот максимум повысили до 25 лет. Кроме того, некоторым категориям заключенных по истечении их срока автоматически давали новые сроки, что практически означало пожизненное заключение.

— Почему набавляют сроки? — протестовал отец.

— Потому что в этих людях сидят бесы, — отвечал

советник Сталина по делам нечистой силы. — Те самые, о которых писал Достоевский. Или ты не веришь Достоевскому?

— Но ведь это литература?

— Нет, нет, он знал, о чем он писал. И я знаю. Их нужно держать в лагере до 60 лет. Чтобы не наплодили новых бесенят...

От ночной работы и алкоголя у Максима появились под глазами отеки, а кожа приобрела какой-то нездоровый землисто-серый оттенок. Иногда он сидел пьяный, посеревший и бормотал:

— Эх, и какой только черт впутал меня в это грязное дело...

В результате постоянного отравления алкоголем однажды у Максима началась дикая рвота. В течение нескольких часов его буквально выворачивало наизнанку. До крови. Потом он согнулся, как пустой мешок, и жаловался:

— Видите, до чего мне противно всем этим заниматься? До рвоты... Потому я и оглушаю себя водкой... Но это историческая необходимость... Я должен...

Младший брат насмешливо прищурился:

— А ты помнишь, Макс, как когда-то ты клянчил у Бога — это самое — чтобы он сделал тебя большим и сильным?

— Ну и что?

— Не забывай, что в обмен ты предлагал укоротить твою жизнь. Смотри, а то еще окочуришься от водки.

— Мне на свою жизнь наплевать, — сказал комиссар. — Только б дотянуть до конца.

Но до конца чистки было еще далеко, и в порядке повышения квалификации Максим теперь изучал мемуары бывших руководителей царской охранки. Там стояло, что организатор ЧК Дзержинский, которого называли обнаженным мечом революции, в молодости хотел стать католическим ксендзом. А потом стал кокаинистом.

— Неужели это правда? — спросил Борис.

— Конечно, — сказал Максим. — По закону диалектического материализма — о единстве и борьбе противоположностей.

— Как так?

— А так. Ведь инквизиция вербовалась только из монахов-францисканцев и доминиканцев. Потому что монахи лучше знают проблемы грешников. Потому они и лупят друг друга. Вот это и есть то самое: единство и борьба.

Согласно этого противоречивого закона марксистской диалектики теломеханики НКВД безжалостно выколачивали из бывших революционеров сознания в контрреволюции и приговаривали:

— Мы вас научим свободу любить! За что боролись — на то и напоролись!

Начитавшись жандармских мемуаров, Максим сидел и укоризненно бормотал:

— Эх, не умели они работать... Вот если б у царя был такой человек, как я — и не было бы революции... Взял бы я Ленина за бороденку: «Ты думаешь, я не знаю, кто ты такой?!»

Потом красный кардинал начинал бредить, что первым делом он снял бы с Ленина штаны и устроил ему медицинское обследование. Так, словно у Ленина под штанами спрятаны хвост и копыта.

Иногда Максим говорил более или менее рационально. Но иногда он плел несусветную чушь, уверяя, что это, мол, философия и высшие материи.

Так, Максим уверял, что концлагеря изобрел не кто иной, как великий гуманист Лев Толстой, который в своих философствованиях проповедовал теорию «лечения трудом». Потому-де граф Толстой надевал лапти и демонстративно ходил за сохой. А по его рецепту теперь миллионы людей лечат трудом в концлагерях.

Или Максим доказывал, что сибирские шаманы, которых он когда-то обследовал, это не простые люди, а особые. Что у них есть какая-то тайна. И что эта же тайна есть у негритянских колдунов в Африке. Потом он договорился до того, что многие вожди современного мира — как бы они там ни назывались — с научной точки зрения это то же самое, что сибирские шаманы и негритянские колдуны. У всех у них есть какая-то тайная формула власти. Но если эту формулу знать, то у сильных мира сего можно найти очень слабые места.

Тут советник Сталина многозначительно хихикал.

Как-то Максим даже признался, что он знает эликсир жизни, о котором писали средневековые алхимики. Он стал перечислять великих людей, которые жили очень долго, и уверял, что все они употребляли этот эликсир.

— Это что? — спросил Борис. — Вареные лягушки и сушеные тараканы?

— Нет, хуже.

— Что же это такое? Маринованные гадюки?

— Ху-же.

— А ты этот эликсир пил?

— Нет, — поморщился Максим. — Лучше я умру, когда мне положено.

Потом он грязно выругался. В качестве высшей мудрости в его философии нередко проскальзывали непечатные ругательства. Но он уверял, что и за этими бессмысленными ругательствами тоже скрывается какой-то тайный смысл, который знают только ведьмы и колдуны.

Вместе с чисткой по стране растекалась черная реакция. Заткнули рот левым писателям, процветавшим после революции. Наступили на горло поэтам, ищущим новых форм в искусстве. Из Третьяковской галереи повыбрасывали кубистов, конструктивистов и прочих революционеров в живописи.

Кровавая свистопляска ежовщины принимала столь абсурдные формы, что по Москве ходил такой анекдот. НКВД арестовало педераста и обвиняет его в контрреволюции. Обвиняемый оправдывается:

— Да я просто педераст...

— Мы лучше знаем, кто вы такой, — отвечает НКВД. — За извращение линии партии — пять лет. И пять за вредительство. Итого десять.

Попутно с массовыми расстрелами и ссылками врагов народа летом 1936 года в газетах появился указ правительства о запрещении абортов. Люди потихоньку шептали, что это сделано для того, чтобы пополнить убыль населения в результате чистки. То, что в личном аспекте драма, в государственном масштабе — только статистика.

Когда дома начинались пререкания с отцом, Максим оправдывался:

— Я за другие отделы не отвечаю. Некоторые отделы работают по старинке и хватают по принципу: кто не с нами, тот против нас. Погоди, согласно диалектического закона — я еще и до них доберусь.

На третьем году чистки змея, красовавшаяся на рукавах работников НКВД, начала кусать себя за хвост. Великая Чистка ежовыми рукавицами НКВД завершилась чисткой... самого чистилища НКВД. Теперь по ночам «черный ворон» охотился за вчерашними руководителями этой кровавой вакханалии. Родные опасались за судьбу Максима. Но он, наоборот, чувствовал себя как рыба в воде и даже хвастался:

— Ведь я ж вам говорил, что я и до них доберусь...

Неожиданно со стен исчезли портреты и самого железного наркома Ежова. А Максим, придя домой, устало пошатывался и довольно потирал руки:

— Бобка, а ты зна-а-ешь, что с граж-жданином Еж-ж-овым?

— Ну, что?

— Я его того... лик-ик... лик-виднул!

— Врешь.

— Нет, ей-Богу, не вру... Вот этими самыми рук-ками. Посмотри... — пальцы комиссара дрожали мелкой нервной дрожью.

Он постоянного отравления алкоголем Максим совершенно потерял аппетит. За ужином он вяло жевал, даже не глядя, что у него на тарелке, и рассуждал:

— Смотрите... Как сказал папа Иннокентий, черти и колдуны всегда стараются делать людям зло. С точки зрения диалектического материализма — это просто специальные типы людей... А где эти типы могут делать зло без-наказанно? Конечно, в НКВД. Следовательно, в НКВД их должно быть процентуально больше, чем где-либо... Ну, вот я и рас-считал так... Сначала я их грязными руками подчистил всю нечисть кругом... А потом взялся и за них самих... Ясно!?

Ученик папы Иннокентия иронически скосил бровь:

— Все это в точности по основному закону диалектического материализма. Насчет единства и борьбы противоположностей... как двигателей исторического процесса... То есть, геноссе Карл Маркс, в дьяволе бог! Ну вот я вам теперь и покажу-у-у, где Бог, а где дьявол...

Тут начальник 13-го Отдела НКВД стал громко сожалеть, что Карл Маркс не попал в его руки. А если б попал, то в 13-м Отделе его б моментально разоблачили как прожженного английского шпиона и диверсанта:

— Ленин был прав, когда говорил, что Англия — это международная проститутка. И она всегда работала против континентальной Европы. Ведь Маркса постоянно финансировал Фридрих Энгельс. А откуда шли эти денежки? Из тех капиталов Энгельса, которые были в Англии.

— Итак, фактически через подставное лицо — Энгельса — Карл Маркс постоянно финансировался английским правительством. Как идеологический саботажник. А куда Карл Маркс в конце концов сбежал? Знал куда — в Англию! Но мы все эти фокусы тоже знаем.

Комиссар госбезопасности вытянул руку со змеей и мечом на рукаве.

— Эх, взял бы я этого Карла за бороду: «А ты думаешь, я не знаю, почему у тебя две дочки покончили самоубийством?.. И при каких обстоятельствах?»

Отец Руднев всегда критиковал марксизм. Но тут он вступился за Маркса:

— А при чем здесь его дети?

Максим с деланным отчаянием развел руками:

— Учу я тебя, учу — а ты все еще не знаешь Евангелия!? Ведь там же черным по белому написано: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные: по плодам их узнаете их».

Отец смущенно вертел свое пенсне, а комиссар потешался:

— Ну, а что дальше? Тоже не знаешь?! Давай я тебе подскажу: «Собирают ли с терновника виноград или с репейника смокву? Так всякое древо доброе приносит и плоды добрые, а древо худое приносит и плоды худые: не может древо доброе приносить плоды худые, ни древо худое приносить плоды добрые. Итак, по плодам их узнаете их». Вот и дочка товарища Троцкого тоже покончила самоубийством. И не в подвалах НКВД, а в городе Берлине.

— Но это, может быть, опять-таки случайность...

— Не забывай, что в науке ряд случайностей — это уже закономерность. Вот когда арестовали маршала Тухачевского, его дочка, еще совсем ребенок, тоже покончила самоубийством. А его жена, актриса Наталия Сац, сошла с ума и ее посадили в сумасшедший дом. Но по этому можно судить — психоаналитически — и о самом Тухачевском. Он хотел быть красным Бонапартом. Но теперь нам Бонапарты не нужны. Кстати, единственный сын Наполеона Бонапарта — Орленок — был кретином и умер от мозговой болезни. Ничто не ново под луной.

После ужина красный кардинал Сталина вместо десерта налил себе стакан водки и заявил, что недавно он беседовал с самим Иисусом Христом.

Что можно сказать о таком человеке? Конечно, сумасшедший. Отец наклонил голову и посмотрел на него поверх пенсне — как на сумасшедшего. Но Максим и здесь вывернулся:

— Не беспокойтесь, — усмехнулся он. — Вы все, конечно, знаете, что в каждом сумасшедшем доме есть свой Наполеон. Но, если поискать, то вы найдете там и дурочку, которая уверяет, что она Дева Мария. А в каждом хорошем сумасшедшем доме есть и свой Иисус Христос...

— Кхм-м! — кашлянул отец и недовольно потер нос.

— Так вот, — продолжал Максим. — Я устроил такой эксперимент. Приказал найти мне среди всех этих сумасшедших Иисусов такого, чтобы был неграмотный, и чтобы он как можно меньше знал или слышал оригинал Евангелия. А потом я с этим сумасшедшим беседовал на евангельские темы. Ха-ха, а вы подумали, что это я сумасшедший? Не-е-ет...

— Я хотел выяснить, какие положения Евангелия этот сумасшедший узнал от других и просто повторял — и до каких он дошел своим собственным умом. Умом сумасшедшего! Не забывайте, что высший ум в определенной мере связан с безумием. Потому и говорят: устами безумцев глаголет истина. Результаты получились оч-ч-чень интересные. Своего рода голос с небес — из темноты безумия. Даже сам Сталин удивился и говорит: «Ну, Максым, ты ж у мэнэ и фокусник! Прасы што хочэшь — всэ дам».

— Не нравятся мне твои эксперименты, — сказал отец.

— Это потому, что ты темный человек, — сказал комиссар советской инквизиции. — Вот скажи-ка, что значат в Евангелии слова Спасителя, что в последние дни будет много лжепророков? Что это за «последние дни»?

Отец уже знал, что тягаться с Максимом в знании Библии бесполезно, и молчал.

— С точки зрения диалектического материализма, — поднял палец комиссар, — это последние дни перед революцией. Когда кончается один исторический цикл — и начинается другой. А теперь, после революции, мы всех этих лжепророков и лжехристов почистили — и пустили в трубу. Фю-ю-ить! В точности, как стоит в Евангелии: «Всякое древо, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». По всем правилам диалектики!

— А что вы сделали с этим душевнобольным, который думал, что он Иисус Христос?

— Он оказался на редкость безобидным и добрым человеком. Я отправил его работать садовником в дом отдыха для работников НКВД. Пусть там проповедует. Это не лжеиисус, а настоящий Иисус. Я предупредил: кто его тронет — расстреляю!

Пока шла чистка, в газетах все время кричали о бдительности и всячески поощряли доносы и доносчиков. Теперь же, когда принялись чистить само чистилище НКВД, вдруг взялись и за доносчиков — и стали арестовывать «шибко бдительных». А начальник 13-го Отдела НКВД ухмылялся:

— Почитайте откровение святого Иоанна Богослова. Ведь там сказано, что дьявол — первый клеветник. Сначала мы таких выявили, а теперь мы их же и сажаем. По закону о единстве и борьбе противоположностей. Потому и говорят, что дьявол склонен к самоуничтожению. Диалектический цикл!

Как-то вечером Максим опять явился домой под градусом и сразу, даже не поужинав, взялся за свой кубок-черепок:

— Бобка, что ты там делаешь?

— Занимаюсь.

— Чем?

— Термодинамикой.

— А ты, Бобка, знаешь, что такое психодинамика?

— Не знаю и знать не хочу.

Но Максим продолжал бормотать:

— Знаешь, у древних скифов был такой обычай... Когда умирала жена жреца, ей устраивали пышные похороны... И заодно убивали всех ее подруг... Это чтобы ей на том свете не скучно было... Хороший обычай, а-а?

Борис углубился в свою термодинамику и не отвечал.

Продолжение в следующем номере.

АРХИВЪ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦIИ

Малознакомый Ленин



Заинтересованный читатель наверняка обратил внимание на ряд публикаций «Слова», посвященных вождю Октября. Назовем лишь некоторые — «Попытки узнать Ленина» Н. Валентинова (№ 11, 1990 г.), «Род вождя» М. Штейна (№ 2, 1991 г.), «Ленин. Опыт характеристики и моментальная фотография» А. Куприна (№ 3, 1991 г.), «Духовные предтечи Ленина» (№ 4, 1991 г.), «Беседа с Плехановым в августе 1917 г.» (№ 9, 1991 г.)...

Этими публикациями о Ленине мы навлекли на себя много неудовольствий и даже нетерпеливых угроз со стороны «верных ленинцев», каковым еще совсем недавно было все население Советского Союза, да и в мире их было не меньше, чем верующих в Христа.

Что же нами движет в этом неотступном ослаблении ореола «всечеловечнейшего» вождя!! Конечно же, не сенсационность, столь распространенная ныне в печати, и не желание белое обязательно сделать черным, а святое — безобразным. Опорочить непорочное могут только люди, далекие от истинных страданий. Выстрадавший сердцем — только сердцем и может отринуть, отторгнуть поверженного идола.

Памятники Ленину рушат экстремисты, как правило живущие зловещей стихией, а не благоразумием. Разрушение веры — это кропотливая, натруженная работа ума и сердца. Вот и с разрушением веры в единственного, сверхчеловечного, сверхнародного, сверхгениального вождя, открывшего «ворота в земной рай» миллиардам людей низкого сословия, естественно возникает желание, духовная потребность понять, что же скрывалось столько лет за официальной легендой, созданной большевистской идеологией.

Кто он, этот вождь! Каков его характер, нрав! Насколько он сочетал в себе политика и человеколюба, что было непосильно для всех вождей всех времен до него и после него!! Так ли уж он был бескорыстен, благодетелен, нравственен! Так ли уж был он государственно распорядителен, пророчески совершенен в отыскании путей благодатного устройства народного дома, семьи и церкви!!

Не знаю, задают ли себе подобные вопросы нынешние «верные ленинцы», к коим и я принадлежал много лет, но я их задаю себе давно, с дней хрущевской оттепели и XX съезда КПСС. Вопросы эти всегда были болезненными, и в пору учебы в Московском университете, когда философы-профессора пытались конспекты Ильича выдать за глубочайшие философские проникновения в общечеловеческую мысль, и в пору работы в партийной печати, когда витийствующие идеологи открывали розовые коммунистические дали и беспощадно карали за малейшие попытки посмотреть на предмет всеобщего обожания хоть сколько-нибудь критически.

Потому вопрос о Ленине и ленинских чертах для нас совсем не праздный. Это только современные фарисеи могут снять ленинские одежды и блистать уже в новых, не приняв народной трагедии и опустошительного разочарования персоной, столь губительно воздействовавшей на возвышенные чувства людей, принявших на веру романтические идеалы коммунизма, как оказалось, столь разорительные для народной жизни.

Не всякому дано аналитически вникнуть в суть боготворимой идеологии. К тому же то, что было запрещено для большинства и являлось принадлежностью узкого круга, теперь взрывно оглушило непросвещенное большинство. Отсюда по-прежнему болезненная реакция на все, что мы узнаем о малознакомом нам Ильиче. Это как болезнь, которую надо лечить, а не заглушать.

Мы уже никогда не будем любить его прежней слепо-романтической любовью. Поскольку знаем, что своей революцией он целился нам в сердце. Он хотел властвовать не по закону, а по правилам слепых чувств, уничтожая все, что пробуждает в человеке человеческое. Потому первый его удар был по вере... Он решил, что не только сознательное, но и подсознательное в человеке должно определяться и контролироваться большевиками. Страх перед Богом был заменен страхом перед ЧК. Кровавое насилие было возведено в ранг повседневной политики...

Надо сказать, что мы слишком мало, плохо и крайне односторонне знаем все ленинское. Потому на новом витке истории совершаем те же самые ошибки, что и наши отцы и деды. Вера «на слово» — самая слепая и самая коварная вера... И результат все тот же — разруха, разброд, главенство уголовщины, теневиков, сепаратистов, бесправность законов, авантюризм политиков, грабеж народа... Верные выученики Ленина хотят самоуправствовать по-ленински и держать власть в руках для себя, для собственного возвышения. Для них Ленин последний оплот в стране. Не зря они по каждому торжественному случаю носят венки к Мавзолею, вместо того, чтобы давно и навсегда с ним распроститься, освободив народ от тяжких оков кровавого ленинского духа. Но сатана не побежден. Он властвует еще всесильно.

И поскольку все это еще реальность дня, мы продолжаем рассказывать о малоизвестном, не канонизированном Ленине... Нам предстоит еще многое построенное им пережить и разрушить в собственной душе. Только очищение, освобождение от его порочных, себялюбивых догм вернет нам свободный разум, доброе сердце и смиренно-умиротворяющее человеколюбие.

И будем терпеливы, не поддаваясь общему психозу, будем вникать в каждое ленинское проявление, в каждый поступок, проверяя его не партийной нравственностью и моралью, а человеческим достоинством самого народа. Тогда, может, и откроется нам, почему старые большевики-ленинцы во главе с Красиным не захотели примирить революционно-разбойничий дух Ильича отдачей его земле, почему им надо было держать его над землей и после физической смерти... Без такого понимания проводы вождя с Красной площади на Волково кладбище будут лишь простым распорядительным актом новых властелюбстителей.

Но, видит Бог, слабеют путы Ильича, и вырастает гигантская фигура антихриста и античеловека, сделавшая наш век опальным в истории, а жизнь нашу — трагической.

АРСЕНИЙ ЛАРИОНОВ

ТЭФФИ

Он и они

Это было вскоре после японской войны.

Время было удивительное, и вспоминается оно какими-то обрывками, словно кто-то растерял листики дневника и перепутались трагические записи с такими нелепыми анекдотами, что только плечами пожимаешь: неужели все это было? Неужели были такими и дела, и люди, и мы сами?

Да, это именно так и было.

Россия вдруг сразу полевела. Студенты волновались, рабочие бастовали, даже старые генералы брюзжали на скверные порядки и резко отзывались о личности государя...

Уже давно в литературных кругах поговаривали о необходимости начать новую газету. У поэта Минского было разрешение, но не было денег. Деньги достал Горький. Редактором предполагался Минский. В литературном отделе должны были работать Горький, Гиппиус (как поэт и как литературный критик Антон Крайний) и я. Политическое направление газеты должны были давать социал-демократы с Лениным во главе. Секретарем редакции намечался П. Румянцев, заведующим хозяйственной частью Литвинов, по прозвищу Папаша. Наш будущий секретарь нашел для редакции прекрасное помещение на Невском, парадный холл, швейцар. Все были радостно взволнованы. Минский вдохновился лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», уловив в нем правильный стихотворный размер, и написал гимн.

Гимн был напечатан в первом номере газеты. Называлась газета «Новая Жизнь».

Интерес к этой «Новой жизни» был огромный. Первый номер вечером продавали уже по три рубля. Брали нарасхват. Наши политические руководители торжествовали. Они приписывали успех себе.

— Товарищи рабочие поддержали.

Увы! Рабочие остались верны «Петербургскому Листку», который печатался на специальной бумаге, особенно пригодной для кручения цигарки. Газетой интересовалась, конечно, интеллигенция. Новизна союза социал-демократов с декадентами (Минский и Гиппиус), а к тому же еще и Горький очень всех интриговала.

В нашей роскошной редакции начали появляться странные типы. Шушукались по уголкам, смотрели друг на друга многозначительно.

В газетном мире никто их не знал. В общем, все они были похожи друг на друга. И даже говорили одинаково, иронически оттягивая губы и чего-то не договаривая.

Румянцев шагал бодрыми шагами циркового дрессировщика. Он был всем доволен и с нетерпением ждал Ленина, чтобы похвастаться, как он чудесно наладил дело...

В приемной нашей редакции сидел Румянцев и с ним еще двое. Один — уже знакомый из «шептунов», другой новый. Новый был некрасивый, толстенький, с широкой нижней челюстью, с выпуклым плешивым лбом, с узенькими хитрыми глазами, скуластый. Сидел, заложив ногу на ногу, и что-то внушительно говорил Румянцеву. Румянцев разводил руками, пожимал плечами и явно возмущался. «Шептун» ел глазами нового, поддакивал ему и даже от усердия подпрыгивал на стуле.

Когда я вошла, разговор оборвался. Румянцев назвал мое имя, и новый любезно сказал:

— Знаю, знаю (хотя знать, собственно говоря, было нечего).

Его имени Румянцев не назвал. Очевидно, я и так должна была понять, кого я вижу.

— Вот. Владимир Ильич не доволен помещением, — сказал Румянцев. (Ага, Владимир Ильич! Значит, это и есть «он»).

— Помещение отличное, — прервал Ленин. — Но не для нашей редакции. И как могло вам придти в голову, что нашу газету можно выпускать на Невском. И какого роскошного швейцара посадили! Да ни один рабочий не решится пройти мимо такой персоны. А ваши хроникеры! Куда они годятся? Хронику должны давать сами рабочие.

— Уж не знаю, что они там напишут, — ворчал Румянцев.

— Все равно. Конечно, все это будет и безграмотно, и бестолково, это не важно. Мы тут такую статейку как следует обработаем, выправим и напечатаем. Таким образом, рабочие будут знать, что это их газета, раз мы уделяем внимание их собственным произведениям. Это очень важно.

— А литературную критику, отчеты о театрах и опере тоже будут писать рабочие? — спросила я.

— Нам сейчас театры не нужны. И никакая музыка не нужна. Статей и отзывов ни о каком искусстве в нашей газете быть не должно. Только рабочие хроникеры могут связать нас с массами. А этот ваш хваленый Львов дает только министерские сплетни. Он нам абсолютно не нужен.

— Пожалуй, и весь литературный отдел покажется вам лишним? — спросила я.

— Откровенно говоря, да. Но подождите. Продолжайте работать, а мы все это реорганизуем.

Реорганизация началась сразу же. Началась с помещения. Явились плотники, притащили доски и разделили каждую комнату на несколько частей. Получилось нечто вроде не то улья, не то зверинца. Все какие-то темные углы, клети, закуты. Иногда выходило нечто длинное, вроде стойла на одну лошадь. Иногда маленькое, вроде клетки на небольшого зверя, скажем, для лисицы. И внутренняя стена так близко, что если поставить перед зрителем решетку, то можно было бы подразнить зверя зонтиком и даже, если не страшно, погладить. В некоторых закутах не было ни стола, ни стула. Висела только лампочка на проводе.

Появились в большом количестве новые люди. Все неведомые и все друг

Публикуется впервые в СССР. Печатается с сокращениями.

на друга похожие. Выделялись из них Мандельштам, умный интересный собеседник; А. Богданов, скучноватый, но очень всеми ценимый; Каменев, любящий, или, во всяком случае, признающий литературу. Но они почти никогда в редакции не появлялись и были, насколько я понимаю, заняты исключительно партийными делами. Остальные собирались группами по закутам, становились в кружок, головой внутрь, как баранята во время бурана. В центре кружка всегда была в чьей-нибудь руке бумажка, в которую все тыкали пальцем и вполголоса бубнили, не то не разбирая в чем дело, не то споря друг с другом. Странная была редакция.

Нетронутой оставалась только одна большая комната для редакционных собраний.

Собрания эти велись довольно нелепо. Приходили люди, ничего общего с газетой не имеющие, толклись тут же у стенки за стульями, пожимали плечами, глубокомысленно иронически опускали углы рта там, где все было просто и ясно и никакой иронии вызвать не могло. Вроде того, что набирать покойников петитом или общим шрифтом.

Во время одного такого заседания кто-то доложил, что пришел некто Фаресов (кажется, из народников), хочет принять участие в газетной работе.

— Никто не имеет ничего против Фаресова? — спросил Ленин.

— Никто.

— Он мне только лично не симпатичен, — пробормотала я. — Но это, конечно, не может иметь значения.

— Ах, так, — сказал Ленин, — ну, если он почему-нибудь неприятен Надежде Александровне, так Бог с ним совсем. Скажите, что мы сейчас заняты.

Боже мой, какой джентльмен! Кто бы подумал!

А П-в шепнул мне:

— Видите, как он вас ценит.

— А по-моему, это просто предлог, чтобы отделаться от Фаресова, — ответила я.

Ленин (он сидел рядом) покосил на меня узким лукавым глазом и рассмеялся.

* * *

А жизнь в городе текла своим чередом.

Молодые журналисты ухаживали за молодыми революционерками, наехавшими из-за границы.

Была какая-то (кажется, фамилия ее была Градусова — сейчас не помню), которая разносила в муфте гранаты, и провожающие ее сотрудники буржуазной «Биржевки» были в восторге.

— Она очень недурно одевается и ходит к парикмахеру и вдруг — в муфте у нее бомбы. Как хотите — это не банально. И все совершенно спокойно и естественно. Идет, улыбается. Прямо душка!

Собирали деньги на оружие.

Вот такие небанальные душки приходили в редакции газет и журналов, в артистические театров и очень кокетливо предлагали жертвовать на оружие. Одна богатая актриса отнеслась к вопросу очень деловито. Дала двадцать рублей, но потребовала расписку.

— В случае, если революционеры придут грабить мою квартиру, так чтобы я могла показать, что я жертвовала в их пользу. Тогда они меня не тронут.

Ко мне пришел Гусев. Я собирать отказалась. И не понимаю, и не умею. У меня как раз сидел английский журналист, сотрудник «Таймс». Он засмеялся и дал Гусеву десятирублевый золотой. Гусев положил добычу в большой бумажный мешок из-под чуевских сухарей. В мешке уже был сбор — три рублевки и двугривенный.

Вскоре после этого произошла у меня с этим Гусевым забавная встреча. Мои буржуазные друзья повезли меня после театра ужинать в один из дорогих ночных ресторанов, с музыкой и артистической программой. Публика там бывала богатая, пили шампанское.

Вот вижу я, недалеко от нас сидит девица, к стилю этого дорогого кабаре совсем не подходящая. Густо набеленая, разляписто одетая — прямо Соня Мармеладова с Сенного рынка. А рядом с ней из-за серебряного ведра с бутылкой шампанского выглянуло какое-то знакомое лицо. Выглянуло и сразу спряталось. Я даже не смогла разглядеть, кто это. Но вот один из моих спутников говорит:

— Там за третьим столиком какой-то тип вами заинтересовался. Все поглядывает.

Я быстро обернулась и сразу встретилась глазами с Гусевым. Это он прятался от меня за бутылку. Он и опять спрятался, но, очевидно, понял, что я его узнала, и решил действовать. Красный, распаренный и растерянный, подошел к нашему столу.

— Вот в каких ужасных вертепах приходится иногда прятаться, — сказал он хриплым голосом.

— Бедненький, — вздохнула я. — Как я вас понимаю! Вот и наша компания тоже решила здесь спрятаться. Подумать только, что приходится иногда терпеть. Музыка, балетные номера, неаполитанские песни. Прямо ужасно!

Он покраснел еще больше, засопел носом и отошел.

* * *

Критическую статью Антона Крайнего (З. Гиппиус) на литературную тему не напечатали. Отчет о театре, о новой пьесе, тоже не поместили.

— Почему?

— Ленин говорит, что это не должно интересовать рабочего читателя, который литературой не интересуется и в театры не ходит.

Спросила у Ленина.

— Да, это верно. Сейчас не время.

— Но ведь нашу газету читают не только рабочие.

— Да, но те читатели нам не интересны.

— А не думаете ли вы, что если вы совершенно устраните всю литературную часть газеты, то она потеряет много подписчиков. А это будет для вас материально не выгодно. Кроме того, если газета превратится в партийный листок, ее наверное скоро прихлопнут. Пока в ней мелькают литературные имена, цензура относится к ней не слишком внимательно. Эти литературные имена — это ваш щит. Без них сразу обнаружится, что это просто партийный листок и, конечно, с ним церемониться не станут.

— Ничего. Это дело провалится, надумаем другое.

— Хорошо. Значит, ни театров, ни музыки не нужно.

Присутствовавший при разговоре Гуковский сочувственно кивал головой.

Поговорила с Румянцевым.

— Петр Петрович, а ведь газету закроют.

— Ну вот, пойдите, потолкуйте с ним. Кроме того, у нас есть обязательства по отношению к литературной группе. У нас договор. Газета разрешена на имя Минского. Мы не имеем права выживать его из редакции. Это будет безобразнейший скандал на весь литературный мир.

Уходя из редакции, увидела Гуковского. Он разбирал почту.

— А вот это отлично! Билеты в оперу. Жена обожает музыку. Непременно пойдем.

— Ну нет, друг мой. Никуда вы не пойдете, — остановила я его. — Это было бы уж совсем нетвердокаменно. Сотрудники газеты не имеют права пользоваться даровыми билетами, раз о театрах не будет отзывов. Вы ведь только что разделяли мнение Владимира Ильича, что ни литературы, ни музыки сейчас не нужно. Будьте последовательны. Вот так — возьмем и разорвем дружно вместе эти гнусные предложения на беспринципное времяпрепровождение.

Спокойно сложила билеты и разорвала их крестом на четыре части.

Конечно, уже через полчаса мне было досадно, что я его обидела. Ну, пошел бы с женой в оперу, послушал бы «Евгения Онегина», отдохнул бы душой. Ну, конечно, он благоговеет перед Лениным, и боится, и поддакивает — все это понятно. Но ведь и он человек. Музыки-то и ему хочется. Да еще и жена любит... И чего я озлилась! Хорошо бы достать билеты и послать ему от неизвестного. Слышали вот, что вы любите музыку... Да ведь он, пожалуй, еще испугается. Откуда такой слух пошел? Ему оперу и знать-то не полагается. Это уже не шаг вперед, а прямо с места два назад. Но как на душе все-таки нехорошо. Если опять билеты пришлют, непременно подсуну их к нему в стойло.

* * *

Ленин жил в Петербурге нелегально. За ним, разумеется, следили. Не могли не следить. Тем не менее он свободно приходил каждый день в редакцию и уходя, чтобы его не узнали, поднимал воротник пальто. И ни один из дежуривших шпиков ни разу не полюбопытствовал — что это за личность, так усердно прячущая свой подбородок.

Буколические были времена, и лев жевал траву рядом с ягненком.

Замечая, какую роль играет Ленин среди своих партийцев, я стала к нему приглядываться.

Внешность его к себе не располагала. Такой плешивенький, коротенький, неряшливо одетый мог бы быть служащим где-нибудь в захолустной земской управе. Ничто в нем не обещало будущего диктатора. Ничто не выражало душевного горения. Говорил, распоряжался, точно службу служил и казалось, будто ему и самому скучно, да ничего не поделаешь.

Держал себя Ленин очень просто, без всякой позы. Поза всегда вызывается желанием нравиться, жаждой красоты. Красоты Ленин не чувствовал

никогда и ни в чем. Так, Луначарский был барином и поэтом. Румянцев — орлом. «Шептуны» все робеспьеры и мараты, хотя в присутствии Ленина поджимали хвосты. Все позировали. Разговаривал Ленин с маратами тоном дружелюбным и добродушным, объяснял им то, что они не сразу ухватывали. И они умиленно благодарили Ильича за науку.

— И как это мы так? А ведь как просто! Ну вот, спасибо.

И так, держа себя добродушным товарищем, он мало-помалу прибирал всех к рукам и вел по своей линии, кратчайшей между двумя точками. И никто из них не был ему ни близок, ни дорог. Каждый был только материалом, из которого вытягивал Ильич нитки для своей ткани.

О нем говорили «Он».

— Он еще здесь?

— Он не придет? Он не спрашивал?

Остальные были «они».

Он никого из них не выделял. Зорко присматривался узкими монгольскими глазами, кого и для какой цели можно использовать.

Этот ловко проскальзывает с фальшивым паспортом — ему дать поручения за границу. Другой недурной оратор — его на митинги. Третий быстро расшифровывает письма. Четвертый хорош для возбуждения энтузиазма в толпе — громко кричит и машет руками. Были и такие, которые ловко стряпали статейки, инспирированные Ильичем.

Как оратор Ленин не увлекал толпу, не зажигал, не доводил до исступления, как, например, Керенский, в которого толпа влюблялась и плакала от восторга. Я сама видела эти слезы на глазах солдат и рабочих, забрасывавших цветами автомобиль Керенского на Мариинской площади. Ленин очень деловито долбил тяжелым молотом по самому темному уголку души, где прячутся жадность, злоба и жестокость. Убеждал, разнуздывал и одобрял то, на что многие тихие души и решиться не смели. Долбил Ленин и получал ответ без отказа.

— Будем грабить, да еще и убьем.

Друзей или любимцев у него, конечно, не было. Человека не видел ни в ком. Да и мнения о человеке был он довольно низкого. Сколько приходилось наблюдать, он каждого считал способным на предательство, на расчет, на измену из личной выгоды. Всякий был хорош, поскольку нужен делу. А не нужен — к чѐрту. А если вреден или даже неудобен, то такого можно и придушить. И все это очень спокойно, беззлобно и разумно. Можно сказать, даже добродушно. Он, кажется, и на себя смотрел тоже не как на человека, а как на слугу своей идеи. Эти одержимые маньяки очень страшны.

Но, как говорится, — победителей не судят.

Кто-то ответил на эту поговорку:

— Не судят, но часто вешают без суда.

* * *

Прошел слух, будто черносотенцы из «Чайной Русского Народа» собираются устроить погром «Новой Жизни». Составлены списки всех сотрудников и раздобыты их адреса. Намечена уже ночь, когда прямо пойдут по квартирам расправляться с ними.

Все решили в ту ночь дома не ночевать. Мне тоже строго велели куда-нибудь уйти. Но вышло так, что я вечером была в театре, а оттуда поехала к знакомым ужинать и попала домой уже к пяти часам утра. Решила, что если черная сотня хотела меня убить, то на это была в ее распоряжении целая ночь, а утром будет уже дело неподходящее. Спросила прислугу, не приходил ли кто? Нет, говорит, никто не приходил. Так все и обошлось благополучно. Днем выяснилось, что вообще никого из редакции не обеспокоили.

Тем не менее настроение в редакции было беспокойно, но уже по другим причинам.

Румянцев рассказал нам, что Ленин требует порвать соглашение с Минским, завладеть газетой целиком и сделать ее определенным органом партии. Румянцев протестовал, находя это неприличным. Газета разрешена на имя Минского, он ответственный редактор. Какого же мнения будут о нас в литературных кругах?

— На ваши литературные круги мне наплевать, — отвечал Ленин. — У нас царские троны полетят вверх ногами, а вы толкуете о корректном отношении к каким-то писателям.

— Но ведь договор-то заключил я, — защищался Румянцев.

— А порву его я.

Но прежде чем он порвал этот несчастный договор, он напечатал в «Новой Жизни» статью, которая всех перепугала. Насколько помню, это было что-то о национализации земли. Минскому было сделано предостережение. Он пришел в редакцию очень расстроенный.

— Я ответственный редактор, а вы меня оставляете в полном неведении о помещаемых вами статьях. Еще одна такая статья, и мне грозит ссылка.

Пришла и жена Минского, поэтесса Вилькина.

— Я боюсь, — говорила она. — Вдруг мужа сошлют в Сибирь. Он не выдержит, у него слабые легкие.

И в ответ на эту законную тревогу послышалось подхихикиванье:

— Ничего, не беда. Климат в Сибири здоровый. Это ему даже — хи-хи — полезно.

Получалось неприятно и грубо. Минский даже не ожидал такого отношения. Выручил его П-в.

— Уезжайте сейчас же за границу.

— Да меня, пожалуй, и не выпустят.

— Я вам дам свой паспорт. И не теряйте времени.

Через несколько дней Минский пришел прощаться в редакцию. Показывал новенький заграничный паспорт, в котором, на листке для Англии, было вписано «джентльмен» (П-в был дворянин).

— Вот, — смеялся Минский, — теперь у меня имеется правительственное удостоверение, что я настоящий джентльмен.

Он скоро уехал, и вся наша литературная группа решила уходить. Попросили вычеркнуть наши имена из списков сотрудников. В этой газете нам, действительно, больше уже делать было нечего.

Просуществовала газета недолго, как и можно было предвидеть. Ленин поднял повыше воротник пальто и, так никем и не узнанный, уехал за границу на несколько лет.

Вернулся он уже в запломбированном вагоне.

«Против Ильича»

В истории отечественной журналистики было известно две газеты с названием «Новая жизнь». Любопытно, что выход обеих — по времени очень непродолжительный — совпадал с революционными потрясениями в России. Этим, правда, сходство ограничивалось. Первая «Новая жизнь» — фактически орган РСДРП, петербургская легальная большевистская газета — просуществовала с 27 октября (9 ноября) по 3(16) декабря 1905 года. Следующая — выходившая в Петрограде с апреля 1917 по июль 1918 — была антиподом первой, представляя меньшевистское направление. (Именно в ней было опубликовано известное заявление Каменева и Зиновьева, предуведомляющее о вооруженном восстании.) Первую прикрыли за большевизм, вторую — за антибольшевизм (сегодня в газетных киосках можно видеть «Новую жизнь» третьего поколения..).

В «буколические», по словам Надежды Александровны Тэффи, времена выхода первой большевистской газеты, когда «лев жевал траву рядом с ягненком», сама Тэффи был только начинающим автором. Один из ее приятелей (сын сенатора, но близкий к социал-демократам) настойчиво советовал Надежде Александровне познакомиться с Лениным, уверяя, что ей просто необходимо у него «учиться». И все же — не будь этих полутора месяцев существования «Новой жизни», как знать, пересеклись ли бы их пути: ее — блестящей барыни, близкой самым высоким общественным кругам, преуспевающего автора «Биржевых ведомостей», о чьем творчестве с одобрением отзывался государь; и его — фанатика и лидера бесконечно далекой ей идеи, внешне смахивающего на служащего из захолустной земской управы.

Тэффи и сама через сорок пять лет с изумлением переспрашивала себя: да неужели все это было? И уверялась: «Да, это именно так и было. РОССИЯ ВДРУГ СРАЗУ ПОЛЕВЕЛА (Выделено мной. — **Е. Т.**). Студенты волновались, рабочие бастовали, даже старые генералы брюзжали на скверные порядки и резко отзывались о личности государя».

Спустя полвека, сквозь толщу лет, из чужой страны, события того времени будут вспоминаться со смешанным чувством трагического и анекдотичного. Но тогда и она, «покорная духу времени», сочиняла революционные стихи. В них «было все, что полагалось для свержения царизма: и «красное солнце свободы», и «мы ждем, не пробьет ли тревога, не стукнет ли жданный сигнал у порога...», и прочие молнии революционной грозы».* Стихотворение называлось «Пчелки». Кто-то послал его в Женеву Ленину, и так состоялось их заочное знакомство.

Встретились же впервые они в поме-

* Тэффи. Федор Сологуб — газ. Новое русское слово, Нью-Йорк, 9 янв. 1949 г., с. 2.

щении только что образованной редакции «Новой жизни» на Невском, когда Ленин вернулся из-за границы. Он сразу взялся за реорганизацию: сначала — газеты, затем — России. В своих воспоминаниях Надежда Александровна рассказывает как раз об этом первом этапе «перестроечной» деятельности Ильича.

История «Новой жизни» 1905 года — своего рода парафраз басни про телегу, в которую впрягли коня и трепетную лань. Противоестественный союз «твердокаменных» марксистов и утонченных декадентов (к числу которых принадлежал сам редактор газеты поэт Н. Минский), даже и расцвеченный именами литературных знаменитостей, был изначально обречен. Тем не менее редакции удалось подготовить 28 номеров газеты (из которых, правда, 15 было конфисковано) и довести тираж почти до 80 тысяч экземпляров.

Для сегодняшнего «подготовленного» читателя не станут откровением публикуемые здесь воспоминания Тэффи о В. И. Ленине, отличные от официальной версии этого образа. Это рассказ — порой недобрый и зачастую язвительный, но не оставляющий сомнения в непредвзятости суждений и меткости характеристик — о живых людях, не близких мемуаристке по духу, но близко наблюдаемых и знаемых. И, может быть, именно это, одно из немногих оставшихся сегодня неподкупных свидетельств современника, позволяет сделать образ «вождя мирового пролетариата» «живее всех живых»...

Трудно удержаться от соблазна привести цитату из гневной рецензии на воспоминания Тэффи, опубликованной, как ни удивительно, в нью-йоркском «Новом русском слове». Рецензент, назвавший себя Аргусом, писал в ней: «Космополитка Тэффи (псевдоним) опубликовала злостную статью против Ильича, не могущую не вызвать глубочайшее возмущение в сердцах всех прогрессивных людей... Бессмертный образ великого Ильича, друга и соратника гениального товарища Сталина, нарисован госпожой Тэффи со свойственной всей русской эмигрантской клике мелочностью и злостью... Злоба матерых врагов социализма бессильно разбивается о твердокаменный утес миролюбивого советского народа, строящего лучшую жизнь на обломках капиталистического мира. Сколько денег, госпожа Тэффи, вам за вашу клевету заплатил уоллстритский людоед и поджигатель войны мистер Даллес?»

Грустные, грустные времена, когда подобного рода тон не только был допустим, но и уверенно лидировал на страницах печати (и, как выясняется, не только нашей). Но, быть может, именно Тэффи своим творчеством приближала то время, когда страшненькие выклики Аргуса с очевидным саморазоблачением обратились пародией. Ведь не зря говорят, что смеха боится даже тот, кто уже ничего не боится.

ЕЛЕНА ТРУБИЛОВА
(публикация и послесловие)

●

Н. Валентинов

Миф о жизни впроголодь

29 июля 1900 года Ленин выехал за границу с тем ощущением жизни «накануне», которое для него так характерно: впереди него — «Тулон» и «Аркольский мост». Все, что было раньше, — простое преддверие. Не может быть никакого сравнения между покойной, чересчур сытой, полной всяких интеллектуальных и физических удовольствий жизнью в сибирской ссылке и нервной, напряженной жизнью долгих годов эмиграции. Ленину приходится передвигаться из Мюнхена в Лондон, из Лондона в Женеву, из Женевы в Париж, из Парижа в Краков, из Кракова в Берн, мотаться на разные съезды, конгрессы в Брюссель, Берлин, Копенгаген, Стокгольм, Вену, Прагу, Цюрих, Штутгарт, Базель. Прошло то время, когда для него одного, как то было в Сибири, резали на неделю барана и со стола не сходили утки, зайцы, тетерева, куропатки, дупеля, подстреленные им у берегов Енисея.

Как же он жил в эмиграции?

Как мы уже видели, его старшая сестра Анна Ильинична утверждает, что за границей, «во время наших редких наездов, мы могли всегда установить, что питание его далеко недостаточно». Нам эта свидетельница знакома. Описывая жизнь Ульяновых в Симбирске, она изображала ее бедной. Это была неправда. Она утверждала, что после смерти отца семья Ульяновых «жила лишь на пенсию матери». Тоже неправда. Она уверяла, что в Сибири Ленин жил «на одно свое казенное пособие в 8 рублей в месяц». Она и здесь убегала от истины. Поэтому нас не должно удивлять ее указание, что в эмиграции бедный Ленин не имел средств, чтобы обеспечить себе достаточное питание. А. И. Ульянова настойчиво проводила партийную линию. Партийный канон требовал: «вождь пролетариата» должен быть бедным, должен быть «народного» пролетарского или вроде того происхождения, ибо лишь пролетариат является носителем высших моральных и социальных ценностей. Вот великий Маркс в Лондоне действительно так нуждался, что временами не имел средств купить даже килограмм картофеля. Так неужели же великий вождь пролетариата Ленин никогда не впадал в благородное состояние бедности? Ведь бедность есть заслуга!

Сам Ленин накануне Октябрьской революции в одном из своих произведений громко, ясно, твердо всему миру заявил, что он никогда не испытывал нужды. Но он подвизался в среде, утверждавшей, что верблюду гораздо легче пролезть в игольное ушко, чем богатому, ненуждающемуся человеку, войти в Царство Небесное. По этой причине, едва успел скончаться Ленин, едва успели мощи его быть возложенными в мавзолей на Красной площади перед Кремлем, как спонтанно стала создаваться легенда о бедной жизни и большой нужде, которую пришлось испытывать «Ильичу». Авгуры, подхватив эту легенду, превратили ее в канон.

В извинение Анны Ильиничны Ульяновой нужно сказать, что не она главный творец легенды. А. И. Ульянова вошла в «линию», когда та уже появилась, была начертана, закреплена. Вступить в спор с партийной установкой она не могла. Ей пришлось следовать за ней и соответственно тому аранжировать рассказы о жизни своего брата. Если это оказалось неудачным — она в том не виновата. Факты — вещь упрямая, и их не всегда удается скрыть.

Следя за историей рождения легенды о бедной жизни Ильича, я нашел, что одно из первых о нем сказаний принадлежит некоему большевику И. М. Владимирову, встречавшемуся с Лениным в 1904 году в Женеве и в 1908—1909 годах в Париже. Со свидетельскими показаниями, что Ленин жил в эмиграции «впроголодь», он выступил в крошечной брошюре «Ленин в Женеве и Париже», изданной Государственным издательством Украины в 1924 году сразу же после смерти Ленина. Рассказывая, что в качестве наборщика он принимал участие в выпуске первых большевистских изданий, Владимиров писал:

«И вот тов. Ленин создает в конце 1904 г. первую большевистскую газету — «Вперед». Эта газета была вначале маленькой и была издана на собранные гроши среди сторонников тов. Ленина. Как сам тов. Ленин, так и все почти другие большевики жили впроголодь и отдавали последние копейки для создания своей газеты. Владимир Ильич всегда бедствовал в первый период своей эмиграции. Вот почему, возможно, наш пролетарский вождь так рано умер»[1].

Уйдя из «Искры» и Центрального Комитета, где в большинстве оказались люди, не разделявшие его политику раскола, Ленин, организуя «Вперед», порывал связи с меньшевиками и закладывал базу для большевистской «фракции», фактически — партии. Первый номер «Вперед» вышел 4 января 1905 года и продолжал выходить (всего 18 номеров) до мая, когда после большевистского съезда был заменен газетой «Пролетарий».

[1] Владимиров, изображая положение большевиков в Женеве в 1904 году, уверял, что среди них, даже тех, кто потом, после 1917 года, заняли крупный пост, было «немало» таких, которые, чтобы не погибнуть с голоду, занимались перевозкой вещей швейцарских туристов. Я лично знал всех большевиков, живших в то время в Женеве. Из них только один занимался перевозкой туристов — это автор этих строк. Другие большевики считали эту работу — делом, их унижающим.

Абонемент на книгу
Н. ВАЛЕНТИНОВА
«Малознакомый Ленин»
(«Библиотечка «Слова»
совместно с «Евроросс»)
будет опубликован
в первых номерах журнала
«Слово» за 1992 год.

Смешно слышать, что «Вперед» создана «на последние гроши» впроголодь живущих за границей большевиков. Деньги для нее получались из России от совсем неголодающих людей. В январе 1905 года, обращаясь в Петербург к Богданову, Ленин писал: «...тащите (о с о б е н н о с Г о р ь к о г о) хоть понемногу».

И с А. М. Горького тащили. Из «Пролетарской Революции» № 3 за 1925 год (стр. 24) можно узнать, что Горький дал на «Вперед» три тысячи рублей. Но «тащили» не с одного Горького. Субсидия поступала, например, и от А. И. Ерамасова, богатого человека, фабриканта, жившего в Сызрани, где жил и П. Т. Елизаров, брат мужа Анны Ульяновой. При посредстве обоих братьев Ленин еще до своей первой поездки за границу (1895 г.) установил связь с Ерамасовым, и тот для Ленина (в области именно добывания «финансов») оказался человеком весьма полезным.

Затеяв «Вперед», Ленин немедленно обратился к Ерамасову за деньгами: «Наши партийные дела были весь год безобразны, как Вы, наверное, слышали. Меньшинство сорвало окончательно второй съезд, создало новую «Искру»... Я начал здесь (с новыми литературными силами) издавать газету «Вперед» (анонс вышел, № 1 выйдет в начале января н. ст.). Сообщите, как Вы относитесь и можно ли рассчитывать на Вашу поддержку, которая была бы для нас крайне важна».

Из другого письма можно видеть, что Ленин намеревался извлечь от Ерамасова очень крупную сумму: «Наше дело грозит прямо-таки крахом, если мы не продержимся при помощи чрезвычайных ресурсов по меньшей мере полгода. А чтобы продержаться, не сокращая дело, необходимы minimum две тысячи рублей в месяц.. Вот почему я и обращаюсь теперь к Вам с настоятельнейшей просьбой выручить нас и добыть нам эту поддержку».

Эти письма напечатаны в собрании сочинений Ленина, и, ознакомившись с ними и с другими документами, легенду о голодающих большевиках, приносящих свои «последние копейки» для создания «Вперед», нужно оставить.

А теперь о жизни «впроголодь». Среди уже сотню лет существующей в Западной Европе российской эмиграции всегда были, и по сей день существуют, бедствующие, голодные люди. Среди большевиков, не имевших большого партийного чина, тоже были голодающие, не в Женеве 1904 года, а после 1907 года, например в Париже, где бывали случаи, что от голода люди сходили с ума и, как московский рабочий Пригара, бросались в Сену. Ленин не мог не знать о тяжком положении иных своих партийных (фракционных) товарищей. Это было ему неприятно, но у него не было по этому поводу и больших мучений. Он считал, что спасти можно некоторых, но не всех. Он всегда говорил, что партия не благотворительное общество, не «Армия Спасения». Ленин был против «кормления всех без различия». Поддержке подлежали лишь те профессиональные революционеры, которых он называл «ценным партийным имуществом».

Свой взгляд на эти вещи он ясно выразил еще в первые годы эмиграции в письме (от 27 сентября 1902 года) к А. М. Калмыковой, дававшей деньги на издание «Искры». Он внушал ей не сообщать «участникам дела» точную сумму ее субсидий, так как это лишь могло побудить слишком многих предъявлять претензии на поддержку. «Обилие побегов (за границу. — Н. В.) ставит в «распоряжение» «Искры» кучу людей при условии содержания всех их, но если за это широко, легко и необдуманно взяться, то мы окажемся через 1/2 года — год «без ничего». Нужно говорить, — писал он Калмыковой, — что деньги на «Искру» «желаете давать лишь при крайней нужде», рекомендуя изыскивать самим регулярные источники текущих расходов».

Свою тактику скрывать действительное положение кассы газеты «Искра», изображать его хуже, чем оно было, пугать своих товарищей «финансовым крахом», тем самым заставлять их добывать средства — Ленин проводил мастерски. В 1901 году в кассу поступили крупные суммы от Калмыковой, из Киева через проф. Тихвинского и из других мест, но Ленин именно в это время посылал всем отчаянные письма — спасайте нас! «Собирайте деньги, — писал он Дану 22 марта 1901 года. — Мы доведены теперь почти до нищенства, и для нас получение крупной суммы — вопрос жизни». «Финансы — вовсе швах, — сообщал он Бауману 24 мая 1901 года, — Россия не дает почти ничего».

Вернемся, однако, к вопросу, бедствовал ли в эмиграции Ленин. Владимиров в упомянутой выше брошюре приносит тому следующее доказательство: квартира Ленина в Париже «состояла из одной[1] комнаты с альковом и маленькой кухней». С Лениным и Крупской в то время жила ее мать и Мария Ильинична. Жить вчетвером в крошечной квартире — в одной комнате — крайне тягостно, и если Ленину пришлось идти на такую тяготу, то, очевидно, у него не было денег, и он действительно бедствовал. «Свидетельство» Владимирова о тяжком жилищном положении Ленина вошло в историю, и вот что 30 лет спустя писала об этой парижской квартире «Правда» 21 января 1954 года: «В четырнадцатом районе города есть скромная улица под названием Бонье. Здесь в доме № 24 жил и работал Владимир Ильич... Друзья Советского Союза в 1945 году установили на стене дома мемориальную доску. На мраморе видны силуэт Владимира Ильича и надпись по-французски: «Ленин. 22 апреля 1870 г. — 21 января 1924 г. Ленин жил в этом доме с декабря 1908 года по июль 1909 года». В этой квартире «маленькая комната была его кабинетом, кухня служила и столовой и приемной».

Нечто другое о той же квартире на улице Бонье писала Крупская в своих «Воспоминаниях»: «Квартира была нанята на краю города, около самого городского вала, на одной из прилегающих к Авеню д'Орлеан улиц, на улице Бонье, недалеко от парка Монсури. Квартира была большая, светлая и даже с зеркалами над каминами (это было особенностью новых домов). Была там комната для моей матери, для Марьи Ильиничны, которая приехала в это время в Париж, наша комната с Владимиром Ильичем и приемная. Но эта довольно шикарная квартира весьма мало соответствовала нашему жизненному укладу и нашей привезенной из Женевы «мебели».

Как видим, биографы Ленина, чтобы прославить его «бедность», не стесняются плодить грубую ложь. Она становится еще более вопиющей, если напомнить, что сам Ленин писал 19 декабря 1908 года своей сестре Анне: «Мы едем сейчас из гостиницы на свою новую квартиру... Нашли очень хорошую квартиру, шикарную и дорогую 840 франков + налог около 60 frs да + консьержке тоже около того в год. По-московски это дешево (4 комнаты, кухня + чуланы, вода, газ), по-здешнему дорого. Зато будет поместительно и, надеемся, хорошо. Вчера купили мебель для Маняши. Наша мебель привезена из Женевы».

Ленин прав: квартира почти в 100 франков в то время считалась дорогой; в годовом бюджете квартирная плата вряд ли могла составлять 25%. Такого процента в Париже нигде нельзя было найти. Но предположение, что в бюджете Ленина плата за квартиру все-таки занимала такую крупную долю, нужно вывести, что его годовой бюджет должен быть около 4000 франков, чтобы иметь возможность располагать нанятой «шикарной» квартирой. А 4000 франков в 1908 году и в последующие годы — весьма значительная сумма. Она не меньше чем в три раза превышала средний заработок рабочих Франции. Ленин не был беспечной богемой. Если бы не знал, что не может оплатить дорогую квартиру, он ее не взял бы. Значит, у него были деньги, и в достаточном количестве. Откуда же легенда, что он «бедствовал»?

Крупская писала, что шикарности квартиры не соответствовала их мебель. Мебель у них всегда была жалкая, но причиной было не бедственное положение, а ненужность при частых передвижениях из одной страны в другую обзаводиться солидной мебелью. При спешном переезде, например, из Мюнхена в Лондон, Ленин продал их меблировку за 12 марок, то есть почти даром, только бы от нее отвязаться. Крупская говорит, что при отсутствии должной меблировки квартира на улице Бонье «была неуютна до крайности». И при лучшей меблировке квартира Ленина все равно казалась бы неуютной, каким-то временным и неустроенным жильем. Это идет уже от самой Крупской, совершенно лишенной присущей многим женщинам способности создавать уют, делать жилье привлекательным.

В июле 1909 года, покинув улицу Бонье, Ленин переселился в дом № 4 по улице Marie-Rose. На этом доме тоже с 1945 года мемориальная доска с барельефным изображением Ленина и указанием, что он жил здесь в 1909—1912 годах[1].

Переезд в меньшую, чем на улице Бонье, квартиру объясняется совсем не тем, что он впал в «бедность». Сестра Маняша решила возвратиться в Россию, и исчез смысл иметь лишнюю комнату и за нее платить. Квартира на Мари-Роз, где за границей Ленин жил дольше, чем где-либо, светла, гигиенична и очень удобна. Из передней направо — большая комната с балконом

[1] Подчеркнуто нами. — *Н. В.*

[1] Французская коммунистическая партия из квартиры на улице Мари-Роз ныне сделала музей имени Ленина.

и видом через улицу на тенистый сад напротив (на его месте теперь церковь). Это кабинет Ленина. Отсюда дверь в поместительный альков не с французским lit national, а с двумя железными, русского образца кроватями Ленина и Крупской. Из передней налево — другая, еще большая комната для матери Крупской, Елизаветы Васильевны, и вместе с тем для занятий Крупской. На той же стороне — маленькая и совсем не темная кухня, в которую вел небольшой коридор. Большим плюсом квартиры было то, что она имела центральное отопление. Хотя в квартиру на улице Боньє приходила прислуга и в круг ее обязанностей входило приносить уголь и зажигать печи, французские «саламандры» Ленину и Крупской очень надоели. Поэтому-то они так и ухватились за квартиру на улице Мари-Роз. Ленин, видимо, придавал большое значение этой стороне. В письмах к родным он и Крупская неоднократно об этом упоминали. «У нас квартира с отоплением оказалась даже чересчур теплой», — сообщал Ленин матери в письме от 4 ноября 1909 года. «У нас паровое отопление и очень тепло», — снова пишет он матери в начале декабря. «Разница от прошлого года только та, что квартира очень теплая» (письмо Крупской к матери Ленина от 20 декабря 1909 года). Квартира на улице Мари-Роз стоила на 140 франков дешевле, чем на улице Бонье, но для тех лет ее справедливо считали дорогой. Если бы Ленин жил «впроголодь» — мог ли он иметь эту квартиру?

Итак, Ленин совсем не бедствовал, живя в эмиграции. Как же он жил? Средства из разных источников (мы остановимся на них позднее), которые он имел в период эмиграции, всегда обеспечивали ему ровную, конечно, сытую, без каких-либо провалов, жизнь. Он, действительно, имел право заявить, что никогда не испытывал нужды.

Бросается в глаза его стремление вести свою жизнь по раз навсегда твердо заведенному порядку. В этой области он был консервативен до крайности. Под давлением обстоятельств ему приходилось выбиваться из начертанной колеи, но при первой же возможности он спешил к ней возвратиться. Его идеалом было точное расписание дня — время сна, работы, еды, отдыха, прогулок. Обязанности редактора, политического руководителя принуждали его к постоянным встречам и разговорам со множеством людей. Они для него были и нужны, и интересны, но он и в них хотел внести порядок. Быть целый день на людях, часами и часами говорить с ними, как это делал его товарищ по редакции Мартов, было вне его сил. Он без насмешки, серьезно, с каким-то ужасом говорил: «Мартов может одновременно писать, курить, есть и не переставать разговаривать хотя бы с десятком людей». В первые годы эмиграции Ленин так уставал от разных деловых и неделовых разговоров, что делался от них совершенно больным и неработоспособным. В Мюнхене, пресекая визиты к себе и разговоры в неположенное время, он отправил Крупскую просить Мартова больше не ходить к нему. «Условились, — сообщает Крупская,— что я буду ходить к Мартову, рассказывать ему о получаемых (для редакции) письмах, договариваться с ним». Сутолока отягощала Ленина.

Ленин не переносил жизни скопом, в «коммуне», в доме, «где все окна и двери никогда не запираются, постоянно открыты на улицу, и всякий проходящий считает нужным посмотреть, что вы делаете». Он был скрытен. Он не любил, чтобы заглядывали, как он живет. Идя на дополнительный расход, он всегда искал отдельной квартиры, в крайнем случае, изолированных комнат, где мог бы быть chez soi в привычной для него обстановке, со всеми нужными ему книгами. Во время первой революции, приехав нелегально в Петербург, он страдальчески чувствовал, что выбит из усвоенного им порядка жизни. Ему приходилось жить у разных лиц, обычно в хороших, комфортабельных квартирах, хозяева которых предоставляли ему все, что нужно, и тщательно избегали какого-либо вмешательства в жизнь их гостя. И все-таки всюду в этих чужих квартирах он чувствовал себя скованным, обузой для других. Этот человек, свергавший буржуазную планету, был очень «стесняющимся», боящимся стеснить других. М. П. Голубева рассказывает: «В 1906 году у меня была штаб-квартира для свиданий Владимира Ильича с членами Центрального и Петербургского Комитета. Владимир Ильич всегда приходил первым, ни разу не опоздал. Зная, что каждый из нас считает за честь предоставить в его распоряжение свою квартиру, зная мое личное хорошее отношение к нему, Владимир Ильич, тем не менее, всякий раз извинялся и говорил: «Вот опять часа на два придется занять вашу квартиру». В местечке Оглбю, близ Гельсингфорса, в конце 1907 года, прежде чем бежать снова в Женеву, Ленину пришлось прожить некоторое время у двух сестер-финок «в изумительно чистенькой и холодной, по-фински уютной, с кружевными занавесками комнате... где за стеною все время шел смех, игра на рояле и болтовня на финском языке», — рассказывает в своих «Воспоминаниях» Крупская. Ленин писал тогда об аграрной программе социал-демократии в революции 1905—1907 годов и по обыкновению ходил по комнате. Не желая беспокоить хозяек стуком шагов, он «часами ходил из угла в угол на цыпочках».

В Петербурге тяга к утерянной жизни chez soi была так велика, что, несмотря на связанные с этим опасности, Ленин трижды сделал попытку поселиться совместно с Крупской (тоже жившей по фальшивому паспорту), чтобы снова, как прежде, вкушать удобства семейной жизни. И все-таки он сбежал (именно «сбежал») с квартиры и на Греческом проспекте, и на Пантелеймоновской улице, и на Забалканском проспекте. Доведенная до крайности осторожность и боязнь быть арестованным (он несомненно считал, что с его арестом рушится и вся революция) порождали у него своего рода шпиономанию: ему всегда казалось, что около дома, где он поселился, появлялись шпионы.

Ленин не только был способен «стесняться», но у себя, в семейной обстановке, он мог предаваться и некоторым сентиментальным реминисценциям. Например, живя в эмиграции, он любил по вечерам подолгу рассматривать альбом с фотографиями всех своих родных[1]. Уехав из Пскова за границу, он из предосторожности (в альбоме была и карточка повешенного брата) не взял его с собой, но очень скоро попросил мать при первой возможности этот альбом ему выслать: «Дорогая мамочка!.. Я уже успел соскучиться по карточкам и непременно буду просить Недю привезти мой альбом, а если будут у вас новые карточки, то присылайте» (письмо от 27 января 1901 года).

В Женеве и особенно первый год жизни в Париже Ленин очень часто посещал кафе, однако не любил и избегал ресторанов и жизни в пансионах. Последними пользовался в крайних случаях. Летом в 1911 году в Лонжюмо, где жила большевистская колония и существовала школа, в которой Ленин, Каменев, Зиновьев и другие читали лекции, была общая для партийцев столовая. Для завтраков и обедов ходил туда и Ленин с Крупской, но Ленин делал это очень неохотно, шел туда только потому, что было неловко держаться от всех в стороне. Шарлю Раппопорту, читавшему в школе историю французского рабочего движения, он сказал однажды: «Не люблю общих обедов с их разговорами. Если это важные разговоры, им не место во время еды, а если просто болтовня, зачастую, как в пансионах, очень раздражающая, то она только мешает есть».

И Ленин и Крупская обладали, по ее выражению, «в достаточной мере поедательными способностями», хорошим аппетитом, и, удовлетворяя его, Ленин хотел иметь у себя дома излюбленные им простые, но очень сытные блюда. Особенно Ленин любил вся-

[1] Г-н Соломон в брошюре «Ленин и его семья» (Париж, 1931) уверяет, что тот с большим презрением относился к своим родным. Брата Дмитрия якобы считал просто «самым обыкновенным дураком», младшую сестру Марию — «дурочкой», а про Елизарова говорил, что Анна сделала «непростительную глупость, выйдя замуж за этого недотепу».

Брошюра г-на Соломона переполнена такой низкопробной ложью, что в ней неприятно разбираться. Коротко заметим: «Маняшу», которую в припадке нежности Ленин называл «милой Мимозой», он, конечно, «дурочкой» не считал и очень любил — больше, чем Анну и брата. Елизарова, если бы считал «недотепой», никогда бы народным комиссаром путей сообщения не назначил. Весьма возможно, что Ленин не был высокого мнения о способностях брата Мити, но человек очень скрытный, он с чужими о своих родственниках не говорил.

Г-н Соломон рассказывает, что его сестра, жена проф. Тихвинского, хорошо знала Ленина, гостившего у них в Киеве, чувствовала к нему такую «глубокую внутреннюю неприязнь», что «ей было трудно сохранять вид гостеприимной хозяйки...». Пишущий эти строки, будучи студентом Киевского политехнического института, превосходно знал проф. М. М. Тихвинского и его жену и очень часто бывал у них. Ленин никогда у них не гостил. Это доказуемо неопровергаемыми аргументами. В брошюре г-на Соломона нет, кажется, страницы, не «украшенной» ложью.

кие «волжские продукты»: балыки, семгу, икру, которые в Париж и Краков ему посылала мать иногда в «гигантском количестве». «Ну уж и балуете вы нас в этом году посылками! — писала Крупская сестре Ленина Анне 9 марта 1912 года. — Володя даже по этому случаю выучился сам в шкап ходить и есть вне абонемента, т. е. не в положенные часы. Придет откуда-нибудь и закусывает».

Крупская признавалась, что «хозяйка я была плохая... люди, привыкшие к заправскому хозяйству, весьма критически относились к моим упрощенным подходам». Она щеголяла своим отвращением к домашнему хозяйству и неумению его вести. Еду, ею изготовляемую, она презрительно называла «мурой» и говорила, что умеет «стряпать только горчицу». Ленин, относившийся отрицательно ко всем видам неумения, все-таки не осуждал Крупскую, ведь освобождение женщин от кухонных дел стояло в его программе, но тем благосклоннее он относился к присутствию ее матери, Елизаветы Васильевны, в течение многих лет, начиная с жизни в Шушенском, умело ведшей их хозяйство, хотя совместная жизнь с нею нарушала его некоторые привычки иметь жилье с лишней комнатой.

Ни Елизавета Васильевна, ни Крупская — первая потому, что не могла (она очень уставала от хозяйства), вторая, главным образом, потому, что не хотела, — не занимались тем, что называется грязной стороной домашнего хозяйства (топка печей, мытье полов, посуды и т. д.). Для такой работы всегда приглашалась на несколько часов приходящая прислуга. А в Кракове, где на помощь одряхлевшей Елизаветы Васильевны уже нельзя было рассчитывать, в семье Ленина служила уже постоянная работница. Нигде нет указаний, что Ленина это смущало.

Он придавал огромное значение здоровью. «Хворать и подрывать свою работоспособность — вещь недопустимая во всех отношениях... а запускать (болезнь. — Н. В.) — прямо безбожно и преступно», — писал он Горькому 30 сентября 1913 года.

В его терапевтике — есть и спать играли первенствующую роль. «Ешь и спи больше, — писал он Крупской, — тогда к зиме будешь вполне работоспособна». Такие же советы он давал и жившей у него сестре Марии: «Я ей советую усиленно пить больше молока и есть простоквашу, — писал он матери 24 августа 1909 года. — Она себе готовит ее, но, на мой взгляд, недостаточно все же подкармливает себя: из-за этого мы с ней все время ссоримся».

В случае болезни Ленин обычно обращался к очень хорошим врачам или знаменитостям. У брата своего Дмитрия он не стал бы лечиться. Из Женевы в конце 1903 года он ездил в Лозанну к знаменитости — доктору Мермоду. В Париже оперировать сестру Марию от аппендицита позволил только в хорошей клинике известному хирургу д-ру Дюбуше. Крупскую, страдавшую базедовой болезнью, свез из Кракова в Берн к знаменитому специалисту Кохеру.

Свой взгляд на лечение и на докторов он весьма оригинально формулировал в письме к Горькому, узнав, что того лечит от туберкулеза по новому методу какой-то неизвестный врач — Манухин: «Дорогой Алексей Максимыч!.. Известие о том, что Вас лечит новым способом «большевик», хотя и бывший, меня ей-ей обеспокоило. Упаси боже от врачей-товарищей вообще, врачей-большевиков в частности! Право же, в 99 случаях из 100 врачи-товарищи «ослы», как мне раз сказал один хороший врач. Уверяю Вас, что лечиться (кроме мелочных случаев) надо только у первоклассных знаменитостей. Пробовать на себе изобретение большевика — это ужасно!!»[1].

При взглядах Ленина на здоровье и лечение — трудно понять, как могло случиться то, что он испытал в Лондоне, доверившись Крупской, в медицине совершенно невежественной, никакого касательства к ней не имеющей. Накануне переезда из Лондона в Женеву он заболел тяжелой нервной болезнью, воспалением — по позднейшему определению докторов — кончиков грудных и спинных нервов, и покрылся сыпью. «Нам и в голову не приходило обратиться к английскому врачу, — рассказывает Крупская, — ибо платить надо было гинею». И, ничтоже сумняшеся, она сама взялась за лечение: заглянув в медицинский справочник и решив, что у Ленина стригущий лишай, она густо вымазала его йодом. «Дорóгой в Женеву Владимир Ильич метался, а по приезде туда свалился и пролежал две недели». Не после ли этого Ильич пришел к убеждению, что «пробовать на себе изобретение большевика или большевички — ужасно»?

Ненарушимый, правильный порядок жизни всегда, сказали мы, был стремлением Ленина. Он считал за правило каждый год летом бросать работу и ехать с женой отдыхать в горы, к морю, в деревню. Это правило ведет свое происхождение еще со времен выезда на лето в имение Кокушкино и позднее в Алакаевку. Каждый день между работой или после работы Ленин считал нужным выйти погулять или прокатиться на велосипеде. В эти интервалы его дня он любил иметь компаньона. По воскресеньям выходы часто превращались в большие прогулки за город. Утром, проснувшись, полуголый Ленин, в одних кальсонах, в течение 10—15 минут усердно проделывал установленную им самим порцию и систему гимнастики: приседал, разводил руки, сгибал корпус. Но если, нарушая правильный образ жизни, что часто с ним случалось, Ленин читал или писал до поздней ночи, гимнастика отменялась: «В этом случае, как показал опыт, гимнастика не рассеивает усталость, а ее увеличивает», — поведал мне он в одной из наших бесед.

Каждое утро, перед тем как начать читать газеты, писать, словом, начинать день — он наводил порядок в своей комнате. На то, что делалось в других частях квартиры, он, по выражению Крупской, смотрел «отсутствующими глазами», в той же комнате, где читал и писал, беспорядка не переносил. Масса книг, повсюду с ним передвигавшаяся, располагалась не только на полках, этажерках, но часто и на полу. В этой внешней беспорядочности был, однако, установленный им порядок: он знал, что где находится. Нужные ему книги, папки, газеты всегда держал под рукой, в удобном месте. Нигде ни пылинки, ни чернильных пятен. Их он не терпел, как не терпел грязных гранок в типографии его статей. Он называл их «свинством» и требовал, чтобы ему давали другие, чистые.

Не было беспорядка и в его дешевом, но всегда чистом костюме. Плохо держащуюся пуговицу пиджака или брюк иногда укреплял собственноручно, не обращаясь к Крупской. Елизавета Васильевна находила, что он это делал лучше, чем ее дочь. Если на костюме появлялись пятна, он старался немедленно вывести их бензином.

Ленин — воплощение порядка, аккуратности, изумительного прилежания и усидчивости в работе. У него нет ничего от бестолкового образа жизни прежней российской интеллигенции и ничего от богемы. Ему как будто чужды всякие эксцессы. Его нельзя вообразить выпивающим лишнюю кружку пива или вина. Его нельзя себе представить пьяным. Вид одного пьяного товарища (Шулятикова) в Париже вызвал у него содрогание и отвращение. Из эмигрантских собраний, где пахло начинающейся дракой, Ленин стремглав убегал. В Париже в 1911 году в кафе на авеню д'Орлеан между двумя фракциями большевиков — группой «Вперед» и той, что стояла за Ленина, — была готова разразиться драка. Опытный по этой части хозяин кафе потушил электричество, оставив в темноте антагонистов. Ленин выскочил из кафе и, как передает Крупская, «долго после этого, чуть не всю ночь, бродил Ильич по улицам Парижа, а вернувшись домой, не мог заснуть до утра».

Хотя Ленин давал самые детальные советы и даже директивы, как драться с царской полицией, бить шпионов, поджигать полицейские участки (см. его письмо от 29 октября 1905 года в Боевой Комитет при Петербургском Комитете)[1], никак нельзя себе представить, что лично он может все это проделывать. Этого величайшего революционера нельзя себе представить идущим во главе демонстрантов на бой с полицией или стоящим в первых рядах на баррикаде.

Почему? Потому ли, что у него не было личного мужества, или потому, что, по его убеждению, такие люди, как он, будучи призваны на пост верховного главнокомандующего, не должны заниматься тем, что делают простые солдаты?

Л. Троцкий, которому, конечно, бросалась в глаза эта загадка Ленина, разрешил ее следующим противоположением: «Либкнехт был революционером беззаветного мужества... Соображения собственной безопасности были ему совершенно чужды... Наоборот, Ленину всегда была в высшей степени свойственна забота о неприкосновенности руководства. Он был начальником генерального штаба и всегда помнил, что на время войны он должен обеспечить главное командование»[2].

Этой в высшей степени заботой охранить в своем лице от какого-либо риска «неприкосновенность руковод-

[1] Ленин, т. XXIX, стр. 44

[1] Ленин, т. VIII, стр. 325—326

[2] Л. Троцкий. Моя жизнь. Из-во «Гранит», Берлин, 1930. т. II, стр. 120

ства», нужно думать, объясняется, например, и то происшествие с Лениным в январе 1919 года, в котором он, по мнению многих, обнаружил «поразительную трусость». Ленин со своей сестрой Марией Ильиничной выехал вечером 19 января на автомобиле из Кремля, чтобы навестить в Сокольниках Крупскую, которая после болезни отдыхала там в доме лесной школы, и принять там участие в детском празднике «Новогодней елки». В пути на них — это было тогда в Москве почти обычным, бытовым явлением — напали бандиты. Ленина сопровождал телохранитель в лице чекиста Чебанова. Но сей муж так растерялся, что не оказал бандитам ни малейшего сопротивления. Никакого мужества не проявил и Ленин, хотя в кармане его пальто под рукой находился заряженный револьвер. Рисковать собою Ленин не пожелал. Он беспрекословно вышел из автомобиля, дал себя обыскать, ни слова не говоря, отдал бандитам паспорт, деньги, револьвер и в придачу автомобиль, на котором бандиты укатили.

Товарищи Ленина, из его же рассказов видевшие, что он имел полную возможность стрелять и одним выстрелом разогнать нападающих, удивлялись, почему же он не стрелял? Ленину эти вопросы и удивление так надоели, что в одну из своих статей он вставил следующий пассаж: «Представьте себе, что ваш автомобиль остановили вооруженные бандиты. Вы даете им деньги, паспорт, револьвер, автомобиль. Вы получаете избавление от приятного соседства с бандитами. Компромисс налицо несомненно. «Do ut des» — («даю» тебе деньги, оружие, автомобиль», «чтобы ты дал» мне возможность уйти подобру-поздорову). Но трудно найти не сошедшего с ума человека, который объявил бы подобный компромисс «принципиально недопустимым»...»

В переводе на другой язык это означает: бросьте говорить глупенькие речи о храбрости. Мудрость вождя революции и государства заключается в том, что, не поддаваясь рефлексам, он должен уметь уходить «подобру-поздорову» из опасности...

Если бы заснять фильм из повседневной жизни эмигранта Ленина в пределах его только что отмеченных правил, привычек, склонностей, — получилась бы картина трудолюбивого, уравновешенного, очень хитрого, осторожного, без большого мужества, трезвейшего, без малейших эксцессов мелкого буржуа.

Когда он стал у власти, многие художники, рисуя его портрет, пытались в нем передать, отжать наиболее бросавшиеся им в глаза психологические черты Ленина. И замечательно, что во всех рисунках и портретах 1920—1921 годов Малявина, Пархоменко, Бродского, Чехонина, Альтмана — это была эпоха начинавшегося нэпа — Ленин представляется именно таким, то есть уравновешенным, трезвейшим, пунктуальным, взвешивающим, спокойным, рассудочным человеком.

Однако это только одна половина Ленина. А вот если бы параллельно с первым, «немым» фильмом заснять другой, с записью звуковой, передающей то, что проповедует Ленин, то, что чистенько, аккуратно он заносит на бумагу (без писания, сводящегося к наставлениям, команде, приказам, директивам — он не мог бы жить), представит феномен, бьющий своей противоречивостью. Этот трезвый, расчетливый, осторожный, уравновешенный мелкий буржуа — далек от уравновешенности. Он считает себя носителем абсолютной истины, он беспощаден, он хилиаст. Он способен доводить свои увлечения до ража, от одного ража переходить к другому, загораться испепеляющей его самого страстью, заряжаться слепой ненавистью, заряжаться таким динамитом, что от взрыва его в октябре 1917 года будут сдвинуты с места все оси мира. Две души, два строя психики, два человека — в одной и той же фигуре. Как Фауст Гете, он мог бы сказать о себе:

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust.
Die eine will sich von der andern trennen.

Возвращаясь из эмиграции и подъезжая 16 апреля 1917 года к Петрограду, Ленин, волнуясь, спрашивал: «Арестуют ли нас по приезде?» Это — одна ипостась Ленина.

Двадцать минут спустя, после торжественного его приема на вокзале представителями Совета рабочих и солдатских депутатов, Ленин несся на броневике через весь Петроград к дворцу Кшесинской, ставшему помещением Центрального Комитета большевиков, бросая встречным толпам: «Да здравствует мировая социалистическая революция!» Это — другая ипостась Ленина.

От одной души пойдет нэп и завещание Ленина — «надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед». От другой — Октябрьская революция и хилиастические видения кровавой мировой коммунистической революции. По-видимому, вторую ипостась и пытались запечатлеть художник Гринман (в 1922 году), скульптор Н. Аронсон (в Париже, в 1925 году), скульптор Королев (в 1924 году), последний — лучше других. У Гринмана — Ленин слишком уж «красив», а у Аронсона желание подчеркнуть волю, суровость и мудрость Ленина зашло так далеко, что в результате появилась символическая и стилизованная фигура, а не Ленин.

А. Д. НАГЛОВСКИЙ

Председатель наркомов

Впервые я увидел Ленина в Женеве в июне 1905 года.

Внешность Ленина помню отчетливо. Небольшого роста человечек с монгольским лицом, очень живой, очень приветливый, одетый в потрепанный пиджачный костюм. Характерны были живые, быстрые глаза, пронзительно глядевшие из-под большого крутого лба.

Несмотря на разницу лет и положения в партии, если бы не приветливое, живое товарищеское обращение без тени какого бы то ни было чванства меня сразу подкупило. От «бонзы» в Ленине не было тогда ничего.

Сразу же Ленин попросил Крупскую «приготовить чайку», и за пустым, без всяких «аблимантов» чаем Ленин жадно принялся меня расспрашивать о партийных делах в Казани, о настроениях в России, о возможности расширения большевистской деятельности в столицах и прочем. Видно было, что Ленин всем этим горит.

С первых же слов в нем чувствовался сразу большой ум, тонко схватывающий каждую мелочь, хитрая практическая сметка и, конечно, абсолютная преданность делу партии. К тому же, в противоположность другим вождям, в Ленине тогда было что-то еще очень живое, молодое. Ему тогда минуло 35 лет.

Единственно, что произвело неприятное впечатление, это общий тон Ленина, когда он начинал говорить о противниках. Это был тон беспардонного издевательства, пересыпанный грубой руганью.

Давно забыв о стоявшем перед ним чае, Ленин уже быстро ходил из угла в угол, засунув большие пальцы рук на груди под жилет. Это была обычная привычка Ленина — говорить, ходя из угла в угол. Хотя, собственно, он даже не говорил, обращаясь ко мне, а словно читал лекцию о «текущем моменте».

Отмечу здесь мимоходом одну черту, сразу бившую в облике Ленина. Теперь о Ленине коммунисты обычно пишут, как о каком-то «спокойном мудреце», вещавшем истины. Напротив, уж тогда Ленин был крайне нервен, непоседлив, взвинчен. Это был, конечно, явный неврастеник, а вовсе не мудрец «божественного спокойствия».

Когда я взял быка за рога, начав говорить о том, что больше всего волновало партийные низы в России — о вооруженном восстании — быть ему или не быть, идти на него или не идти, Ленин на минуту, было, присевший к столу, вдруг быстро вскочил и резко, очень сильно картавя, совершенно не выговаривая «р», заговорил:

— Что нужно делать? Нам нужно одно — вооруженное восстание! — повторял он тоном непререкаемой необходимости, повелительно и бесспорно. Когда ж я указал, что в партийных кругах в России живет сомнение в том, что восстание едва ли может быть победным, Ленин сразу даже остановился.

— Победа?! — проговорил он. — Да, для нас дело вовсе не в победе! — и делая правой рукой резкие движения, словно вбивая какие-то невидимые гвозди, Ленин продолжал: — От моего имени так и передайте всем товарищам: нам иллюзии не нужны, мы трезвые реалисты и пусть никто не воображает, что мы должны обязательно победить! Для этого мы еще очень слабы. Дело вовсе не в победе, а в том, чтобы восстанием потрясти самодержавие и привести в движение широкие массы. А потом уже наше дело будет заключаться в том, чтобы привлечь эти массы к себе! Вот в чем вся суть! Дело в восстании как таковом! А разговоры о том, что «мы не победим» и поэтому не надо восстания, это разговоры трусов! Ну, а с ними нам не по пути!

Все было ясно. Директивы получены. Мой первый визит к Ленину кончался. Прощаясь, Ленин жал руку, говорил всякие подбадривающие комплименты. В Ленине тех времен было много силы, здоровья, энергии. Но, в противоположность холодному барственному Плеханову, в Ленине не было ничего от «высокой мудрости». Это был умный, смелый, очень хитрый партийный заговорщик, властный водитель клана. Политический боец, исполненный абсолютного цинического презрения ко всему, кроме себя самого. Всей манерой речи, каждой фразой, каждым словом он как бы говорил: «Знайте, во-первых, что все, кроме меня, дураки и никто ни в чем ничего не понимает! А во-вторых, если вся товарищи будут слушать меня, то из этого выйдет настоящий толк! И даже очень большой толк! Вот и извольте мне беспрекословно подчиняться! А я уж знаю, что будут делать!»

Прощаясь, я сказал Ленину о привезенных деньгах. Это Ленина очень обрадовало. Он ответил, что деньги я должен передать тому самому грузину, который дал его адрес. И на мгновение задумавшись, Ленин вдруг сказал, что было бы правильнее, чтобы я после Женевы ехал не в Казань, а в Петербург, где необходимо усилить большевистскую агитацию среди питерских рабочих. Я согласился. На том мы и порешили. Перед отъездом Ленин обещал дать точные инструкции.

•

Через две недели, в течение которых в Женеве я несколько раз встречался с Лениным, поезд мчал меня уже назад в Россию, но не в Казань, а, по указанию Ленина, в Петербург, где я должен был стать ответственным пропагандистом Нарвского района.

Насколько вообще тогда, в 1905 году, были слабы большевики и насколько не имели корней в массах, показывает факт, что вся организация их в Петербурге едва ли насчитывала около 1000 человек. А в Нарвском рабочем районе — человек около 50-ти. Связи с рабочими были минимальны, вернее сказать, их почти не существовало. Большевистское движение было чисто интеллигентское: студенты, курсистки, литераторы, люди свободных профессий, чиновники, мелкие буржуа, вот где рос тогда большевизм. Ленин это прекрасно понимал, и по его плану эти «кадры» партии должны были начать завоевание пролетариата. Тут-то и интересовал его Нарвский район и самый мощный питерский Путиловский завод, где тогда имели большое влияние гапоновцы.

Питерские рабочие шли тогда за меньшевиками и эсэрами. В течение многих недель я пытался сколотить хоть какой-нибудь большевистский рабочий кружок на Путиловском заводе. Но результат был плох. Мне удалось привлечь всего-навсего пять человек, причем все эти пять, как на подбор, были какими-то невероятно запьянцовскими типами. И эта пятерка на наши «собрания» приходила всегда в неизменно нетрезвом виде.

Вскоре эта моя «деятельность» неожиданно оборвалась: был издан манифест 17-го октября, после которого большевистская организация в Петербурге могла уже приступить к более или менее широкой полулегальной работе.

Тут-то после манифеста и встретил я снова Ленина. Правда, эта петербургская встреча была «мимолетна». В трамвае. Помню, я ехал по Бассейной, вдруг в вагон вошел человек, по всему обличью очень напоминавший Ленина, но с чрезвычайно большими светлыми усами. Эта странная фигура, не замечая меня, шла в мою сторону и вдруг села прямо передо мной. Мне достаточно было пристального взгляда, чтобы узнать Ленина. Я слегка подмигнул ему. Он меня тут же узнал, но явно не пожелал быть узнанным, заволновался, сделал отрицательный знак головой, чтоб я, мол, не подавал никаких признаков знакомства. И вдруг даже встал и на следующей остановке вышел из трамвая.

Вскоре я увидел Ленина во второй раз, уже без усов, без грима, он выступал на митинге на курсах Лесгафта. Ораторская манера была совершенно та же, как тогда передо мной в Женеве. Ленин так же ходил по трибуне из угла в угол и сильно картавя на «р», говорил резко, отчетливо, ясно. Это была не митинговая речь (на что в те поры среди большевиков был только один мастер — «товарищ Абрам», Крыленко). У Ленина это была даже не речь. Ленин не был оратором, как, например, Плеханов, говоривший по французской манере с повышениями и понижениями голоса, с жестами рук. Ленин не обладал искусством речи. Ленин был только — логик. Говоря ясно, резко, со всеми точками над «i», он с огромной самоуверенностью расхаживал по трибуне и говорил обо всем таким тоном, что в истинности всего им высказываемого вообще не могло быть никаких сомнений. Раз он, Ленин, так говорит, стало быть, это так и есть. И только полемизируя, Ленин выходил из тона этой безграничной самоуверенности и впадал в дешевую насмешку и грубость издевки.

Но сам Ленин в Петербурге в те дни пробыл недолго. Не помню, куда он исчез, но исчез быстро, дав директивы и окончательно сплотив большевиков на лозунге вооруженного восстания. Помню, за восстание были тогда — Г. Алексинский, И. Сталин (тогда незаметный член партии), А. Крыленко и главный руководитель боевыми отрядами — Л. Красин.

Но так как ни широкие массы питерских рабочих, ни другие революционные партии в Питере лозунга вооруженного восстания не разделяли, то начать вооруженное восстание здесь большевики не решились, обратив все свое внимание на восстание в Москве.

Разумеется, и это восстание имело немного шансов на успех. Оно и было подавлено. И в результате разгрома как восстания, так и партии, в среде последней возникла острая оппозиция к Ленину, критиковавшая его «авантюристическую тактику», обрушивавшаяся на его «нечаевщину», на тактику «вспышко-пускательства». Но Ленин в своей «линии» был абсолютно твердокаменен. Ленин остался на своем. По его мнению, восстание было нужно, и прекрасно, что оно было. От своих положений Ленин никогда не отступал, даже если оставался один. И эта его сила сламывала под конец всех в партии.

•

Следующие мои встречи с Лениным относятся уже к 1917 году.

Теперь это стало известным, что до приезда Ленина в Россию большевистская партия пребывала в состоянии полной растерянности. Мне, как «очевидцу», тогдашнему члену партии, остается этот факт только подтвердить: без директив «вождя» в 1917 году в партии шел невероятный разброд. Приезд Ленина считался совершенно необходимым, хотя надо сказать, что тогдашнее большинство видных партийцев ждало Ленина с опасениями, предчувствия, что в этом хаосе Ленин сразу займет атакующую позицию в отношении Временного Правительства и Совета Рабочих Депутатов.

Таврический дворец тех дней, где заседал Совет, представлял тревожную картину. На трибунах — головка Совета — лидеры меньшевиков и эсэров. Где-то по кулуарам растерянно мечутся, мнутся, пробегают большевики — Стасова, Бубнов, Сталин, Каменев, Стеклов и другие. А зал залит революционной толпой, производившей, надо сказать, самое гнетущее впечатление. В большинстве это был, конечно, не народ, а большевистски настроенный охлос, на который и оперся в скором времени Ленин. Но пока что речами Чхеидзе, Церетели, Керенского даже в самом остром вопросе — о войне — этот охлос сдерживался всетаки на позициях оборончества, хоть и было ясно, что скрепы, пролегавшие от трибуны в зал, чрезвычайно хрупки. Хрупкость обнаруживалась ежечасно.

Помню выступление Плеханова — о войне. Прекрасный оратор западноевропейской манеры, Плеханов на этот раз говорил необычайно резко о войне до победного конца, о германском милитаризме, о славных союзниках, о героической Бельгии. При уважении к его имени в зале стояла тишина. Но когда он кончил, тишина так и осталась

Ленин, т. XXV, стр. 184. В примечании к этому тексту редакция ошибочно указывает дату этого происшествия — 24 декабря 1919 года, в действительности же это произошло, как мы указали выше, — 19 января 1919 года.

Ленин, т. XXVII, стр. 407.

стоять, не прерванная ни единым хлопком. И чтобы как-нибудь выйти из положения, встал Чхеидзе, произнося сглаживающую половинчатую речь.

Приехавшего Ленина я увидел на вокзале. Этот приезд достаточно описан в литературе, и я не косиусь его подробностей. Скажу только, когда я увидел вышедшего из вагона Ленина, у меня невольно пронеслось: «Как он постарел!» В приехавшем Ленине не было уже ничего от того молодого, живого Ленина, которого я когда-то видел и в скромной квартире в Женеве, и в 1905 году в Петербурге. Это был бледный изношенный человек с печатью явной усталости.

Приняв поздравления, Ленин ответил на них известной демагогической речью. Для всех стало ясно, что Ленин совершенно готов к продолжению заговорщицкой борьбы. И он повел ее из дворца Кшесинской.

Впечатление о сильной «постарелости» Ленина подтвердилось и в последующие дни, когда я часто встречал его в этом дворце. Весь вид Ленина был резко отличен от прежнего. И не только вид. В обращении исчезли всякое добродушие, приветливость, товарищеская легкость. Ленин этого времени по всей своей цинической, замкнутой, грубоватой повадке казался заговорщиком «против всех и вся», не доверявшим никому, подозревавшим каждого и в то же время решившим всеми силами, не считаясь ни с чем, идти в атаку на захват власти.

Разумеется, как и в былые дни, его обаянье в партии было сильно. Но тем не менее, прежде чем захватить власть в стране, Ленину предстояло еще завоевать свою партию. Против него шло не только «будированье по закоулкам», но оказывалось и резкое открытое сопротивление. Не только Каменев, Зиновьев, но подавляющее большинство партии было не на его стороне. И все же Ленин был настолько уверен в себе, настолько «самодержавен», что сразу же перешел в атаку на оппозиционеров.

Помню, как уже на первых собраниях во дворце Кшесинской он кричал: «Или теперь, или никогда! Наш лозунг — вся власть Советам! Долой буржуазное правительство!» — и перекосив лицо, картавя, в демагогической речи звал «идти с кем угодно, с улицей, с матросами, с анархистами», но идти на немедленный захват всей полноты власти! И в самое короткое время Ленин подмял под себя всю партию, чувствовавшую, что сил сопротивляться ему — нет, а без этого заговорщицкого кормчего она — ничего.

Временный уход Ленина в подполье после июльских дней увел его из поля моего зрения. Я увидел Ленина снова уже в Смольном в роли Председателя Совета Народных Комиссаров. Тут мне приходилось наблюдать его довольно часто.

Суммируя впечатление, которое у меня не опроверглось и последующими общениями с Лениным, я, вероятно, пойду вразрез с установившейся репутацией Ленина не только уж в большевистской, но даже, пожалуй, и в антибольшевистской литературе.

Обычно Ленин «все же» признается «государственным человеком». Встречаясь с Лениным на государственной работе, делая ли ему доклады, получая ли от него распоряжения, этого впечатления у меня **никогда не создавалось**. Напротив, все говорило о противоположном.

Среди большевиков были люди государственного размаха, могущие быть «министрами» в любой стране. Это — Л. Б. Красин, человек большого ума, расчета, инициативы, трезвого глаза. Это — Л. Д. Троцкий, несмотря на то, что ни на кого эта фигура никакого «обаяния» не производила. Но только, разумеется, не Ленина зачислять в государственные люди.

Прежде всего Ленин был типичным человеком подполья. Ленин не знал ни жизни, ни России, ни русского крестьянства, не знал фактов. Ленин был существом исключительно партийным. Ни в одной стране он не мог бы быть «министром», зато в любой стране мог бы быть главой заговорщицкой партии. Ленин был узкопартийный конспиратор до мозга костей.

И сидя ли в Кремле или в Смольном, Ленин действовал везде именно так, как привык действовать в партии. В то время как распоряжения и назначения Троцкого и Красина обычно как-то базировались на здравом смысле, распоряжения и назначения Ленина бывали иногда поистине шедеврами нелепости.

Дара подбора людей, более-менее обязательного для «государственного человека», у Ленина не было. Партиец у Ленина мог получить любое назначение. Так, с первых же дней Ленин выдвигал и прочил чуть ли не в «главнокомандующие» бездарную пустоту, партийца Лашевича, дошедшего в мировой войне до чина унтер-офицера. В вопросах промышленности, отметая мнения людей здравого смысла, Ленин сплошь и рядом обращался за советом к Ю. Ларину, человеку ни в чем не компетентному, фанатическому начетчику большевистской программы. Можно безо всякого преувеличения сказать, что деятельность Ларина заключалась в систематическом разрушении промышленности. Но мнение этого прикованного к постели фанатика с полуокостенелым телом и воспаленным мозгом было часто решающим в распоряжениях Ленина.

Чтоб охарактеризовать Ларина, приведу случай из его распоряжений. В декабре 1917 года ко мне в комиссариат пришел знакомый студент-технолог, беспартийный, единственным занятием которого были бега и игра на бильярде. Студент спрашивал, нет ли какой-нибудь для него «работенки»? Даю ему письмо к Ларину, полагая, что, может быть, у него он что-нибудь найдет. Через три часа студент приходит в очень веселом настроении.

Прочтя письмо и узнав, что этот студент — «технолог» — Лерин тут же устроил ему назначение комиссаром правления одного из крупнейших Русско-Бельгийских металлургических заводов на юге России. Студент был не из нерешительных. Поехал действовать по директивам Ларина и в самый короткий срок закрыл правление завода, остановив всю деятельность этого крупнейшего предприятия. Окончил же свою деятельность этот студент — директором советской балетной школы.

«Неталантливость» в подборе людей в Ленине была поразительна. Помню, позднее, в бытность Ленина в Москве, из Питера я приехал к нему в составе «пятерки» представителей железнодорожников с «челобитной» снять с поста наркома путей сообщения литератора Невского, под нелепостью распоряжений которого железнодорожники задыхались.

Приехавшие входили в кремлевский кабинет Ленина не без волнения. Было неизвестно, с какой ноги встал «Ильич». Но каково же было удивление, когда после первых же наших слов Ленин сразу перебил:

●

— Знаю, знаю, что у Невского происходит черт знает что! Он никуда не годится! И я его выгоню вон! У меня для вас есть замечательный нарком! — И Ленин назвал фамилию: — Кобызев.

Кобызев — средней руки инженер. Чем он пленил Ленина — неизвестно. Но высказывания каких бы то ни было сомнений в кабинете директора неуместны. И Кобызев стал наркомом ровно... на месяц, после чего его Ленин тоже «выгнал вон».

В Москве впервые я увидел Ленина в Кремле в мае 1918 года, в день восстания в Поволжье чехов.

У стены, смежной с кабинетом Ленина, стоял простой канцелярский стол, за которым сидел Ленин, рядом — его секретарша Фотиева, женщина, ничем кроме преданности вождю не замечательная. На скамейках, стоящих перед столом Ленина, как ученики за партами сидели народные комиссары и вызванные на заседание видные партийцы.

Такие же скамейки стояли у стен перпендикулярно по направлению к столу Ленина; на них так же тихо и скромно сидели наркомы, замнаркомы, партийцы. В общем, это был класс с учителем довольно-таки нетерпеливым и подчас свирепым, осаживающим «учеников» невероятными по грубости окриками, несмотря на то, что «ученики» перед «учителем» вели себя вообще примерно. Ни по одному серьезному вопросу никто никогда не осмеливался выступить «против Ильича». Единственным исключением был Троцкий, действительно хорохорившийся, пытаясь держать себя «несколько свободнее», выступать, критиковать, вставать.

Зная тщеславие и честолюбие Троцкого, думаю, что ему внутренно было «совершенно невыносимо» сидеть на этих партах, изображая из себя благонамеренного ученика. Но подчиняться приходилось. Самодержавие Ленина было абсолютным. Хотя все-таки шило распаленного тщеславия и заставляло Троцкого вскакивать с «парты», подходить к Ленину, выходить из комнаты и вообще стараться держаться перед остальными «учениками» так, как бы всем своим поведением говоря: «Вы не воображайте, что я и вы одно и то же! Ленин, конечно, Ленин, но и Троцкий тоже Троцкий!» И уже «тоном ниже», но все-таки пытался подражать своему шефу помощник Троцкого, исключительно развязный Склянский.

На этом заседании во время прений Ленину подали свежую телеграмму о восстании чехов в Поволжье. Ленин взволновался до крайности. Заседание было прервано. И когда я в соседней комнате разговаривал с Троцким, туда

АРХИВ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. *Малознакомый Ленин*

быстрыми шагами вошел Ленин и, обращаясь к Троцкому, резко проговорил:

— Сейчас же найдите мне Розенгольца!

Стало ясно: Ильич почему-то решил отправить в Поволжье Розенгольца. Это внезапное назначение ни в Троцком, ни в других наркомах явно не могло встретить сочувствия. Но все же все тут же бросились разыскивать Розенгольца.

Два слова о Розенгольце. Этот человек выдвинулся на военно-чекистской работе. По основной специальности он фельдшер. Издавна знавшие его отзывались о нем не иначе, как «ужасный тип». Обязан он отмеченности Лениным только из-за необычайной жестокости и абсолютного наплевательства на жизни хотя бы десятка тысяч людей. Когда Розенгольц был назначен заведующим политическим управлением НКПС, этот круглый, гладкий человек подбирал служащих по политуправлению так. Вызывал в свой кабинет и задавал один вопрос:

— Сколько контрреволюционеров вы расстреляли собственноручно?

Если опрашиваемый мялся или сообщал, что «не приходилось», то уходил из кабинета, не получив никакого назначения. Впоследствии Розенгольц эту свою деятельность сменил на дипломатическую, став полпредом в Англии. В Лондоне он начал давать блестящие балы, танцуя с дамами английского дипломатического корпуса и чувствуя себя совершенно «в своей тарелке».

В мае 1918 года Ленин отправил Розенгольца с аршинными мандатами в Поволжье, ибо Розенгольц принадлежал к тем «рукастым» коммунистам, которых особенно ценил Ленин.

Чем шире развивалась гражданская война, тем усиленней Ленин интересовался ВЧК и террором. В эти годы влияние Дзержинского на Ленина — несомненно. И тем нервнее, раздражительнее и грубее становился Ленин. В 1918—19 годах нередко приходилось его видеть на собраниях совнаркома выходившим из себя, хватавшимся за голову. В прежние времена этого не бывало. Старый заговорщик, Ленин явно изнашивался. И тут действовала не одна болезнь. Иногда, глядя на усталое, часто кривящееся презрительной усмешкой лицо Ленина, либо выслушивающего доклады, либо отдающего распоряжения, казалось, что Ленин видит, какая человеческая мразь и какое убожество его окружают. И эта усталая монгольская гримаса словно говорила: «да, с таким «окружением никуда из этого болота не вылезешь».

— Фанатик-то он фанатик, а видит ясно, куда мы залезли, — говорил о Ленине Красин, относившийся к октябрьской верхушке большевиков тоже с нескрываемым презрением.

Вот именно в эти-то годы и влиял на Ленина Дзержинский, еще более узкий фанатик, чем он. Ленин брал на себя, разумеется, всю ответственность за террор ВЧК. Он считал его необходимым. И Дзержинский был ему под стать.

Их силуэты особенно запомнились мне на одном из заседаний. Не помню, чтоб Дзержинский просидел когда-нибудь заседание совнаркома целиком. Но он очень часто входил, молча садился и так же молча уходил среди заседания. Высокий, неопрятно одетый, в больших сапогах, грязной гимнастерке, Дзержинский в головке большевиков симпатий не пользовался. Но к нему люди были «привязаны страхом». И страх этот ощущался даже среди наркомов.

Вот на одно из заседаний, при обсуждении вопроса о снабжении продовольствием железнодорожников, в этот же «класс» с послушными «учениками» и вошел Дзержинский. Он сел неподалеку от Ленина. Заседание было в достаточной мере скучным. Но время было крайне тревожное, были дни террора.

Обычно Ленин во время общих прений вел себя в достаточной степени бесцеремонно. Прений никогда не слушал. Во время прений ходил. Уходил. Приходил. Подсаживался к кому-нибудь и, не стесняясь, громко разговаривал. И только к концу прений занимал свое обычное место и коротко говорил:

— Стало быть, товарищи, я полагаю, что этот вопрос надо решить так! — далее следовало часто совершенно не связанное с прениями «ленинское» решение вопроса. Оно всегда тут же без возражений и принималось. «Свободы мнений» в совнаркоме у Ленина было не больше, чем в совете министров у Муссолини и Гитлера.

На заседании у Ленина была привычка переписываться короткими записками. В этот раз очередная записка пошла к Дзержинскому: «Сколько у нас в тюрьмах злостных контрреволюционеров?» В ответ от Дзержинского к Ленину вернулась записка: «Около 1500». Ленин прочел, что-то хмыкнул, поставил возле цифры крест и передал ее обратно Дзержинскому.

Далее произошло странное. Дзержинский встал и как обычно, ни на кого не глядя, вышел с заседания. Ни на записку, ни на уход Дзержинского никто не обратил никакого внимания. Заседание продолжалось. И только на другой день вся эта переписка вместе с ее финалом стала достоянием разговоров, шепотов, пожиманий плечами коммунистических сановников. Оказывается, Дзержинский всех этих «около 1500 злостных контрреволюционеров» в ту же ночь расстрелял, ибо «крест» Ленина им был понят как указание.

Разумеется, никаких шепотов, разговоров и качаний головами этот крест «вождя» и не вызвал бы, если бы он действительно означал указание на расправу. Но, как мне говорила Фотиева, произошло недоразумение. Владимир Ильич вовсе не хотел расстрела. Дзержинский его не понял. Владимир Ильич обычно ставит на записке крест, как знак того, что он прочел и принял, так сказать, к сведению.

Так по ошибочно поставленному «кресту» ушли на тот свет «около 1500 человек». Разумеется, о «таком пустяке» с Лениным вряд ли кто-нибудь осмелился говорить. Ленин мог чрезвычайно волноваться о продовольственном поезде, не дошедшем вовремя до назначенной станции и подымать из постели всех начальников участков, станционных начальников и кого угодно. Но казнь людей, даже случайная, мне казалось, не пробуждала в нем никакого душевного движения. Гуманистические охи были «не из его департамента».

●

Последний раз я видел Ленина в 1921 году. Видел тоже в Кремле и тоже на заседании. Ленин, как всегда, то ходил меж скамеек по комнате, то садился за председательский стол. Но уже тогда он производил впечатление человека совершенно конченого. Он то и дело отмахивался от обращавшихся к нему, часто хватался за голову. Казалось, что Ленину «уже не до этого». Ни былой напористости, ни силы. Ленин был явный не жилец и о его нездоровье плыли по коридорам Кремля всевозможные слухи. А за спиной этого желтого истрепанного человека, быстро шедшего к смерти, кипела ожесточенная борьба — Сталина, Зиновьева, Каменева, Троцкого.

Когда через три года Ленин умер, я видел многих видных вельмож коммунизма, которые плакали самыми настоящими человеческими слезами. Плакали не только Крестинский, Коллонтай, Луначарский, но (в самом буквальном смысле!) плакали заматерелые чекисты. Эти слезы были довольно «трогательны». Но любовь партии к Ленину и даже не любовь, а какое-то «обожание» были фактом совершенно несомненным.

В Ленине жила идея большевизма. Он олицетворял ее. Людям нужны «идолы». И Ленин был великим идолищем большевизма.

НАГЛОВСКИЙ
Александр Дмитриевич
(1885—1942, Париж) — сын известного генерала, участника русско-турецкой войны Д. С. Нагловского, близкого ко двору. В начале 1900-х вступил в РСДРП, примкнул вскоре к большевистской фракции, видный ее деятель. После Октябрьской революции становится комиссаром путей сообщения Петроградской коммуны. После окончания гражданской войны был назначен торгпредом в Италии. В 1925 г. отказался вернуться в Советскую Россию, став одним из первых «невозвращенцев». В 1936 г. Роман Гуль с его слов записал ряд воспоминаний, которые (под инициалами Н. Н., т. к. Нагловский находился на нелегальном положении, опасаясь мести НКВД) были в сокращенном виде опубликованы в парижском журнале «Современные записки». Полный текст воспоминаний Нагловского увидел свет уже в 1960-е гг. на страницах «Нового журнала» (Нью-Йорк).

СЛОВО

ЖУРНАЛ РЕДАКТИРУЮТ:

Арсений Ларионов, главный редактор
Виктор Калугин, заместитель главного редактора
Артемий Игнатьев, главный художник
Владимир Бондаренко, обозреватель
Елена Егорунина, обозреватель
Алексей Тимофеев, обозреватель
Юрий Чернелевский, обозреватель
Евгений Чернов, обозреватель
Ирина Пушкина, заведующая секретариатом

Художественно-технический редактор
Наталья Козлова
Корректор
Екатерина Табашникова

Адрес редакции:
129272, Москва,
Сущевский вал, 64.
Телефон для справок:
281-50-98.

Литературно-художественный и общественно-политический журнал.
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала.
Издается с сентября 1936 года
№ 11, 1991
© Издательство «Книжная палата», журнал «Слово», 1991.

Сдано в набор 22.08.91
Подписано в печать 10.10.91
Формат 84×108/16
Бумага Знаменская 100 гр.
Печать глубокая и офсетная
Усл. печ. л. 8,4+0,84+0,42
Усл. кр.-отт. 21,42
Уч.-изд. л. 13,36+0,88
Тираж 162 000 экз.
Заказ 245
Цена 1 р. 50 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени Тверской полиграфкомбинат Государственная ассоциация предприятий, объединений и организаций полиграфической промышленности «АСПОЛ».
170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.

Во всех случаях обнаружения полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться на Тверской полиграфкомбинат по адресу, указанному в выходных сведениях.
Вопросами подписки и доставки журнала занимаются предприятия связи.

В НОМЕРЕ

ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ

Виктор Астафьев

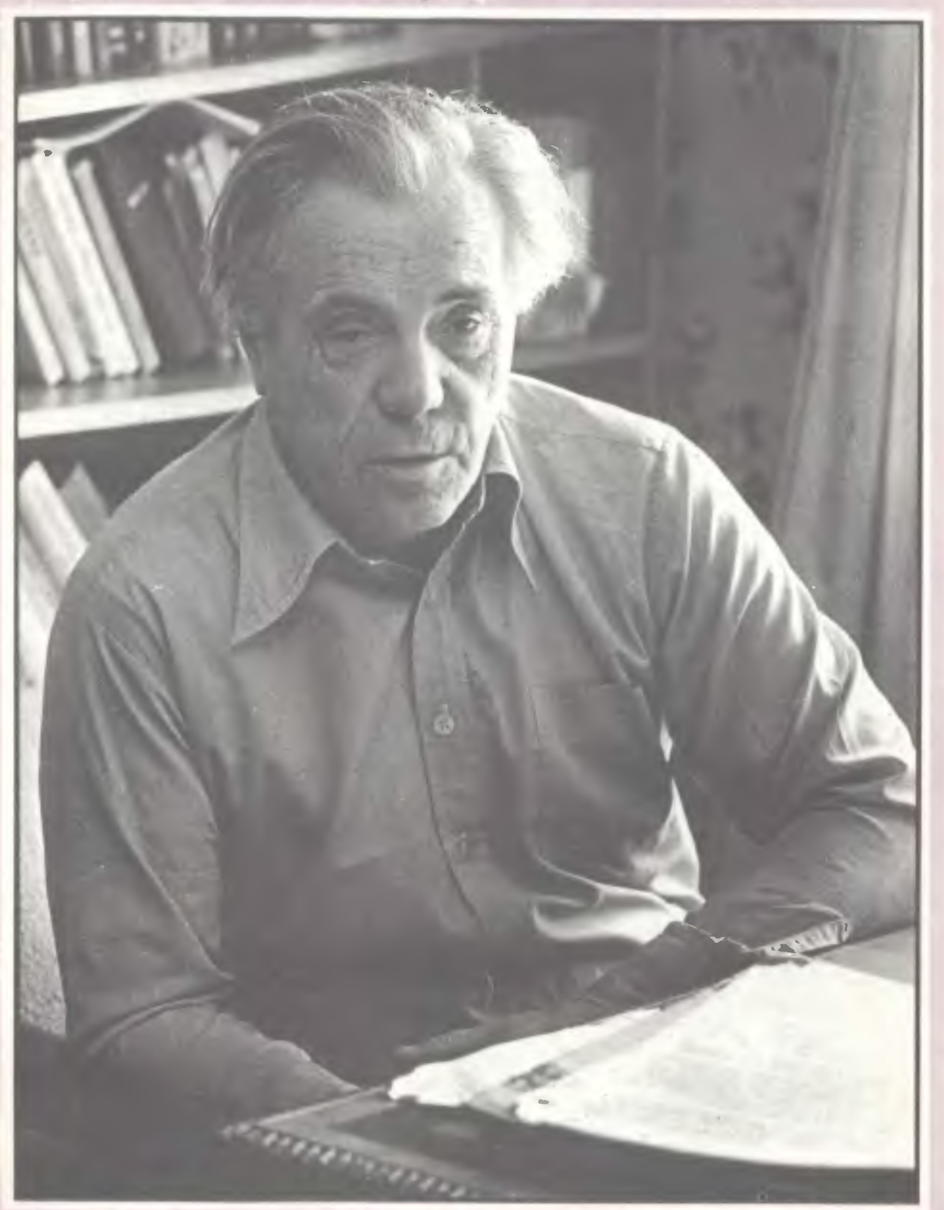


Фото Павла Крившова